

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ
РОЗА АУСЛЕНДЕР
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ
ПОЛИНА БЕСПРОЗВАННАЯ
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ
АСЯ ВЕКСЛЕР
АНДРЕЙ ГРИЦМАН
ЛОРИНА ДЫМОВА
ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ
МАРК ЗАЙЧИК
ЛЕОНИД КАЦИС
ЮЛИЙ КИМ
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ
СЕМЁН КРАЙТМАН
НИНЕЛЬ ЛЕВАНДОВСКАЯ
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
АЛЕКСАНДР ЛЮБИНСКИЙ
ДАВИД МАРКИШ
НИКОЛЬСКИЙ
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР
ИЛАН РИСС
ЭЛЯ СУХОВА
МАРИЯ ФАЛИКМАН
ВЛАДИМИР ФРОМЕР
ФЕЛИКС ХАРМАЦ
МИХАИЛ ЯСНОВ
И ДРУГИЕ

№42



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2012' 42

2012

42

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
и Юрия Исааковича КАННЕРА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

От всей души поздравляем со славными датами
наших замечательных авторов –
Михаила Бяльского, Валентина Кобякова, Феликса Хармаца!
Многая лета! Многая книги!

Редколлегия «Иерусалимского журнала»

9880

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

Иерусалимский журнал, № 42, 2012

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),
Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Виктория Райхер,
Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректурa: **Бина Смехова, Галина Культясова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Михаил Басин,**
Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин,
Владимир Попов, Илан Рисс

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Фонд
«Русский мир»



Российский Еврейский Конгресс

משרד
התרבות
והספורט



Министерство культуры и спорта
המחלקה לקניסטר עליה בחיב
רמ"ד ל. פרץ י"ב 2 חופה 33041



9880

Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2012. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Ася Векслер

ВРЕМЯ И ОКРЕСТНОСТЬ

ПРОСЬБА

*Лёгкой жизни я просил у Бога.
Лёгкой смерти надо бы просить.*

И. Тхоржевский

В лёгкой жизни вряд ли много толка.
Смерть во сне легка, да не по мне.
Вышло так, что планы зрели долго,
но зато и дороги вдвойне.

Убывает время безнадёжно.
Молчалив, как идол, календарь.
Попросить бы Бога, если можно,
растянуть ноябрь, декабрь, январь.

В ОЖИДАНИИ АВТОБУСА

Две старушки говорят на идиш.
У одной сквозь идиш слышен англиш,
может быть, венгерский – у другой.
Мельком замечаешь их обновления,
вкус их европейский. К остановке
не спешит автобус городской.

Отрешаясь понемногу, видишь
говоривших вроде них на идиш
бабушку, родителей, родню.
Дожили до лет не самых ветхих.
Скудный по определенью, век их
числил нормой жёсткую стерню.

Случай их меж тем – не худший случай.
Мой – тем боле: подрастай и слушай
двухязычье или то, как шьёт
швейная машинка мамы – долго
скачет на одной ноге иголка.
Обучайся счёту, втихомолку
слыша каплям валерьянки счёт

или петлям вязки. В интервале –
степь да степь кругом и нор мир алэ¹ –

¹ нор мир алэ (*идиш*) – только все мы.

то и этоловишь на лету.
А переверни вперёд страничку –
вдруг заметишь мамину привычку
говорить, неся ладонь ко рту.
Худо-бедно, всё же – безопасность.
В стороне от гласности безгласность,
мало внемля тем, кто наверху,
так в муку и не перемололась.
Это мне случилось – в полный голос,
потому что шёпот на слуху.

Никогда, увы, до здешних улиц
родичи мои не дотянулись
и ни разу, оплошав слегка,
с горсткой слов на уличном иврите
не сказали вместо «извините»,
глядя независимо, «слиха».

Предзакатны время и окрестность.
Скрашена, как должно, неизвестность
возвращением к себе домой.
Две старушки поднялись в автобус,
едуший через Рамот на Скопус.
И уже неподалёку – мой.

ВОСТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ

Памяти Э. Еропкиной

Сменил старинный жанр свою природу.
Наглядно закреплённую свободу
теперь уже никто не отберёт.
От рук отбившись, он пустился с ходу
одушевлять, а не наоборот.

Предметы не мертвы ни в коем разе.
Их родственные, дружеские связи
просматриваются как никогда.
И, ежели кто понимает, в вазе
живая, а не мёртвая вода.

Само собой, надеется на вырост
от среза до макушки каждый ирис
(сглаз ни при чём, но всё равно – молчок).
Поштучные – ни одного на выброс,
пуст или полон мусорный бачок.

Ах, рюмочка! Ей лет её не дашь ты.
Она, так и не продана однажды,

сквозь быт эвакуационных дней
была насущней подслащённой жажды,
важней лекарства, голода главней.

Где была, там даль. И если поостыла
оранжевая солнечная сила,
теснимая за тучу в сизый дым,
нет ничего закатней апельсина
с горизонтальной плоскостью под ним.

Их собрала хранимая от риска
танцовщица, певунья, одалиска
лишь в силу притягательности и
аккордов, слышных только тем, кто близко,
в столь ярком, сколь и хрупком бытии.

И вот их держит столик из бамбука,
чьи налицо опека и порука,
в окружность уместив стеклянный круг, –
приемлет моду старая наука
над пламенем сгибать в дугу бамбук.

И дело не последнее – решётка
окна. Её квадраты делят чётко
часть дома с черепицей плюс пейзаж.
Не фон, а нечто сверх него: находка,
не на заметку, так на карандаш.

Ещё светло в семь или в полвосемьмого,
но день к концу, и реплика готова
под занавес, хоть не среди кулис –
пусть музыка опережает слово,
есть вариант: вначале был эскиз.

* * *

Мастера Возрождения! От холста до холста
вы писали, что знали, – вам родные места:
италийское небо, Апеннины вдали,
а не зной и не вечность израильской земли.

На библейских сюжетах из-под ваших кистей
золотистая нега среди бурь и страстей,
ренессансные вкусы, ренессансная быль,
а не ближней пустыни рыжеватая пыль.

Сплошь не в тех интерьерах, не на тех площадях
флорентийцы, веронцы в иудейских ролях,
и, хотя не расслышать, кто о чём говорит,
в их устах – переводы, а источник – иврит.

Мастерство дольше века. Не берёт его тьма.
Вас держали заказы, конкуренты, чума.
А всего-то, ей-богу, паруса накренить
и одно только море раз-другой переплыть.

ПИТЕРСКИЙ СОН

Лет с тридцати семи, а может, сорока
храню я этот сон – целёхонько виденье.
Балтийский ветер, залив, каналы и река
в нём благодны: забыто наводнение.

Почти что в стороне Магритт и Кирико.
В туманности земной тайфуны и цунами.
И всё-таки волна взмывает высоко
за ближними, в пять этажей, домами.

С чего бы вдруг? Уму непостижимо: страх,
едва явясь, подпал – не обуял пугливых –
под роковой гипноз, под крыловидный взмах
в зеленовато-сизых переливах.

Быстрее запоминай: она, того гляди,
обрушит гребень свой – и ничего не сделать.
Теряя высоту, кренится впереди
девятый вал, умноженный на девять.

Вот-вот уйдут на дно края материка.
Ещё не родились ни Руфь, ни Пенелопа.
И возраст – тридцать семь, не больше сорока
приходится на времена потопа.

СОВПАДЕНИЯ

Были – и есть – мои полные тёзки.
От приветствия тем, кто по эту сторону,
по ту пойдут отголоски.
Пусть и вправду хотя бы гул
вдогонку, вослед –
наперекор тому, что резона нет.

Девочке из южного города
исполнилось только девять.
Понимала, что старше не станет
и нельзя ничего сделать.
Спустя годы мать её вздрагивает, слыша те
же самые имя с фамилией,
что на могильной плите.

Тут, после слов, за которыми,
хочешь не хочешь – яма,
стародавнее *на долготье тебе*
сказала бы мне мама.
Но время ушло вместе с ней.
И я говорю сама себе: милая,
не такая уж редкость –
имя твоё и фамилия.

Слуху же о моей смерти
я обязана угасавшему дню,
холоду с побережья,
пересечению стрит с авеню,
где, сбиваясь на *ой, простите*,
удивилась женщина средних лет
мне, похороненной заодно с тёзкой
и возвращённой на этот свет.

Вот и пишу, припозднившись,
опровержение:
подтверждаю своё – в живых – нахождение,
израильский адрес, три рода занятий,
единую, тем не менее, суть свою.
Как заметил бы, констатируя факт, нотариус,
я пока что при сём присутствую.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Стихи переводить – как танцевать вдвоём.
Ведёт оригинал, а версия ведома.
Но выбрала она. Остановясь на нём,
под дудочку его кружит, едва знакома, –
ей нравится в пространстве не своём
и не в своей тарелке быть как дома.

Он старше, чем она. Полвека на весах –
их разность. Но молва, подробно или вкратце,
не осуждает их; не мается в кустах,
бездействие клян्या сквозь зубы, папарацци.
Укромна страсть – с несходством в голосах,
как на плечо, на точность опираться.

И – сладилось: в числе новейших переправ
наводится мосток меж языком скрижалей
и речью двух столиц, державою застав,
классических томов, павлопосадских шалей,
не изменив размера, не отняв
ни сути вкупе с чувством, ни деталей.

А ты, переводя, вникаешь в мир иной,
впотьмах свиваешь нить и к свету жмёшься пряхой
то чувствуя себя, как в роли возрастной,
немолодой, зато востребованной свахой,
а то вдруг текст озвучиваешь птахой,
как над гнездом, над книжкой записной.

КАТРЕН

Пророчествам веков, зачитанным до дыр,
старенье нипочём: поныне бьют в десятку.
Из-под морского дна, с изнанки тверди – мир
трясётся изнутри, как биржа в лихорадку.

Свидетель новых дней! Покуда то да сё,
виденья, воплотясь, обстали и нависли.
Уже и не сказать: *Бог сохраняет всё*.
Не всё. Ну разве что в каком-то высшем смысле.

Рискнём предположить: в провинции Прованс,
в том городке, куда заглянем незаметно,
когда-то прозвучал спасительный, как шанс,
ещё один катрен, утраченный бесследно.

Он твёрдо обещал покой и благодать
на предстоящий год. Случись стоять у края –
успеешь завещать, отчёт и долг отдать
и, осознав уход, проститься, засыпая.

МЕНТАЛЬНОСТЬ

Горянка с дудочкой в руках –
та гостья; да и ты в горах –
вверх-вниз – не хуже горца.
Забудь о том, что староват –
цепляйся за китайский взгляд
на возраст стихотворца.

Как волосок, смахни и сдунь
обузу лет. Считал Ши Лунь,
что за ранжир в ответе
не только дар, но каждый миг,
и тот, мол, более велик,
кто дольше жил на свете.

Всё это слышала не я.
Так пересказывал Р. Я.,
конечно, близко к тексту.
«Как быть, – качал он головой, –
с литературой мировой,
где всяк приписан к месту?»

Теперь кружит душа Р. Я.
над городом, где нет меня,
где воды в новых бликах.
А в мастерской его – Ши Лунь,
как говорят, седой как лунь.
Он стар, он из великих.

А нас где носит? Вот, пыля,
даёт дорога кругалю.
Без лифта так без лифта
до верхней улицы с шоссе.
Сменились клетки? Вряд ли все:
ведь те же – кровь и лимфа.

Как прежде, у окна в шкафу
не прожигает жизнь Ду Фу,
Ли Бо насквозь всё видит.
Кто б спорил? Должно долго жить
и взлёт позднейший заслужить.
А высота – как выйдет.

ПОЗДНЯЯ РУКОПИСЬ

От недосыпа глаза режет.
Косноязычие не превозмочь.
Но виртуальная сила держит
возле компьютера в ночь-полночь.

Может сосуд – башковит – лопнуть:
горе, как сказано, от ума.
Не запахнуть. Дверь не захлопнуть.
Скрипнув, захлопнется и сама.

Виктория Райхер

КРАН

Стареть приятно. Люди, за которыми раньше гнался, стареют тоже. Ты на них смотришь в телевизор – а у них уже два подбородка и пузо еле влезает в пиджак.

За молодыми гнаться не тянет, молодые – не наша школа. Новодел, кому он вообще интересен. А ровесники, вот они поседели. Уже не хозяева жизни, а если еще и да, сколько им там уже осталось. Столько же, сколько тебе. Вот и догнал.

Стареть приятно. Чего в жизни не сделал, того и не сможешь. Не «лодырь», не «сам себе виноват», не «если бы ты постарался» и даже не «бездарь». Просто уже не можешь, состарился, отыграл. Хоть подпрыгни – не сможешь уже. Свободен, значит.

Одно раздражает: на кухне капает кран. Кричу туда: «Грета! Грета, кран!», а она мне из кухни: «Я не кран!». И смеется. Лень ей, что ли? Я тоже смеюсь. «Грета, – кричу, – вода!» А она мне: «Я не вода!» «Грета, – кричу, – подойди ко мне». Подходит, смеется. «Чего тебе сделать?». А я и не знаю, чего мне сделать. Целую ей руку. «Кран, – прошу, – закрути покрепче».

Стареть приятно: не нужно ходить в костюме. Вообще не нужно ходить. Был бы я без ног в тридцать лет, какая была бы драма. Все бы жалели. А сейчас говорят: «Он так долго живет при его болезнях, ему чудо как повезло».

Грета тоже считает – стареть приятно. Говорит, не нужно носить колготки и высокие каблуки. Она всю жизнь ненавидит колготки. Я ей помогал их натянуть, пока мог нагибаться. Еще говорит, не нужно следить за фигурой. Ест по четыре пирожных в день. Я ей: «Грета, вес!», а она смеется: «Какой может быть вес у старухи, один объём».

Только вот кран. Капает днем и ночью, никак не может она его закрутить. Сил не хватает. Бужу ее ночью: «Грета, кран...», а она храпит. Даже не отвечает, храпит, и всё. Стареть приятно: когда храпит во сне твоя молодая подруга, это шокирует, это мешает, девушки спят легко и тихо, как бабочки на цветке. А когда во сне храпит моя веселая Грета, я точно знаю: она жива.

Грета смеется. «Ты, старый хрыч, доводишь меня из-за крана». Встаёт с утра и ползет на кухню. Мне варит кашу, себе сосиску. Мне нельзя сосисок, а она не ест мою кашу, без соли и сахара, – кто бы вообще ее ел. Были бы молодыми, страдали бы смертно: ни одно блюдо не можем поесть вдвоем, ничего нам нельзя, что за жизнь. А теперь приятно: денег хватает и на кашу, и на сосиски, и есть еще силы варить. Что за жизнь.

Но кран этот чертов. Капает, капает, прямо в мозг. Грета не замечает, она плохо слышит, сто раз попросишь – забудет, пока дойдет. Отправишь ее на кухню: «Грета, кран!», вернется с тарелкой: «Я тебе каши сварила».

Ну что же, сварила – я поем.

Себе, как обычно, сосиску. Наливает воды на два пальца, кладет сосиску, сосиска в воде по ватерлинию, сверху сохнет. А Грета доварит сосиску до половины, а потом раз! – и перевернет. Сварившейся стороной вверх, сырой – вниз. И дальше варит. Я сначала не понял, потом сообразил. Кастрюлю, где больше воды, она не поднимет, тяжело ей, и руки дрожат. Специально самую маленькую берет, и воды почти не наливает. Сосиска и на пару сварится, ей-то что. А я так радовался, что догадался.

Стареть приятно. Не нужно быть успешным, не нужно быть красивым, не нужно быть хорошим. Достаточно быть. Молодым недостаточно, их гонит возраст. Скорее, скорее, успеть побольше, бежать поживее и побыстрее попасть сюда, к нам. А у нас тут тихо, как под шубой. Никто не спешит.

А тут вдруг слышу, кран капать перестал! Ну просто праздник. «Грета, – кричу, – Грета, кран не капает, Грета, иди скорей!» А она почему-то молчит. Не отвечает.

– Грета!

– Грета!

– Грета...

Полная тишина. Никто не смеется, не слышно тяжелых шагов, не пахнет горелым из кухни. И кран молчит.

– Грета, – голос сорвал, – Грета, мне плохо! Грета, иди сюда!

Так кричал, что заснул. Или сознание потерял? Не помню. Очнулся – темно. И по-прежнему тихо.

– Грета, кран...

Совсем охрип.

Вдруг слышу, хлопнула дверь. И шаги. Стареть удобно: молодых гораздо хуже слышно издали.

– Грета!!!

Волосы растрепанные седые, одышка, ноги волочит, смеется. «Я, – говорит, – сантехника хотела позвать. Дозвониться же им невозможно, я и решила – дойду сама. Ты замучил меня своим краном, я хотела в подарок тебе... А сантехника нет, и до праздника уже не будет. Зря ходила».

Но ведь тихо! Не капает ничего!

«А это они, – говорит, – отключали воду на два часа. Как раз я к ним пришла, тогда и предупредили. Скоро включат».

И точно, слышу. Кап, кап, кап. Знакомая музыка.

– Пойду на кухню, сварю сосиску. А каша еще осталась.

Кап, кап, кап. Она сейчас сварит сосиску, и каша еще осталась. Черт с ним, с краном. Стареть прекрасно. Самому ничего не приходится делать. После праздника придет сантехник и все починит.

Юлий Ким

КТО ЭТОЙ ИДИОМЫ ЛЁТ В ОСНОВУ?*

ПЕТУХ И КУРИЦА

В лукошке петушок сказал, топча хохлатку:
«Пардон, мадам, но ваши всмятку».
«И ладно, – та в ответ, – не жалко ни минуты,
Коль скоро, сударь, ваши круты».

ПЕРВОЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Что есть «наперсник»? Кавалер,
Нашедший свой приют на персях куртизанки.
Что есть «наперсница»? Тип страстной персианки,
Усевшейся на персианский х...

ВОСПОМИНАНИЕ БЫВШЕГО ПОДЪЕСАУЛА

Помню, скакивал я по аулам
В Пятигорске за пятой горою.
«Как приятно быть подъесаулом!» –
Пели девки, собираясь в ночное.

Но потом вышло мне производство
За каурых коней производство,
И теперь, собираясь артельно,
Обо мне пели девки раздельно.

ВТОРОЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

«Муж», «мужество», «мужик», «мудрец», «мудило»
Произошли от древнего «муде».
Оттуда ж вышли неисповедимо
«Мундир», «мудеполам», французское «мон дье»,

* От гл. редактора: я несколько лет упрашивал Юлия Черсаныча разрешить напечатать эту подборку. Он смущался и отнекивался. Убедить поэта удалось, лишь сославшись на бессмертного Козьму Пруткова, который ничуть не смущался публиковать сочинения подобного рода.

Сэр Моуди, Бельмондо, газета «Монд»,
Пуанкаре (Раймонд), Чичерин и Чигорин.
Смотри, как глубоко уходит русский корень!

ПЁС И ЛОШАДЬ

Полкан склонял Каурку на минет.
Та отвечала: «Да, но чтоб потом жениться».
Сколь глубоко собачий бред
Несходен с бредом сивой кобылицы!

ТРЕТЬЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

По поводу выражения «палка о двух концах»

Сей оборот в моём лице
Найдёт ответ, достойный Капабланки:
Есть палка об одном конце,
И есть конец, способный на две палки!

ПОЛКАН И ТРЕЗОР

Однажды пьян придя Полкан к Трезору,
Подверг последнего известному позору.

О Русь!
О бедный мой народ!
Бывало, как глаза нальёт,
То вечно путает, где выход, а где вход.

ТАКОЖДЕ

С этой фамилией странной
Шёл человек погулять.
Видит: висит объявление.
Встал он и начал читать.
«Граждане! Все на гулянье!
Пусть веселятся всю ночь
Графы, бояре, прислуга,
Дамы, а также проч.»
Прочь отошёл неутешно
Также, бледный, как тень.
Выпил он водки в трактире
И развернул бюллетень:

«Граждане! Пажити страждут!
Все вы должны им помочь –
Графы, бояре и каждый
Честный, а также проч.!»
Прочь вышел Такжеде бедный
И прибежал в зоопарк.
Там повстречал его сторож,
Грозный, как Жанна д'Арк:
«Нет ли винца, проходящий?
Я до портвейна охоч.
Вишь, тут одни только змеи,
Гады, а такжеде проч...»
– Прочь! – возопил наш бедняжка.
– Прячь за решётку меня!
Пусть вздохнут облегчённо
Люди. А Такжеде – я.

ЧЕТВЁРТОЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

*Но человека человек
И тот потек*

А. Пушкин

«Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт», –
Сказал поэт. И я гляжу в печали,
Что раньше букву «ё» произносить не знали,
И разговор тогдашний был нелеп:
«Я к ней пришёл. Прилэг. И к вечеру уэб».

ВСТРЕЧА

Раз как-то я, не глядя ни на что,
Спустился в бункер.
Там человек. «Вы, – спрашиваю, – кто?»
«Я камер-юнкер».
«Ах, – изумился я, – какой пассаж!» –
И встал поодаль.
А он сказал, кусая карандаш:
«А вы, что ль, Гоголь?»
«Нет, – говорю, – я честный человек!
Ах что вы, что вы!»
Но он уже бежал на дикий брег
В широкошумные дубровы.

ОСТРОУМНОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ

Раз, помню, я, ловя зимой
На речке выхухоль,
вдруг ощутил, придя домой,
На жопе опухоль.
И ночью крикнул я жене,
Заразе,
Рукою шарившей по мне
В экстазе:
– Не трогай таз
За метастаз!!!

ПЯТОЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

«Явился на бровях» – нет смысла в сих словах!
«Явился подшофе; под банкой; на карачках;
Явился ни в дугу, всю ванную запачкав;
Явился вдрабадан» – но как же на бровях?

Нет! Даже и представить не могу:
Как это можно, при каких условиях
Передвигаться на одних надбровьях,
Держа всё остальное наверху?!

Кто этой идиомы лёг в основу?
Каким он был, безвестный аноним,
Имевший бровь величиною с ногу?
(Мы никаких аллюзий не хотим).¹

Он был отец и муж. Ты только погляди,
Какой в нём дух высокий проявился.
Явился на бровях. Но всё-таки явился!
Иначе было не на чем идти!

¹ Писано во времена Брежнева, весьма густобрового человека.

Илан Рисс

ХАОС

Евгений не сразу вспомнил, где и когда они встречались. Даже подумал, что в прошлой жизни. Потом понял, что так оно и было. В той жизни им было по тринадцать лет, они были в старшем отряде пионерлагеря. Он был капитаном команды КВН, а она танцевала мексиканский танец. Они все время увивались друг за другом, он ее куда-то звал, а она отказывалась. Может быть, потому что тогда он уже научился звать, но еще не знал, куда и зачем. Иринка постоянно доказывала ему, что девочки не хуже мальчишек, чему Женя очень удивлялся, искренне считая девочек лучше мальчишек. Девочки, как это поразительно точно выразил его любимый книжный герой, были нежными и удивительными. Но она требовала от него разгадывать кроссворды и решать задачки, и у него всегда получалось лучше. Тогда он ехидным голосом говорил ей, что курица – не птица, а женщина – не человек. Она злилась и придумывала еще что-нибудь и заполняла этим все свободное от речевок и линеек время. В последний вечер, когда пионерский костер стал уже золой для картошки пионервожатых, она ушла с ним к озеру, и пока все прочие пионеры добросовестно мазались зубной пастой, они стояли под деревом. На пионерском расстоянии. И говорили о том, о чем писали в книжной серии «Хочу все знать». Расставаться совсем не хотелось.

Они встретились снова только в университете, где учились на разных факультетах. Сталкиваясь изредка в коридорах, улыбались друг другу, будто у них была какая-то тайна. Но золото воспоминаний детства еще не было отмыто в струях времени, и драгоценные крупницы незабываемого были перемешаны с мелким песком прошедшего. На то, что Ирина уехала в другой город, Евгений обратил внимание только через несколько месяцев после ее отъезда и сразу же забыл об этом.

- Ты, по-моему, историю учила? – спросил Евгений.
 - А ты физику. Я хорошо помню, – ответила Ирина.
 - Как получается! Где нас судьба свела? Из разных стран, из разных наук на одном конгрессе встречаемся. Каково?
 - Так ведь конгресс про хаос, как может быть по-другому?
 - Самое подходящее место говорить про предопределение. Ты права.
 - Ну так пойдем, поговорим, – позвала Ирина.
- Они отошли в сторону, сели на скамейку.
- Хаос – это целая наука о том, что если мотылек взмахивает крыльями в Китае, то от этого может быть ураган во Флориде? – спросила Ирина и пояснила: – Я на конгрессе случайно. Возможность представилась поехать, и я поехала.
 - Целая наука о том, что от любого нашего шага может содрогнуться Вселенная или разразиться всемирная революция. Короче, о неустойчивости сложных динамических систем.

- Можешь объяснить популярно? – строго посмотрела на него Ирина. Он подумал, что она совсем не изменилась.
- Тебе это правда интересно?
- Очень.

Ему пришлось признаться, что его знания о хаосе были на самом общем уровне. Тоже случай представился поехать. Две случайности снова свели их вместе. Они были в том возрасте, когда уже есть прошлое, но еще есть и будущее. И было интересно смотреть в обе стороны. Ирина сказала, что всегда удивлялась тому, как нашу судьбу определяют самые незаметные мелочи, а оказывается, про это есть целая наука с такими грандиозными конгрессами. И они заговорили про судьбу. Выяснилось, что в их судьбах сложилось все, и в работе, и в личной жизни. Семьи, дети, международные конгрессы. Не великие ученые, конечно, но и жаловаться не на что. Оказалось, что оба выбрали страну и город, а не тему конгресса, и оба были очень удивлены тем, что они так похожи.

– Если бы ты была со мной, я стал бы президентом, – с упреком во взгляде сказал Евгений и, конечно же, он в тот момент искренне в это верил.

Когда говорят такое, в это всегда искренне верят. Такие фразы с легкостью связывают прошлое с настоящим. Евгений когда-то думал, что станет президентом, и в этот момент ему показалось, что обнаружил причину того, почему этого не произошло.

- Президентом чего? – заинтересовалась Ирина.
- Как чего? Академии наук.
- Поплакаться хочется? Жизнь не удалась?
- Удалась, – ответил он, подумав, – только не так, как хотелось.

До обеда были лекции, а потом всех повезли к целебному озеру с целебной грязью. Ради этого озера они приехали на конгресс. Грязь была черной, но, высыхая, становилась серо-голубой. Ее смывали столь же целебной водой. И у грязи, и у воды был классический запах нечистой силы – сероводорода, недр земных. Евгений наблюдал, как она пытается вся покрыться черной густой грязью и не справляется, не доставая до невыносимо аппетитных кусочков спины или не видя других, не менее притягательных участков тела – белых островков соблазна среди черной жирной грязи.

– Помочь? – и в ответ на ее строгий взгляд добавил, оправдываясь, по-детски робея перед ней, фразу из их детского лексикона: – Я только из человеколюбия.

- А не из женолюбия? – ответила она словами из детства.
- Разве это не одно и то же?
- Нет, конечно.

– Видишь, – Евгений торжественно-шутливо поднял палец, – наконец-то ты сумела неопровержимо доказать, что женщина не человек. Сможешь написать про это статью.

– Еще чего, – мотнула она головой и, как бы подводя черту давнему спору, тоном, не допускающим возражений, произнесла: – Человек. – Потом велела: – Помогай.

Видно было, что тема равноправия полов ее уже давно не занимала, и она ценила себя такой, какой была, и, несомненно, до-

вольно высоко. Евгений, набирая полные ладони пахучей грязи, медленно растирал ее тело, обстоятельно и нежно, настолько, насколько можно было на виду у ученых коллег. Серный аромат нечистой силы сопровождал их до следующего дня, придавая происходящему чувство всеоправдывающей неотвратимости.

После ужина был концерт. Когда объявили мексиканский танец, Ирина развела руками, являя этим жестом покорность судьбе, а глазами показывая на выход. Около гостиницы было светло как днем, и они пошли к деревьям с неизвестными им названиями, между которыми начинались ночь и звезды. Войдя в ночь, Ирина остановилась спиной к дереву, улыбаясь устрашающей улыбкой соглашающейся женщины. Устрашающей, потому что нужно сделать один только маленький шаг, протянуть руки, привлечь ее к себе... Но этот маленький шаг, повторяемый человечеством изо дня в день миллионы раз, страшен, ибо после него жизнь уже никогда не бывает такой, какой была прежде... Хотя, следует отметить, особой разницы может и не быть. Она прошептала ему на ухо: «Помнишь?» И от ее шепота стало невыносимо обидно, что все эти годы они носили в памяти тот вечер, то дерево и тот неслеланный шаг...

Они молча вошли в гостиницу и так же молча поднялись в номер. За тридцать лет после вечера в пионерлагере они уже выучили, куда ведут жизненные дороги и куда приводят, и шли, надеясь не узнать уже ничего нового. В номере они очень серьезно посмотрели друг другу в глаза, а потом попытались единственно возможным способом ответить на все неспрошенные вопросы. Они узнали, что потеряли в жизни, но, чтобы иметь это в будущем, нужно было заплатить всем остальным, что было в их прошлом. Поэтому они одновременно сказали друг другу, что неплохо было бы выпить чего-нибудь просветляющего... По стакану тропического сока...

В лифте она сказала:

– В нашей жизни исправить уже ничего нельзя, а можно только сломать.

– Забыть нельзя... – отозвался он.

Ирина согласно кивнула головой, заполненная тем же облегчающим чувством покорности судьбе. И потому что ничего нового сказать об этом уже нельзя, они молчали, не глядя друг на друга.

Они до утра просидели у столика в углу зала, перебирая хаос маленьких событий, маленьких происшествий и маленьких шагов, из которых сложились их жизни, и у которых было или не было больших или малых последствий. От конгресса у них остался один, вполне связанный с его темой вывод – покой, то есть устойчивость любой системы, будь то общество или личная жизнь отдельного человека, зиждется на страхе. Страхе перед принятием решения. Они пили сок и говорили о прошлом, более всего опасаясь неожиданных последствий маленького шага, сделанного ими накануне вечером. Но об этом они не сказали ни слова. Утром каждый отправился к своему самолету, чтобы хранить свое, слепленное из чего пришлось, маленькое счастье. Потому что, по крайней мере, по статистике, им предстояло прожить еще довольно много лет. И хотелось прожить их счастливо.

Полина Беспрозванная

ТЕУДАТ-ОЛЕ¹

ПОЛДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

Тени короче, чем девичья память...
Здравствуй, чужая летняя осень,
грозных овец молчаливое стадо.
Грузных агав несуразные копыя.

Хватит ли пороха все распатронить,
вещи собрать наугад и отчалить
чалой лошадкой по пегому склону?..

* * *

Любовь уже не пугает, а смерть – ещё.
Вернее, пугает, но так, на скорую руку,
мимоходом, не глядя в глаза...
Один – голубой, и иссиня-чёрный другой,
безлунный.

* * *

Господи, откуда и куда
гонишь бессловесные стада,
даже слёз им не даруя дара?
Не спрошу «зачем» и «почему» –
всё равно ответа не пойму,
но не удержусь – шепну: «Доколе?»
И ответ наотмашь получу.

* * *

Фиолетовое что-то распускается поодаль.
Бело-розовое нечто отцветает за углом.
Разноцветных девять кошек возле мусорного бака
(всяк по-своему прекрасна) чем-то заняты своим...
Я стою припёкой сбоку и смотрю на всё с досадой,
не большою, но досадой, весом, скажем, в полкило.

теудат-оле (*иврит*) – удостоверение репатрианта.

И слабо мне распуститься, и слабо заняться делом,
даже отцвести слабо.

А когда в рассоле мутном заблестит весёлый месяц –
не ломоть чарджуйской дыни, а солёный огурец,
заварю в зелёной чашке чай лимоново-имбирный
и неправильным глаголом обожгусь до хрипоты.

УЛЬПАН «МОРАША»²

Бесценному тренажеру духа

Нет. До ночных кошмаров не дошло.
Хотя не знаю, может, кто и бился
в конвульсиях, шепча: «Тифтах³, тифтах».

Я не о том. О чём? О правоте
неправоты, предвзятости, упорства
(или упёртости?). Неважно. Не о том.

О чём же все-таки? Наверно, о чужом
наречье и наречьях. О личине
и личности, не сразу различимых,
скорее смешанных, как масло и вода.
О жизни, что всегда проходит мимо –
неуловимо и неумолимо...
Тода⁴, Арье, тода.

* * *

О любви да о родине - тем не бывает иных...

Ю. Нешитов

О любви и о смерти...

О прочем не стоит. Хотя
и об этом, пожалуй, не стоит. Ну, разве что полушутя,
лёгким намеком, как искоса брошенным взглядом,
с привкусом явным вербального полураспада.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

использовать культурные слои
вставить на цыпочки
тянуться к лавровишне...
ты говоришь, что ничего не вышло
я возражаю: вышло ничего

² ульпан «Мораша» (*иврит*) – школа изучения иврита «Наследие».

³ тифтах (*иврит*) – открой.

⁴ тода (*иврит*) – спасибо.

HOMO LOQUENS

О чём говорит камень? Да всё о том же – о жизни,
перемётной сумой шуршащей в сухой траве.

О чём говорит пиния? Да всё о том же – о смерти,
скачущей с ветку на ветку, сжигающей всё и вся.

О чём говорит кошка? Да всё о том же –
о молочных реках любви, текущих куда хотят.

О чём – под сосной, на камне – Номо бормочет loquens,
на кошку косясь с опаской?
Ни о чём. Ни о чём. Ни о чём...

* * *

Эти холмы вокруг – это такая радость!
Именины сердца – в любой сезон, в любую погоду.
Крутолобые, неторопливые... Стадо
молча бредет к водопою и дальше – к броду,
к Мёртвому морю на горизонте. И пахнет смертью
всё – до последней цветущей колючки чуть волглой шкуры,
до осколка кремня, блеснувшего в лунном свете,
до шальной, взрывающей воздух утренней суры.

* * *

в библейских корневых
хамсиновая ночь
иша⁵, сатан⁶, хивья⁷...
никто никак помочь
не может никому
...хивья, сатан, иша
поспешный спуск во тьму

минуту, так и быть,
помедли на краю
покуда ветер ловит хвост
той дольней музыки в раю

⁵ иша (*иврит*) – женщина.

⁶ сатан (*иврит*) – сатана.

⁷ хивья (*арамейский*) – змея.

* * *

А. Б.

...сводящий счёты с плоскостью холста,
покуда не настала темнота
шабатняя, и голубой от белой
уже не отличишь...
А чёрная парит.
И дышит.
И с звездою говорит
на языке языческом Кибелы.

* * *

Посмеёмся с тобою вместе
над странной дрожью,
притяжением, страхом,
центростремлением плоти...
Короче, над этим скарбом,
не столько скорбным,
сколько ненужным
ввиду переправы скорой
в одиночку
через замёрзшую реку
на детских коньках-снегурках.

ГОРОД

он проникает в поры как лунный свет
как розмарина запах
запад восток неважно
теперь он мой
каменный ломаный небесный и золотой

* * *

нежно-серый
трамвайный жеребчик
мышиновожатый
на излёте зимы
по-над Яффо
в преддверье дождя
вероятно последнего в этой зоне
да пожалуй таким я еще не видала тебя
и ты нравишься заново мне
неуместный как слёзы на свадьбе

Иосиф Букенгольц
НА ИСХОДЕ СУББОТЫ*

*Не удивляйся: моя специальность – метаморфозы,
На кого я взгляну – становится тотчас мною.*

И. Бродский. Вертумн, гл. V

* * *

Остановившись однажды, чтобы взглядеться в черты любимых, ты вдруг ощутишь, что время, беззвучное время неумолимо присутствует в твоей жизни. Ты заметишь это присутствие в поблекших красках лиц, в незнакомо взрослых глазах детей и еще во множестве больших и малых перемен, обильно оплаканных поэтами и философами всех времен. Ты, несомненно, опечалишься, заговоришь об осени или, что еще грустнее, о смысле жизни, и я, несомненно, опечалюсь вместе с тобой. И в тон тебе заговорю о том, что еще до того, как твой встревоженный взгляд остановится на морщинках, обживающих лицо твоей возлюбленной или отметит легкую седину на висках твоего сына, еще до того, как расцарапанные бессонницей ночи и скованность твоего утреннего тела станут для тебя привычными, ты можешь почувствовать присутствие времени в непрерывной, безвозвратной смене декораций, среди которых ты с большим или меньшим успехом воплощаешь назначенную тебе роль. Представлять жизнь пьесой – хоть и банально, но так символично и глубокомысленно! «Весь мир – театр...».

Но послушай, нам ли опасаться банальностей! Мы только и делаем, что бродим среди них, лишь на считанные мгновения открывая для себя призрачную новизну влюбленностей, разочарований и неведомой никому, как нам кажется, боли потерь. А дальше?.. дальше – «нет ничего нового под солнцем...», и только напав на себя непроницаемый панцирь иронии или стерилизованную хламиду всепрощения, мы можем внешне умиротворенно взирать на происходящее.

Войди в театр моей памяти, и ты увидишь, как невозмутимые служители Времени деловито разбирают и уносят за кулисы куски декораций, превратившихся ныне в нагромождение бутафорских макетов. Они работают слаженно, ритмично, не уставая и не расстрачиваясь на пустые разговоры, и ты успеваешь задержать на подмостках лишь отдельные фрагменты, зацепившиеся за сердце.

Вот уплывает со сцены крохотный дворик в центре старого Минска, изломанная деревянная лестница, бабушкино лицо, запах майской сирени, глаза соседской девчонки, пахучая свалка обувной фабрики. Нет смысла удерживать это, здесь нечего взять для истории, которую ты мне поможешь рассказать. Сохраним, для создания соответствующей обстановки, кривые улочки, перетекающие прямо из моего детства в такие же улочки Иерусалима и

* Журнальный вариант. Печатается в сокращении.

кварталы беспорядочно столпившихся двух- и трехэтажных домов, увешанных пристройками. Пусть уносят за ненадобностью окрашенные в неимоверно серый цвет стены моей школы, полурастворившиеся лица учителей и одноклассников, но оставят небольшой сквер, где клены опадают пурпурной листвой. Пусть разбирают на части смешные детские обиды, страх перед дворовыми хулиганами, ночные страдания моей первой влюбленности и глупый кумачовый патриотизм. Зато я попрошу не уносить истрепанные «Сказки» Пушкина, многократно читанного «Идиота» и непрерывное ожидание всепоглощающей любви. Думаю, для завершения композиции подойдет панорама недалекого кладбища, арабские деревни на холмах за городской стеной и ощущение огромной непонятной Вселенной, пульсирующей где-то за горизонтом.

* * *

Должен тебе сказать, что старые, поломанные, износившиеся вещи всегда вызывали во мне сострадание. Вполне возможно, что в знакомом мне с детства желании исправить, восстановить, вернуть к жизни предметы, запечатлевшие на себе следы многолетнего общения с людьми, выражалось подсознательное стремление хоть как-то противостоять Времени. Колченогий стул, истерзанная книга, стоптанные башмаки представлялись мне состарившимися и потерявшими память актерами, исполнявшими когда-то роли лихих мачо или роковых красавиц, осиротевшими в своей ненадобности, в то время когда новые кумиры появляются на сцене. Я собирал и пытался отремонтировать все, что попадалось мне на глаза, и часто, выслушивая руками грустную историю какого-нибудь треснувшего чайника или истертого портфеля, я погружался в волшебную атмосферу сказок Андерсена.

Постепенно моя небольшая квартира стала напоминать лавку старьевщика. Здесь не было родовитых антикварных вещей. Зато во множестве присутствовало простонародье всякого хлама: выдавшие виды сапоги, велосипедные колеса, куски картона, обломок витой ограды, покосившийся керогаз, коробки со всякой всячиной типа гвоздей, шурупов, подков и заклепок, искореженные инвалидностью сумки, доски, обрезки кожи, гитара с поломанным грифом, разошедшийся секретер. Список этих выброшенных за борт жизни вещей занял бы толстенную амбарную книгу, но каждая из них обладала для меня своим характером и несомненно ждала того часа, когда сама она или ее часть вновь обретет если не былую, но все-таки значимость. И если это удавалось, я принимался искать этим вещам, словно бездомным котяткам, заботливых хозяев. Нередко бывали, к сожалению, безнадёжные случаи, и тогда, как врач, использовавший все возможные средства и вынужденный признать свое бессилие, я с печалью в сердце, но и с сознанием исполненного долга относил бездыханные останки на свалку, где они исчезали уже безвозвратно.

Я был не одинок, многие из окружавших меня людей испытывали к одряхлевшим вещам не менее сентиментальные чувства. Эти люди приносили мне все, с чем по разным причинам не хотели расставаться: треснувшие блюда из подаренных на свадьбу сер-

визов, осыпавшиеся картины никому не известных художников, стоптанную обувь, сломанные ходики, игрушки, треснувшие очки, дешевые украшения и, конечно же, книги.

К книгам я относился с особым почтением, будь то солидное до-революционное издание «Псалмов» или детская книжка, изорванная несколькими поколениями. Для этих пациентов в моем захлапленном доме было отведено специальное место, где они поначалу просто отдыхали от своей старческой заброшенности, от затхлого воздуха шкафов и чуланов. Каждая истерзанная временем вещь, истосковавшаяся в одиночестве, нуждается, прежде всего, в преувеличенном внимании, возрождающем ее, этой вещи, пусть даже незначительную важность. Стоит аккуратно освободить ее от вековой пыли, внимательно рассмотреть каждую деталь, обдумать и со всем уважением обсудить с ней этапы излечения – она оживает, прихорашивается, словно вспоминает свою былую славу и доверчиво отдается рукам, позволяя заглядывать во все свои тайные уголки. Уставшая книга особенно чувствительна, особенно отзывчива. Несколько дней, пока, окруженная заботливым вниманием, она дышит и возвращается к ощущению собственного достоинства, я периодически прикасаюсь к ней, чтобы помочь ей вспомнить тепло человеческих рук. И только когда она начнет отвечать на эти прикосновения, можно приступать к работе, распрямлять паровыми компрессами страницы, укреплять специальными растворами, очищать и проклеивать корешок, думать об обложке, словом, делать массу необходимых, требующих терпения и нежности действий, которые потом будут сторицей вознаграждены благодарной новорожденной. А после ей необходимо привыкнуть снова быть книгой. Читаемой книгой.

Я никогда не изучал технологию музейной реставрации книг, но, относясь к ним, как к измученным недугами почтенным старцам, интуитивно ощущал пути к их возрождению. Когда выздоровевшая книга уходила от меня в жизнь, я испытывал одновременно и грусть, и ни с чем не сравнимое чувство гордости, знакомое каждому настоящему целителю.

Одна такая книга привела ко мне Оделию...

Или, к примеру, сумки. Не то чтобы я испытываю к ним меньше почтения, скорей отношусь по-дружески. Ведь сумка – это маленький дом, преданно сопутствующий хозяину и в зной, и в непогоду, и в радости, и в печали.

С ожившими сумками я расстаюсь радостно, как ремесленник, уверенный в добротности своего товара.

Иное дело рабочие лошадки – башмаки. К этим трудягам невозможно относиться без щемящей жалости. Но такова уж их судьба – всегда быть на границе между человеком и прахом, из которого тот сотворен. Что поделаешь, если действие силы земного притяжения, легкомысленно открытой когда-то Ньютоном, они испытывают на себе сильнее всех других человеческих вещей.

Когда они уходили от меня, я чувствовал, что они уходят в свой последний путь, и старался поскорее забыть о них.

Но когда вечером одной дождливой февральской пятницы Казя принес мне ботинки Мойшика, я разволновался не на шутку.

* * *

Ты, может быть, сочтешь банальным, что действие начнется как раз там, где все должно было бы заканчиваться – на кладбище. Не торопись вспоминать популярные легенды и душераздирающе сюжеты. Каждое кладбище неповторимо своими историями, своими ни на кого не похожими призраками. Как неповторима, независимо от дарования автора, каждая написанная книга. Только кладбище – книга, в которую день за днем вписываются все новые и новые главы. Композиция все усложняется, и живущим по эту сторону кладбищенской ограды уже не под силу охватить глобальности замысла, лишь отдельные линии затейливого сюжета кочуют по головам и сердцам, изливаясь то в неудержимых слезах, то в скупых словах, то в досужих пересудах.

На нашей окраине писались две скорбные книги – еврейская и христианская. Два кладбища разрастались вширь, словно торопясь заполнить отведенные им места, пока не сошлись, как две встречных толпы, и замерли, разделенные ветхой кирпичной стеной, сложенной еще до войны. Стена местами покосилась, ее основание, подточенное могилами, оплывало, каждой весной ее подпирали с обеих сторон несуразными конструкциями, и она, несмотря на почтенный возраст, продолжала стоять. Зато несколько образовавшихся в стене пробоин никак не удавалось замуровать. Радетели порядка то с еврейской, то с христианской стороны пытались заложить их кирпичами, забить досками, законопатить бетоном, однако буквально на следующий день заплатки неизменно обрушивались. В конце концов и те, и другие, не сговариваясь, устали и закрыли глаза на это вопиющее безобразие.

Не знаю, насколько воображение служителей обоих кладбищ занимал вопрос о всеобщности потустороннего мира, но между ними за долгие годы удовлетворения скорбных потребностей своих сограждан установился странный союз. Первые кресты вокруг скромной деревянной часовенки вставляли на, казалось, непреодолимом расстоянии от приземистых камней, украшенных шестиконечными звездами и вязью древних букв.

Война прошла по могилам гусеницами танков, хищными руками вандалов, огнем, поглотившим старую часовню, но когда отгремели последние залпы долгожданной Победы, кладбища очнулись и вновь устремились навстречу друг другу, пока не сошлись у разделяющей их стены.

* * *

По вечерам, когда затихали нестройные раскаты погребального квартета Фельки-трубача и тихие заунывные звуки кадиша, щедушный звонарь запирали дубовые двери недавно отстроенной каменной церквушки, а работники «Погребального братства» в суровых черных шляпах выходили из кладбищенской молельни, омывали руки и направлялись по домам, когда последние торговцы убирали ведра с поблекшими за день цветами, а профессиональные попрошайки резво снимались с насиженных мест, и над обителью скорби воцарялась густая тишина, могильщики выходили

каждый из своих ворот, усаживались на скамейку, стоявшую посередине, и распивали традиционную ежевечернюю бутылку.

Никто не знает, когда и откуда появились на погостах Казя и Мойшик, казалось, они возникли там вместе с первыми могилами. Два этих человека, чьей-то непостижимой волей изъятые из потока Времени и поставленные на границе двух миров, составляли живописную композицию, в которой явные противоположности невообразимо дополняли друг друга. Казя – длинный, сутулый, мосластый, в обвисшем твидовом с чужого плеча пиджаке, укрывающем во все времена года впалую грудь в ключьях свалявшихся волос. Из-под галифе царского покроя со следами некогда золотых лампасов торчат зеленоватые худые ноги в стоптанных домашних шлепанцах. Мойшик – приземистый, широкий. Засаленный лапсердак, застегнутый на все пуговицы, серые, в мелкую полоску брюки на крепких кривоватых ногах и плотно сидящая на покатых плечах голова под выцветшей кепкой.

Знаешь, я так и не сумел понять, каким образом они находили общий язык. По-видимому, за годы совместного существования между ними установилась не требующая слов телепатическая связь. Они помогали друг другу копать могильные ямы, работая слаженно, как единый беззвучный механизм. В конце дня, прежде чем приступить к традиционному возлиянию, молча складывали в кучку смятые шекели, доллары, рубли, полученные от благодарных усопших через их скорбящих родственников, также молча делили их поровну. Время разговоров наступало потом, когда на столе, еще хранящем прелый запах кладбищенских цветов, появлялась бутылка недорогой водки, мутный граненый стопарик Казя и пластиковый одноразовый стакан Мойшика. Когда на одной стороне стола располагалась нарезанная грудинка, кусок сыра, соленый огурец и краюха черного хлеба, а на другой – завернутая в полиэтилен половина курицы, румяная пита, баночка маслин и пара помидоров.

Раздельная закуска, как нельзя лучше иллюстрировала то, что за пределами кладбищенских дел похоронщики жили на планетах, распложенных в разных концах Галактики.

* * *

Казимир Лукашевич, а для всех кроме начальства – Казя, со своей супругой Раисой занимал в районе новостроек, загроможденном коробками блочных домов, полнометражную квартиру, заполненную диванами, коврами, разнообразным хрусталем и тучным телевизором. Все оставшееся пространство занимала сама Раиса, блеклая, завидной упитанности дама с пылающим взглядом. Мужа она называла не иначе как «придурок», а в редкие минуты неукротимой интимной нежности, воркующим голосом – «дурак дурной». Вечерами, когда Казя возвращался домой, она встречала его в атласном пеньюаре, расписанном китайскими жар-птицами по серебристо-черному фону и неизменным риторическим вопросом: «Ну что, придурок, опять напился со своим жидом? – Раиса с детства была убеждена в том, что евреи виноваты во всем, в том числе и в ее загубленной жизни. – Сейчас опять будешь топтаться по ковру?»

Казю это нисколько не смущало, он вполне довольствовался крохотной кладовкой, где безропотно менял свои повседневные галфе и пиджак на линялое домашнее трико и застиранную майку с надписью на иврите «Исразль бэ-алия» и лишь потом милостиво допускался в щедро приправленные деодорантами заповедные владения своей супруги.

Перед Раисой он трепетал и благоговел, и были тому достаточно веские причины. Дело было вовсе не в ее неукротимом темпераменте, с которым мог сравниться разве что поезд, запечатленный в любимом ею фильме по мотивам бессмертного романа Л. Толстого, где «Василий Лановой... ой, ну такой мужчина... в погонах... не то что ты, придурок». Дело было в необоримом пристрастии Казы к мистике. Ею он просто болел, обожал рассказы о привидениях, вампирах и черной руке, а когда женился и поднаторел в грамоте, стал жадно читать книги Шнайдера, Моуди, Беме, Кастанеды и т. д., ничего, впрочем, в них не понимая, но искренне наслаждаясь изотерической атмосферой.

Гром просветления грянул в Казиной голове в тот день, когда он впервые увидел портрет Елены Петровны Блаватской, где она, подперев голову, смотрела на зрителя всепонимающим пронзительным взглядом.

– Господи! Это же вылитая моя Раиска, – в полный голос подумал Казя и впал в глубокое летаргическое размышление, как обычно, сопровождаемое запоем.

Благословенное зелье, не раз приводившее человечество к смелым революционным открытиям, и на этот раз совершило свое созидательное воздействие. На Казю снизошло прозрение, и он понял, что Раиса является очередным земным воплощением великой тайновидицы, посланной ему в качестве жены для исполнения некой высокодуховной миссии, суть которой пока сокрыта, но со временем, несомненно, откроется и осуществится в их осененном Божественной целью брачном союзе.

В свете приобщения к тайне Казя повесил в своей кладбищенской каптерке портрет Елены Петровны, вырезанный из журнала «Религия и здоровье», приобрел «Тайную доктрину», забросив за ненадобностью все остальные книги, и главное – прекратил по отношению к супруге и без того практически безрезультатные сексуальные поползновения. Совершать подобное с носительницей неземной мудрости, пусть даже в «очередном земном воплощении», даже ему, свободному от лишних этических качеств, казалось гнусным святотатством. Свою благоверную Казя сначала про себя, а потом вслух стал называть сакральным именем «Е. Б». Раису никогда особо не впечатлял интеллект мужа, а тем более его лексикон, состоящий в основном из смеси непечатных слов и заумных мистических терминов. Казино откровение она прослушала внешне невозмутимо, но назвала его при этом не просто придурком, а придурком, пропившим последние мозги, что свидетельствовало о некоторой благосклонности. На самом деле в глубине души она была даже польщена, хотя всю свою жизнь мечтала об имени «Анжелика».

Надо сказать, что где-то в середине первого тома тайноведческого бестселлера Казя непроходимо застрял. И не только потому, что из всего прочитанного он понял только вступительную фразу:

«Этот труд я посвящаю всем истинным теософам каждой страны и каждой расы, ибо они вызвали его, и для них он написан». Просто разнообразные заоблачные сущности во множестве, как оказалось, населяющие Вселенную, настолько завораживали его звучанием своих имен, и он решил, что прежде чем прилагать титанические усилия для постижения их замысловатых функций, необходимо эти имена запомнить и научиться выговаривать. Он записывал в специально купленный блокнот слова, вызывавшие в нем благоговейный трепет, требующие штудирования – Бодхисаттва, Манвантара, Мулапраkritи и т. д., – и более легкие, которые можно было разучить за месяц-другой, – Майя, Лотос, Великая Матерь... Он твердил их про себя и в голос, используя каждую свободную минуту в перерывах между рытьем могил и похоронами, и в эти мгновения ему казалось, что его душа воспаряет и воссоединяется с бестелесными небесными властителями.

Когда за кружкой послебанного пива, приправленного водочкой, разомлевшие собутыльники, восхищенные звучанием сыпавшихся из него санскритских слов, спрашивали, почему же он, обладая столь неординарным мистическим дарованием, закапывает его в бесплодную кладбищенскую землю, Казя неизменно закатывал глаза и торжественно изрекал: «Хочу уловить жизненный флюид».

Проблема в том, что уловить этот таинственный флюид Казе не удавалось никак. Ты не поверишь, но каждый раз, когда живописный Фелькин квартет, заслуживающий отдельного описания, взрывался неведомым ни одному композитору похоронным маршем, на глазах Казы, несмотря на его вековую практику, неизменно наворачивались непрошеные слезы, и весь процесс скрупулезного научного наблюдения шел насмарку. Так повторялось из раза в раз, но надежда постичь сущность неуловимой субстанции Казю не оставляла никогда. Надо сказать, что Казины слезы не только мешали его исследовательским потугам. Скорбящие родственники, растроганные его чувствительностью, совали ему в карманы щедрые чаевые и подносили стопку-другую на помин души, от чего Казя по доброте душевной никогда не отказывался и чем постоянно поддерживал в своем теле довольно высокий градус.

Но в каком бы состоянии ни оказывался он по завершении трудового дня, вечерняя бутылка с Мойшиком была священной. Ведь только с ним Казя мог на достойном уровне обсудить проблему неуловимого жизненного флюида.

* * *

В тот памятный вечер он ворвался в мой дом вместе с февральским дождем.

– Йося, бля, Мойшик исчез! – слово «бля» в Казиной речи неизменно служило смазкой, облегчающей исход других, более приличных слов. – Исчез, бля, совершенно!

– Как исчез? – вряд ли я мог спросить что-нибудь другое.

Казя никогда не славился внятностью самовыражения, мне стоило немалых усилий понять, что же собственно произошло.

«Чуть больше месяца назад померла Немая Двора. Жалко, но с кем не бывает. Схоронили – честь по чести. Неделью Мойшик на по-

госте не появлялся, самому приходилось копать и для своих, и для ваших. Потом пришел, месяц молчал, даже за водярой слова не вытянешь, бородой оброс – чистый абрек. Вчера памятник поставили, скромный, но конкретный, серого гранита. А сегодня, к вечеру, приходит. Раньше никогда по пятницам. Ну, приняли, как обычно, не больше, мы ж меру знаем. Дождина, мы у него в закутке, рядом с хибарой, где ваши пейсами трясут. Тут он ботинки эти сбросил, встал, посмотрел на меня так, что в кишках заморозило, сказал что-то непонятное и вышел. И с концами. Я думал – по нужде. Сижу, как болван, – нету. Я туда-сюда – исчез, как и не было. Зову вполсилы – Мойшик, Мойшик; у нас особо не покричишь – боязно, вдруг ненароком кого поднимешь. Тишина, бя. Натурально растворился. Вот я и думаю, чего же он такое сказал?»

И Казя поставил на стол украшенные налипшей кладбищенской грязью башмаки. Я уставился на них, бессознательно отмечая добротной выделки кожу, растянутую искаженными артритом суставами, изрядно стоптанную подошву и слегка загнутые вверх носы. Будь ситуация чуть поспокойнее, я подумал бы, что хозяин этих ботинок уверенно ходил по земле и вряд ли мог стать моим другом.

* * *

Моисей Брук, которого с незапамятных времен с легкой руки заезжего кантора называли Мойшиком, жил со своей женой, Немой Дворой, в одном из одряхлевших, времен Мандата, двухэтажных домиков, тесно сгрудившихся в кварталах Геулы – района, примыкающего к рынку. Полутемная двухкомнатная квартира: огромный дубовый стол, бронзовый семисвечник на вышитой виноградными гроздьями салфетке, массивный доисторический шкаф с истлевшим зеркалом, в углу спальни широкая железная кровать, украшенная никелированными некогда шариками, на стене возле нее выцветший гобелен «Утро в сосновом лесу» – Дворино приданное, полка с книгами Талмуда в истертых кожаных переплетах и настенные часы в резном деревянном футляре. На исходе субботы Мойшик заводил их тяжелым медным ключом. По вечерам, возвратившись с кладбища и омыв руки, он читал вполголоса кусок недельной главы, Двора, сидя рядом, слушала, потом подавала ему стакан чаю в серебряном подстаканнике и несколько кусочков сахара в крохотном блюде. Затем молча ложилась в постель и ожидала, пока Мойшик выключит свет, бесстрастно взгромоздится на нее, исполнит, как предписано, благословенный мужской долг и заснет каменным сном.

Двора, бывшая, казалось, для мужа частью домашней утвари, никогда не отличалась разговорчивостью. Но в тот день, когда война Судного Дня отняла у нее младшего, рыжеволосого Ами, в тот день, когда после ухода двух смущенных молоденьких офицеров, принесших страшную весть, Мойшик, упершись взглядом в настенные часы, проговорил своим обычным язвительным тоном: «Наше дело – только тело, а душу – Господь дал... и забрал», – она замолчала навсегда. С тех пор ее и звали Немая Двора, голос ее можно было услышать только во время субботних песнопений. Старшие дети – двое сыновей и дочь – давно разлетелись в разные концы земли, жили и старились вдали от родительского дома.

По пятницам Мойшик направлялся в баню. Забравшись на верхнюю полку, он, самозабвенно покряхтывая, охаживал себя аккуратным веником, начиная с ног и не пропуская ни одного кусочка на своем некогда крепко скроенном теле. Было в этом замкнутом старике что-то, что вызывало во мне странное любопытство. Как-то, в попытке познакомиться, предложил ему попарить спину, он посмотрел на меня подозрительно-ироничным взглядом и отказался. Потом, расположившись на каменной скамье, он доставал из яркого пакета с надписью «Машбир лецархан» целую коллекцию аксессуаров, каждому из которых была предназначена определенная роль в обряде омовения. Здесь были отдельные щетки для рук и ног, отдельная, с длинной ручкой, – для спины, кусок пемзы потереть пятки и лохматая, похожая на кошку, мочалка. Он намыливался неторопливо, скрупулезно, словно разговаривая с каждым сантиметром своей кожи и превращаясь постепенно в пушистого снеговика. Он и здесь отказался от моего предложения помочь, только сказал, обращаясь скорее к себе, чем ко мне: «Бедность от Бога, но грязь – нет». Когда в предбаннике я предложил ему пива, он криво усмехнулся: «Пиво плохо для простаты. Будешь пиво пить – не сможешь фистон поставить». Я расценил это как начало доверительных отношений и принялся разглагольствовать на свою в то время излюбленную тему о чувствах, о том, что определяет глубину интимной связи между мужчиной и женщиной.

– Эт точно! Что глубоко, то глубоко, – Мойшик смотрел на меня с ироничным состраданием в колючих глазах. – Только не глубже стоячего члена.

Сгреб свою необъятную сумку и, не прощаясь, удалился.

После бани, Мойшик надевал чистую рубаху, черный шевиотовый костюм, шляпу, неторопливо пил чай, а с приближением сумерек, после того, как Двора зажигала свечи, направлялся в синагогу. Возвращался при свете уличных фонарей, садился за празднично накрытый стол, пел «Шалом-aleyхем» – гимн об ангелах, сопровождающих еврея в субботу из синагоги домой, Двора тонким голосом подпевала. Потом «Эшет хаиль» – «Добродетельная жена»: «Дороже жемчуга она ценою... Подает она бедному, руку она протягивает нищему... Уста свои открывает для мудрости, поучение о доброте у нее на устах...» Произносил «Кидуш» над вином в высоком серебряном стакане и приступал к субботней трапезе. Весь следующий день проводил за чтением Талмуда.

* * *

Мне ничего не известно ни о его друзьях, ни о родственниках, ни о приятелях из синагоги, составлявших с ним миньян. Единственным, как мне казалось, человеком, которого Мойшик удостоивал разговора, был Казя. Правда, разговоры между ними были весьма своеобразны: во-первых, они носили неподражаемо эзотерический характер, а во-вторых, независимо от настроения, погоды или политической ситуации они проистекали в устоявшейся за долгие годы последовательности, традиционно повторявшейся из вечера в вечер. Беседа, словно симфония, чаще всего разворачивалась в че-

тырех частях. Конечно, бывали иногда и отступления, но завершение всегда было неизменно, как «Аминь» после благословения.

Пролог, то есть первая, а вслед за ней – «перерывчик небольшой» – вторая, обычно проходил в благодушном молчании. Казя смачно хрустел огурцом, откусывал во весь рот, жевал с огоньком. Мойшик отщипывал понемногу, ел не торопясь, сопровождая каждый кусочек маслинкой. Ну и, естественно, «чтобы первые две не соскучились» – по третьей.

Следующее действие наступало, когда накопившийся к вечеру голод слегка утихал, когда водка, лаская внутренности, проступала на Казином лице пятнистым румянцем, а в потеплевших глазах Мойшика начинали поблескивать золотистые искорки.

Казя закуривал, глубоко затягивался и, задумчиво глядя в темнеющее небо, проговаривал одну из своих немногочисленных заветных мыслей, повторяемую им в различных интерпретациях ежевечерне:

– Смотри, Мойшик, рождается человек, всю жизнь надрывается, выпивает, закусывает, книжки читает, мозги наращивает, а потом все одно – сюда. Мы его в землю и все его мозги, навороченные, – червям. Ну, разве это не блядство?

– Что ты от меня хочешь, что? – Мойшик был, наверное, единственным на всем свете, кто воспринимал Казю хоть как-то всерьез. – Все, что ни делается Небесами – к добру.

– То-то я и смотрю! – Казя потихоньку распался, подбираясь к своей любимой теме. – Родители стараются, по ночам его делают в поте лица, в школу водят, конфеты на елку вешают, институт хочешь – на тебе институт, компьютер – пожалуйста, кибернетику и всякие там мерседесы, а придет время – хрясь – и Казя с неполным средним яму копает да в гроб обыкновенными гвоздями без компьютера заколачивает. Ну разве это не блядство?

– Сказано, – Мойшик говорил торжественно и тем разжуживал Казю еще больше, – «прах возвратится в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его».

– Ой! Я тащусь! Сказано! Кем же это сказано? – Казя размахивал руками, что означало, что он уже вошел в соответствующий тонус. – Кто ж такое заявление сморозил?

– Соломон. Царь такой.

– То-то я и смотрю – царь, – Казя плеснул себе водки, чокнулся с пустым Мойшиковым стаканом и опрокинул ее в свою возмущенную глотку, – а был бы он к народу повнимательней, задумался бы своим царским мозгом: дух-то к Богу возвращается, а вот куда жизненный флюид уходит? А? Вместо того, чтоб живых людей эксплуатировать.

Когда Казя добирался до заветной темы, он вскакивал на нее, как на необъезженную кобылку, бросался вскачь, и ничего уже не могло его остановить. Ему требовались только терпеливые уши. В былые времена Мойшик пытался вставить хоть несколько фраз о трех ипостасях души, о том, что она, душа, и есть то, что оживляет тело. Но, разуверившись в способности собутыльника хоть что-нибудь воспринимать, успокоился и со словами: «Затрахал ты меня своим флюидом», замолкал до завершения второй части. А Казя неся по холмам и ухабам теософской мысли, помогая себе руками, глазами и телодвижениями:

– Душа – душой, знаем, сами Библию почитывали, душа – вот она, не бином тебе Ньютона, сколько их здесь ночами, прости Господи, бродит. А ты скажи мне, как это человек вот стоял, стоял, разговаривал, разговаривал и потом вдруг – хрясь, лежит себе, как полено. Душа себе порхает отдельно, тело смердит отдельно, и никаким макарон ее, стерву, назад не запихнешь. А почему? А потому что жизненный флюид улетучился, а без него – что твоей душе в организме делать? Говно в кишках перемешивать? Или разными глупостями извилины заматывать, а потом ими же людям мозги барать? Ты сам подумай! Ну и Соломону своему разобъясни – ну какого хера душе без жизненного флюида в туловище обретаться, она ж без него никакого удержу не имеет, ничем ее туда не завлечешь. Вот уловить бы его, пиздорванца, так люди бы и не помирали вовсе. Народу какое облегчение! У меня о человечестве забота. В мировом, бля, разрезе!

Страстный монолог растягивался и сжимался подобно баяну, но по мере того как водка, которую Казя в коротких паузах не забывал наливать себе и Мойшику, заполняла его организм, по мере того как его витиеватая мысль приближалась к идее спасения человечества, оратор грустнел, скукоживался, лицо его заливали слезы, и на этом второе действие благополучно завершалось.

К началу третьей части в бутылке оставалось немного. Мохнатая темень обступала со всех сторон, два тусклых фонаря над воротами кладбищ едва освещали натюрморт из остатков закуски. Мойшик, подперев голову кулаком, что-то напевал себе под нос. Казя, полулежа на столе, продолжал говорить:

– Согласно Ману, Хиранья-гарбха есть Брама, первая мужская сущность, Агнишватта, бля, Кумары!

– Кумары-шмумары, – соглашался Мойшик, только чтобы поддержать беседу, и снова возвращался к пению.

– Карма моя ненаглядная! Калахамса несравненная, где флюид? Почто я в твоих Манвантарах и Нараянах самого наиглавнейшего не нахожу? Или, к примеру, Сваямбхува – это ж чистое ёбтвоюмать, а где ж тут флюид? Одно сплошное Праджапати! Молчит Немезида, не дает мне ответа, как Гоголю, бля.

– Женщина обманывает, даже когда молчит, – ненадолго прерывался Мойшик.

– Только не моя! – Казя отрывал голову от стола. – Она знаешь какая! Джаинипаша! Агни, Вайя, Сурья!

Санскритские термины, словно магические заклинания, постепенно оказывали на Казю отрезвляющее воздействие. В его глазах появлялись зеленые огоньки, и это означало, что разговор подходил к своей завершающей четвертой части.

– А вот скажи ты мне, – начинал он издали тему, гораздо более приземленную, чем предыдущие, – почему все люди как люди, покойников в гроб кладут, а вы своих в тряпку заворачиваете? И вообще, говорят, что Бог ваш еврейский с ослиными ушами.

– Ослы и говорят такое, – Мойшик не прекращал напевать. – А заворачивают не в тряпку, а в талес, чтоб в землю возвращался, как сказано.

Дальше Казя мусолил, наверное, даже ему самому надоевшие напевы о распятии Христа, о маце, замешанной на крови невинных младенцев, о всемирном заговоре и угнетенных палестинцах.

Мойшик лениво отвечал, что молиться повешенному на дереве могут только мудаки, что кровь вообще-то для мацы не годится, пробовали – только вкус портит, и что всех палестинцев в качестве реальной о них заботы Казя может собрать и всунуть в свою сердобольную христианскую жопу.

В завершение, чтобы придать этим вялотекущим препирательствам хоть немного остроты, Казя провозглашал: «Вот дождетесь, доберемся мы до вашего племени! До каждого доберемся!»

– А ты про Протоколы сионских мудрецов слышал? – Мойшик впервые за вечер ласково улыбался.

– Ну, слышал чего-то, – настораживался Казя.

– Так вот, вы там у нас... каждый поименно записан, – Мойшик крепко постучал заскорузлым пальцем по столу, – так что не то что добраться, моргнуть не успеете.

Наступала напряженная пауза, Казя оторопело переводил взгляд с Мойшика на кладбищенские ворота и обратно.

– Пьянка пьянкой, а ноги мерзнут, – наконец произносил он, выходя из оцепенения, – давай, что ли, по последней, не пропадать же продукту.

– Об что разговор? – Мойшик протягивал свой пластиковый стаканчик. – Не позволим!

Разливали, чокались, выпивали и молча расходились по домам. До завтрашнего утра.

* * *

Казя не двигался с места, глядя то на меня, то на ботинки, стоявшие на столе, словно ожидал, что сейчас я взмахну рукой, и из ботинок этих появится Мойшик, как курица из шляпы фокусника.

– Шел бы ты, брат, домой, – мне хотелось остаться одному, – надо подумать.

– И то правда, – Казя был явно разочарован, – думай, профессор. Думалка – она для того и сделана.

Он еще немного потоптался в луже, образовавшейся вокруг его шлепанцев, и нехотя, все еще в надежде на чудо, направился к выходу. У двери вдруг обернулся:

– Да, чуть не забыл! Память, бля! Мойшик, как разуваться приступил, толкует: Ты, грит, Казимир, напomini, Йоське про письмо, он, грит, знает, об чем речь. Не забудь только. Так что ты прими в расчет, очкарик.

– Хорошо, хорошо, Казя, приму, – мысли мои были уже далеко. – Будь здоров!

Ты спросишь, почему в тот вечер я не придал Казиному упоминанию о письме особого значения. Но вспомни о том, что и без того слишком много событий вместились в этот короткий дождливый февраль: убийство Арика и Хаима Заха, нелепая гибель арабской девочки Самар, загадочная смерть бабушки Рохи, спасение Хавы, чудесное рождение Давида... А тут еще Мойшик исчез. В моем воображении все это вместе рисовалось знамениями, предшествовавшими приходу Машиаха. И тогда ты поймешь, почему в тот момент мне в голову не пришло ничего более конструктивного, кроме как дожидаться исхода субботы и позвонить Оделии.

* * *

Первое появление Оделии в моей мастерской – а произошло оно примерно за год до этого драматического февраля – связано в моей памяти с необычным переживанием. Ты не подумай, вовсе не потому, что эта тоненькая девушка, лет двадцати с небольшим, хоть как-то задела мои мужские струны. Скорей наоборот – глядя на ее несуразную прическу, на не первой свежести майку, под которой свободно трепетали острые девчоночьи соски, на древние джинсы, оттянутые в коленях и волокущиеся по земле истерзанной бахромой, я поначалу испытал чувство, более похожее на отстраненную жалость, нежели на симпатию. Но то, что она держала в руках, сразу приковало мое внимание. Это была книга, и по виду очень старая.

То был сидур – молитвенник, напечатанный, если не ошибаюсь, в Будапеште, в 1870 году, издательством – не помню, кажется, Шлезингера. А может быть, там была другая фамилия. Впрочем, я не знаток, для меня это значения не имело. Больше меня взволновало то, что эта книга хранила следы нескольких поколений.

Оделия болтала без умолку: сидур достался ее бабушке Рохе от ее мамы, а ее маме – от ее мамы, бабушка Роха с ним никогда не расстанется, даже по ночам, кладет его под подушку, а сейчас она болеет, вообще-то она крепкая, только все забывает, Оделию, внучку, иногда спрашивает: «Как тебя зовут, мейделе?¹», а Соню, дочь, не узнает: «Что это за тетка чужая к нам в дом приходит?», узнает только Береле, внука своего ненаглядного, а Береле на нее ноль внимания, а Галка, жена его, нос воротит, пахнет, мол, из бабушкиной комнаты, бабушка ведь иногда в постель делает, и книжку эту из рук не выпускает, а она истрепалась совсем, вот я и подумала, может, вы ее подремонтируете, а то жалко, вчера она у бабушки из рук выпала и рассыпалась, так я ее по листочкам собирала, в общем, может быть, вы ее подклеите, только побыстрее, а то бабушка без нее никак, у нее просветление настало, так я ее уговорила, на денек, говорю, вам отнесу, она вас уважает, Йосефу, говорит, доверять можно, он из порядочной семьи, только, пожалуйста, ненадолго, а то, если бабушка опять в беспамятство впадет, будет голосить, пока книжку свою не получит.

– Ладно, ладно, оставь, приходи завтра, – всю ее трескотню я пропустил мимо ушей. Мне хотелось только, чтобы она поскорее ушла и оставила меня наедине с книгой. – Постараюсь.

Она упорхнула.

* * *

Я аккуратно развернул истрепанную обложку, стал осторожно перебирать полуистлевшие, истертые по краям страницы, и комната вдруг наполнилась голосами. Я слышал их явственно, и это несколько не пугало и не удивляло меня – я уже давно привык к тому, что вещи разговаривают со мной. Поверь, за долгие годы соприкосновения с людьми они так напиваются их мыслями,

¹ мейделе (*идиш*) – девочка.

болью, радостью, что навсегда, как магнитная лента, запечатлевают все это. И потом говорят.

Сидур бабушки Рохи звучал.

Звучали хрупкие листы, изящные буквы с узорами огласовок, звучали пятна слез на пожелтевшей бумаге, закладки на «Шма» и «Амида», изношенный до белизны корешок, слегка обгоревший торец...

Женские голоса, то беспорядочно, вразнобой, то сливаясь в единой ноте, то перебивая друг друга, то смешиваясь, подобно слезам, оставившим разводы на страницах, изливались в тишину комнаты, отзываясь во всем моем существе:

«Люби Господа Бога твоего, всем сердцем своим, и всей душою своею, и всем существом своим... Пощади, Господи, не дай нам погибнуть... и повторяй детям своим... Спаси их, Господи, Ривку, Хасю, Симку, Исачка, ведь ему и года нет еще...и напиши их на дверных косяках дома своего... Не дай, Господи, пролиться невинной крови...Ты питаешь живущее по милости, поддерживаешь падающих, исцеляешь больных... Спаси мою Хавочку, не оставь детей без матери... Ты одаряешь человека разумом и обучаешь смертного мудрости... Надоумь Яшеньку моего непутевого... прости нас, Отец, ибо мы согрешили. Отпусти нам, Царь наш, ибо мы провинились... прости, Господи, грех мой, прости мне слабость мою... Воззри на наши бедствия, и заступись за нас, и спаси нас ради Имени Своего... Мы-то пожили, а детей безвинных за что караешь?...детей, Господи, пощади... пошли нам, Господи, здравие – и мы будем здоровы, помоги нам, и будем мы обеспечены... Дай счастья моему Гершеле и Рохеле мою не забудь... Соню мою бедную не оставь без милости твоей, одной без мужа детей растить... Благослови нам, Господи Боже наш, год сей и все его урожаи. И ниспошли благословение, дождь, на лицо земли... Седьмой год воды недостает... Благословен Ты, Господи, собирающий скипальцев народа Своего, Израиля... Услышь голос наш, Господи Боже наш, пощади нас и смилуйся над нами и прими милостиво и благосклонно молитвы наши... Пошли моей несчастной Соне, и Оделии, и Береле моему дорогому здоровья и долгих лет... Пошли мир, добро и благословение, приязнь, милость и сочувствие нам и всему народу Твоему, Израилю. Благослови нас, Отец наш, светом Лица Твоего...»

Я провозился с книгой всю ночь, укрепил страницы тонкой рисовой бумагой, основательно проклеил корешок, изготовил новую обложку, покрыл ее черной лайковой кожей и, чтобы она сохраняла форму, поставил маленькую магнитную застёжку.

Знаешь, нет ничего приятней, чем с любовью сделать хорошую работу. Я был доволен.

А как было приятно, когда Оделия утром восхищалась и благодарила меня!

Она появилась вечером: «Бабушка не узнает своего сидура, плачет, кричит что-то непонятное на идише, похоже, проклинает всех, мы скорую вызвали, ей сделали укол, уснула. Что делать – не знаю».

Все внутри меня обрушилось, оказалось, что я совершил нечто ужасное.

– Но ты ведь хотел как лучше – Оделия подошла и мягко коснулась моего плеча.

Я поднял голову и вдруг увидел в ее вишневых глазах бесконечность.

* * *

Нет-нет, я не влюбился в нее. По возрасту она скорее годилась мне в дочери и вообще была, как говорят, не в моем вкусе, и потом – я ведь любил совсем другую женщину. Я любил Лену. Просто в ту минуту я *увидел* Оделию, увидел еще до того, как она рассказала мне про свои сны.

Она стала частенько заглядывать ко мне по вечерам, когда напичканная лекарствами бабушка Роха успокаивалась. Сны изводили Оделию почти каждую ночь: она видела себя в яме, наполненной трупами, их забрасывали сначала едким белым порошком, а потом землей, или стояла на краю глубокого рва в ожидании расстрела; в толпе обнаженных женщин с обритыми головами она шла по коридору из колючей проволоки к дверям какого-то угрюмого здания, она видела за ограждением собак и солдат с автоматами; она была мальчиком, спрятавшимся под кроватью, а в доме хозяйничали чужие люди, и мама, с окровавленным лицом лежала рядом, и чья-то громадная рука, и перекошенное злобным ликованием лицо, и запах перегара... она была бородатым мужчиной, с наброшенной на шею петлей, и ноги ее дрожали, и тысячи равнодушных глаз вокруг... Все эти картины, одна сменяя другую, наплывали, лишь только она ложилась в постель и закрывала глаза, сны набрасывались на нее, будто ночные демоны, ожидавшие темноты. И не было от них спасения.

Я слушал ее и не мог понять – как в подсознание этой девочки, родившейся через почти полвека после Холокоста, проникли эти жуткие видения, которых даже сами их уцелевшие свидетели всеми силами старались не помнить.

– Дядя Мойшик мне все объяснил, – пропела она однажды в ответ на мое недоумение.

– Мойшик? Могильщик, что ли?

– Да, только это секрет, – она перешла на шепот, – только ты никому, он просил, никому ни слова. Он к нам захаживал, продукты приносил, мама ведь на инвалидности, ну, с бабушкой разговаривал на идише, а еще под настольной лампой деньги оставлял, только ты никому, он строго-настрого просил.

– Ну и что же? – услышанное, признаться, поразило меня. – Что же объяснил тебе дядя Мойшик?

– Он сказа-а-ал, – она по-детски, уложила руки на колени, словно рассказывая выученный урок, – он сказал, что огромное множество еврейских душ, такое огромное, что и представить невозможно, было насильно вырвано из своих тел, не проживших еще срока, который назначил Всевышний, ну, в смысле Бог. Души эти не находят в небесах ни пристанища, ни покоя, а потому ищут возможности докричаться до живых, и рассказать нам о том, что с ними сотворили. Вот. Только почему для этого они выбрали именно меня?

– Что же сказал на это дядя Мойшик?

– Сказал, что не знает. Сказал, что путей Господних человеку не постичь.

Пока она говорила, я увидел, хотя, может быть, это происходило только в моем воображении, я увидел над ее головой чуть мерцающий столб света, уходящий вверх. Мне даже показалось, что внутри него, как по лестнице Якова, двигались вверх и вниз какие-то невнятные тени.

– Они и днем сопровождают меня, – тихо сказала она, – посмотри.

И действительно, только сейчас я обратил внимание, что Оделия окружает едва заметное трепещущее облако, из которого доносился легкий шелестящий шепоток. Только сейчас я понял, почему каждый ее приход всегда вызывал во мне непонятное беспокойство.

– Слышишь? – она доверчиво смотрела мне в глаза. – Они всегда рядом. Потому-то и люди от меня бегут, сами не понимая почему.

– Я от тебя не убегу, – мой голос слегка дрожал от волнения, – мы ведь друзья.

– Мы друзья, – сказала она и ушла.

И бледная вереница ее неземных спутников, перешептываясь, ушла вслед за ней.

Сам понимаешь, в ту ночь я не мог уснуть. Я даже не пытался понять, почему этой хрупкой девочке назначено было нести непосильный груз чужой памяти. Тут Мойшик был, безусловно, прав. Меня занимало другое: неужто и сам Господь не в состоянии совладать со злом, творимым людьми? Людьми, которых Он Сам, Своими же руками изваял из праха земного и выпустил в мир, так разумно и целесообразно Им же устроенный. Кто же Он, если Ему не под силу принять, разместить, упокоить в небесных чертогах обездоленные души, лишенные пристанища злобной человечьей волей? Или Его справедливость не ведает добра и зла? И если память этих бесприютных душ взывает к нам, значит, они хотят, чтобы мы жили и за себя и за них?... Кто же тогда *мы* для Него?... Что же тогда *я* для Него?...

Когда неторопливый рассвет прокрался в комнату, в ней еще слышались шуршащие голоса.

Потом Оделия влюбилась. В один из вечеров она проверещала об этом так же легко, как обо всем прочем, происходящем в ее жизни. О *ней* не рассказывала почти ничего, так, что-то обтекаемое, да я и не спрашивал, только где-то в глубине души, сам себе в том не признаваясь, испытывал что-то вроде зависти тому, кого это целомудренное существо сделало избранником своего сердца. В сущности, я был рад за нее, и потом – я ведь любил Лену.

Дальше стало сложнее, ведь влюбленный человек, и мне это хорошо знакомо, совершенно теряет ощущение реальности, ему кажется, что весь мир вращается вокруг предмета его любви. Оделия вознамерилась писать своему возлюбленному письма, причем она почему-то решила, что я обязан ей в этом помогать.

– У меня просто не хватает слов, – мурлыкала она, просительное глядя на меня вишневыми глазами, – а ты такой умный.

Более того, она заявила, что «подчерк у нее жуткий», и я как друг должен эти письма еще и писать. Я предложил ей компьютер, но она сказала, что это «холодно и не отражает чувств». Так я превратился в секретаря, поверенного ее сердечных тайн.

Со стороны это выглядело несколько странно, если не сказать – смешно. Я силился вспомнить Татьяну Ларину, Джульетту, Изольду, любовную лирику моего друга Макса Гершензона, Маяковского, которого она, впрочем, отвергла сразу. Предлагая их Оделии, конечно же непреднамеренно, думал о том, как я сам воспринял бы подобное послание, и что из сказанного задело бы мое мужское сердце. Она как строгий редактор, не колеблясь, отбирала то, что казалось ей подходящим. Но мое убогое литературное дарование не выдерживало подобной нагрузки, к концу каждого письма я был совершенно измучен, а она пробежала глазами текст от начала до конца, аккуратно складывала лист в заранее приготовленный конверт, заклеивала его и радостно исчезала. Через некоторое время экзекуция повторялась.

– Он хоть отвечает тебе? – спросил я ее однажды, перед началом очередной эпистолярной пытки.

– Пока молчит, – загадочно проговорила она, пододвигая мне чистый лист бумаги, – ответит когда-нибудь.

* * *

Ты спросишь, почему в тот памятный февральский вечер на исходе субботы я решил позвонить именно Оделии? Все просто – я хотел спросить, не появился ли среди ее призрачных спутников исчезнувший Мойшик.

Но до вопроса дело не дошло – умерла бабушка Роха.

– Только позавчера был врач, – всхлипывала Оделия в трубке, – давление, сказал, как у космонавта, сердце – дай Бог мне, говорит, такое. Ну, склероз, ну, голова не работает, так разве от этого умирают? Если бы все, у кого голова не работает, умирали, то я вообще не знаю... А сегодня утром захожу к ней... Господи!..

– Ну, послушай, – я не находил ничего более убедительного, – она ведь пожилой человек и страдала очень, да и вам было тяжело...

– Мне не было тяжело, – в голосе Оделии появился незнакомый мне металлический оттенок, – зато я знала, что у меня есть бабушка. Неважно какая, пусть даже без головы.

Я слушал, и ледяные волны накатывали на мои внутренности. Неужели я, сам того не желая, сыграл роковую роль в этой трагедии? Неужели, лишив несчастную старуху последнего оплота, за который еще держалась ее память, я способствовал ее смерти?

Оделии, похоже, это даже в голову и не приходило, она долго благодарила меня за заботу, за теплые слова, и когда разговор закончился, я почувствовал облегчение.

Только знаешь, облегчение это было мне неприятно. *Я ведь должен был бы страдать!* По всем канонам драматического жанра я должен был винить себя, не находить себе места, метаться по комнате или броситься на постель и лежать, не двигаясь, сутками без еды и питья.

Здесь ты сможешь мне ненадолго развернуть декорации, заимствованные из популярных фильмов: я должен идти сквозь толпу, не замечая никого, а люди будут равнодушно спешить по своим делам. А я – отрешенно... И чуть не попаду под машину и даже не замечу этого... А потом в автобусе, и не зная куда – мне же без-

различно...И вот конечная остановка, и добрый водитель: «Автобус дальше не пойдет», а я поднимаю глаза, и в них отрешенность, или нет – боль, отчаяние... и он замолкает... И я пью виски, одну за другой и «мы уже закрываемся», а я – трезв и во взгляде безнадежность, и смущенный бармен... И берег моря, и холодный ветер развеивает мои волосы, и волны бьются о камни, и музыка, в которой «высокая тоска», и мысли о бренности всего сущего, и я, стремящийся делать добро и творящий зло – на крутом обрыве.

Витая среди этих, пленяющих воображение картин, я вспомнил, что море отсюда довольно далеко, что волосы мои уже давно не в том количестве, чтобы шальной морской ветер мог их хоть как-то впечатляюще развеивать, и что от спиртного меня наутро мутит и давление, опять же... В общем, в канон я явно не вписывался.

Но чтобы все-таки пострадать, ну хоть немного, я оделся и вышел в пронизывающую февральскую темноту.

* * *

Для страдания погода подходила идеально – падал унылый дождь вперемишку с разбухшими хлопьями снега. На улицах не было никого, кто мог бы впечатлиться моей отрешенностью. На улицах не было ни души. Раскаленный маслянистый кисель сочился из окон, остывал и растворялся во мгле. Дома громоздились плотной толпой, укрывая в своих утробах добропорядочных людей, не отягощенных печалью. Глядя на эти окна, я нутужно думал о наивности тех, кто беспечно предается усядам жизни, не осознавая мимолетности собственного бытия, о том, что в неумолимом потоке Времени нельзя держаться за убогие ценности, а устремляться к высокому и вечному. Еще я старался думать о своей вине за то, что душа бабушки Рохи бродит сейчас под этим холодным дождем, оставив свое тело и не обрета еще небесной обители. Правда, об этом думалось как-то неубедительно.

Под ногами хлюпала кашеобразная жижа, пока я дошел до центра города, ноги мои промокли насквозь. Не знаю, испил ли я при этом необходимую долю самоистязания, но промерз до костей.

Улица Яффо теплилась жизнью. Сквозь пелену светились размытые вывески, изредка проносились автомобили, разбрасывая фонтаны разомлевшего желе, в двух-трех тускло освещенных кафе шевелились силуэты посетителей.

Я устремился туда, как к спасительному маяку. Страдание страданием, но что могло быть желаннее сейчас, чем чашка чего-нибудь горячего!

В крохотном кафе было душно, волны влажного табачного дыма слегка покачивались под потолком в такт тихому блюзу, пестрая группа молодых людей теснилась в углу вокруг уставленного пивными бутылками стола. Осоловевший бармен меланхолично пододвинул мне чашку кофе с молоком. Я обнял ее ладонями и уселся за столик у окна. Аромат кофе щекотал ноздри, чашка приятно обжигала пальцы, я неотрывно смотрел на нежную шапку пены, не решаясь потревожить ее и вдыхая глазами ее живительное тепло. Когда же, наконец, я вышел из оцепенения, сделал несколько робких глотков и поднял голову – напротив меня сидела Алиса Викентьев-

на. В моем еще не оттаявшем мозгу мелькнула мысль, что она сотворилась из промозглой заоконной тьмы или вошла прямо сквозь стену. В ее пепельных волосах переливались разноцветные искорки.

– Йосеф, не ожидала здесь вас встретить, – бархатный, с легкой хрипотцой голос как бы прорастал из шелеста дождя, – я часто захожу сюда и никогда вас не видела.

– Я тоже, – губы уже начали повиноваться мне, – я здесь случайно.

– А я в случайности не верю, – из ее изумрудных глаз вливались в меня горячие ручейки, – я давно хотела с вами поговорить, да вот беда, уж сколько времени прошло, а Боречка до сих пор на меня сердится. На звонки не отвечает, да и женат он теперь. А без него как мне вас разыскать?

* * *

Алиса Викентьевна – так она назвала себя – появилась на одной из наших дружеских вечеринок, которые мы, бывшие сокурсники, периодически устраивали, продолжая традицию веселых студенческих попоек. Мой давний приятель Боречка – Берл Шлёмкин – представил ее как свою девушку, хотя она была чуть постарше нас, о чем сообщила, нисколько не смущаясь.

Боречку я знал с самого детства, еще с тех времен, когда мы дразнили его «Береле, скушай котлетку».

Происхождение этого прозвища заслуживает небольшого отступления, поэтому мы ненадолго сменим обстановку: небольшой пустырь за нашими домами, лето, мы, десяти-двенадцатилетние мальчишки гоняем мяч, и столб пыли гоняет его вместе с нами.

Боречка всегда был худосочным мальчиком, он и сейчас не больно упитанный, но тогда, в детстве, это ужасно беспокоило старую Рахель – его бабушку Роху. Она постоянно жаловалась моей маме: ребенок недоедает, у ребенка нет аппетита, его на пианино заставляют, а откуда силы возьмутся, если ребенок ничего в рот не берет. Странно, но худоба внучки Оделии, родившейся лет через пятнадцать, ее особенно не впечатляла. Летом, когда прекращались занятия и Боречка поступал в полное бабушкино распоряжение, она, пользуясь отсутствием родителей, «им же наплевать на ребенка», старалась накормить своего «кинделе»² так, чтобы «у него хоть немножкоросло тельце». Делала она это непрерывно. Чем бы Боречка ни занимался, бабушка Роха следовала за ним, то с оладьями, то с клубникой, то с бутербродом. Внук отмахивался от нее, кричал, даже топал ногами, но Роха была непреклонна. Наконец он сдавался, откусывал кусок чего-нибудь и мчался дальше.

Видишь, я опять вспоминаю бабушку Роху, видно, ее душа и впрямь еще не вознеслась и витает где-то неподалеку.

Так вот – картина: мы играем в футбол, из дома выбегает бабушка Роха, в руке ее вилка, на вилке котлета.

– Береле, скушай котлетку, – бабушка врывается в самую гущу и по какому-то наитию находит Боречку в облаке пыли.

² кинделе (*идиш*) – ребенок.

– Ой, бабушка! Отстань! – Боречка отвлекается, кто-то выбивает мяч у него из-под ног.

– Береле, скушай котлетку, – на той же ноте кричит бабушка, устремляясь вслед за внуком.

В пылу борьбы за мяч она каким-то образом умудряется заблокировать его и вынудить-таки откусить кусочек. Боречка жует на бегу, бабушка бежит рядом. Когда ей удается скормить «бедному ребенку» всю котлету, она останавливается и удовлетворенная, тяжело дыша, ковыляет к дому.

Боже, как давно это было! Сейчас Боречка уже взрослый, и никому в голову не приходит гоняться за ним с тарелкой, он инженер, он женат на нашей однокурснице Галке, а душа бабушки Рохи бродит под февральским дождем.

И детскую дразнилку уже никто кроме меня и не помнит.

Не вспоминали ее и на дружеской пирушке, где Боречка появился с Алисой Викентьевной, только по-прежнему называли его не угловатым именем «Берл», а привычным, ласковым – «Боречка».

На первый взгляд, внешность Алисы Викентьевны была ничем не примечательна: крупные черты лица, высокая грудь, чуть широковатые, на мой вкус, плечи, далеко не самая тонкая фигура в добротном шерстяном платье пастельных тонов. В незнакомой компании она чувствовала себя на удивление свободно – уже через полчаса было ясно, что мы знали ее сто лет, что она косметолог, что трижды была замужем, и что у нас куча общих знакомых. В ней присутствовало необъяснимое обаяние, но все же несколько удивляло, что Боречка, а это было видно невооруженным глазом, от нее без ума и хочет – об этом он шепнул мне после третьей рюмки – на ней жениться. И уже сделал предложение, а она обещала подумать.

Разговор шел, как всегда, обо всем и ни о чем. Подобный ни к чему не обязывающий треп был у нас давней традицией и служил скорее не поводом для откровений, а способом освобождения от душевного мусора, копившегося в потоке обыденной суеты. Говорили о модных книгах и фильмах, о безумном росте цен и продажности правительства, а когда алкоголь достаточно прогрел внутренности – о неотвратимости новой интифады, о действенности точечных ликвидаций, об апокалиптических предсказаниях новоявленных пророков. В завершение, когда уровень выпитого добирался до мозгов, группками разбредались по углам и, не слушая друг друга, мусолили каждый свое – о личном.

В тот вечер мы непреднамеренно оказались втроем: я, Алиса Викентьевна и Боречка, уснувший за столом рядом с ней. Не помню, о чем шла речь, но в то время я, помнится, воображал себя художником, непризнанным служителем богемы. Алкоголь будоражил кровь, Алиса слушала с ласковым вниманием, и я, упиваясь собственным красноречием, заливался соловьем. Щедро рассыпал перед ней замыслы еще не воплощенных произведений, тонкости проникновения в духовные глубины, жемчуга озарений и холодные камни неотвратимого одиночества художника. Самозабвенная ария не помешала мне, впрочем, отметить грацию ее больших, теплых рук – говоря, она как бы невзначай прикасалась к моим беспокойным пальцам – и мягкий свет, льющийся из ее темно-зеленых глаз. Комплиментам была посвящена отдельная часть моего выступления,

которую она также восприняла благосклонно. Она что-то спрашивала, обращаясь ко мне на «вы» и проявляя неподдельный интерес к моей болтовне. Ее низкий грудной голос, окрашенный волнующей хрипотцой, приятно стимулировал мое словоизвержение.

А потом она растолкала Боречку и увела его домой. С тех пор мы виделись еще несколько раз, мельком.

Боречке она отказала.

Выпивая, он неизменно декламировал стихи, посвященные ей: «Ты моя рваная рана, ты на ней горькая соль...»

* * *

С тех пор многое изменилось, мои богемные амбиции, словно осенние листья, скукожились и облетели. Нынешнее появление Алисы Викентьевны только слегка шевельнуло воспоминания о дружеских посиделках, а зябкий февральский дождь и мысли о бренности бытия вовсе не располагали к общению. Она же, несмотря на мой не слишком приветливый вид, была, кажется, рада нашей встрече:

– Йосеф, на вас просто лица нет, – ее голос ласкал внутренности, как горячий кофе, – что-то случилось?

– Случилось! – буркнул я намеренно сухо, подсознательно стараясь не поддаваться ее вкрадчивому тону.

– Не хочу вмешиваться, но, по-моему, вам срочно нужна горячая ванна.

– Сейчас кликну бармена и закажу, – я был иронично-неприступен.

– Я вас понимаю, – она совершенно не обращала внимания на мою нарочито неприязненную интонацию, – но вы можете простудиться. Кому от этого будет хорошо?

– Ничего страшного! Всем будет хорошо!

– Знаете что, – она была до безобразия терпелива, – я живу здесь неподалеку, зайдите ко мне, я угощу вас ванной, согреетесь, выпьем чего-нибудь, а потом пойдете домой, в постель.

Я, наверное, не смогу объяснить тебе, почему вместо того, чтобы ни на шаг не отступать от соответствующей моему настроению непреклонной позиции и вежливо, но холодно отказать, я вдруг неожиданно для себя встал и послушно поплелся за ней. Видимо, ослабленный возложенным на себя страданием, ну и, кроме того, основательно продрогший, я был не в силах противостоять ее чарам. Во всяком случае, этим я потом себя оправдывал.

Ее квартира: необъятный пухлый диван, бесшумный ковер, мягкий свет антикварного торшера и запах лаванды, жасмина и еще чего-то хмельного. В общем, интерьер, идеально подходящий для грехопадения, и я – кролик, обессиливший под взглядом удава.

Алиса Викентьевна сбросила в прихожей промокший плащ, оставшись в длинном пушистом свитере и высоких, до середины бедра сапогах, легко впорхнула в ванную, оттуда донесся плеск льющейся воды.

– Пока ванна наполнится, – она подошла ко мне вплотную, – согрейте хотя бы пальцы.

Я не шевелился, аромат лаванды слегка кружил голову.

– Здесь самое теплое место, – Алиса мягко захватила мои руки и устроила их у себя под мышками.

Я вяло попытался высвободиться, но ладоням было так тепло, и они с таким трепетом осязали упругость ее груди, что мои невнятные потуги завяли на корню. Мы стояли лицом к лицу, ее изумрудные глаза пронизывали мою голову насквозь, и в ней, в моей голове, лихорадочно трепыхалась одна единственная мысль: «Остановись! Еще не поздно! Ты же нужен ей исключительно для коллекции!» Но все остальные извилины, тупо выстроившись в шеренгу, заглушали одинокий голос бравым гимном естеству.

Алиса мягко втокнула меня в полупрозрачную духоту ванной и принялась невозмутимо расстегивать мою одежду.

– Ну что вы, Алиса Викентьевна, спасибо, – это было уже чересчур, – сам справлюсь, а вы выйдите... Выйдите, пожалуйста.

– Стесняетесь? Понимаю! Чувствуйте себя свободно, – и она вышла, притворив дверь.

Я затворил ее плотно, быстро разделся и опустился в горячее блаженство, укрытое пухлым одеялом мыльной пены. Это было... неопишимо, уже через минуту тело мое растворилось, я закрыл глаза и исчез...

Исчезло все, кроме тупоумных извилин. Пренебрегая наслаждением, они стройными рядами продолжали маршировать к уже изрядно встревоженной промежности.

Я поднял отяжелевшие от блаженства веки – надо мной склонилась Алиса Викентьевна.

– Мне все-таки хочется вам помочь, – на ней был просторный махровый халат, – вы же так продрогли.

– Да, я продрог основательно, – остатки моего интеллекта не могли выдать ничего более путного, – сильно продрог.

– Вы не стесняйтесь! Я же вас не стесняюсь.

Она сбросила халат и шагнула в пенное покрывало. Я смотрел, как утопали в пене сначала ее стройные ноги, увенчанные пленительным треугольником, потом шелковый живот. Тяжелые груди, сияя огромными розовыми сосками, торжествующе расположились у самой поверхности. Только потом я ощутил ее руки на своем теле.

* * *

В этом месте можно выключить свет и предложить уважаемым зрителям дать волю своему воображению. Не думаю, что оно, их воображение, нарисует им нечто отличное от многократно тиражированных любовных сцен, с разной степенью подробности исхоженных кинематографом. История интимных отношений младше самого Мира всего на шесть дней, и вряд ли их можно изобразить как-то по-новому. Мне, во всяком случае, это не под силу.

Но пока в темноте зала носятся воспаленные фантазии зрителей, подстегиваемые соответствующей музыкой, характерными стонами и силуэтами обнаженных тел, на мгновение возникающими из тьмы, я буду думать о том, что природа человека загадочна до невозможности. Восставшая плоть вдруг приобретает неожиданную самостоятельность, я бы даже сказал, право голоса. Она уверенно отстаивает свое мнение в споре с даже самым тонченно-одухотворенным ин-

теллектом и на все его беспомощные «нельзя поддаваться соблазну» лихо отвечает: «Да ладно тебе, живем только раз».

Вот и в ту ночь, отброшенные разгулявшимся естеством на окраины сознания, звучали в моей опустевшей голове обескровленные фразы: «Сегодня умерла бабушка Роха» и «Ведь я люблю Лену».

Когда я возвращался домой, позвонил Боречка. Мой старенький мобильник дребезжал от его срывающегося голоса: «Хавочка спасена! Нашелся донор! Операция через три часа. В «Адассе».

* * *

Ты спросишь, как могло вместиться в эти короткие часы столько событий, спрессованных моей памятью в один плотный, неразделимый ком. Но память, дружище, — своевольная колдунья, и деяния ее неисповедимы, как пути Господни. Легким касанием разрезает она дряблое тело реальности на тысячи кусков, зашифровывает каждый только ей одной понятным символом, а после укладывает их в свои бездонные сундуки. А потом, когда отгрохочет скорбная канонада, иссякнут слезы и растает жар прикосновений, когда полусонные поезда разъедутся в разные стороны и весенние кораблики скроются за горизонтом, когда замрет под сводами последний аккорд отгоревшего танго и обессиленные тени опустятся на запыленный тротуар, из нарезанных кусочков память выстраивает свои собственные истории. В этом, созданном ею мире она властвует безраздельно. В этом мире она повелевает и Временем, и Пространством, растягивает мгновения, сжимает до макового зернышка годá, смешивает стили, перекраивает пейзажи, интерьеры, не заботясь ни о логике, ни о последовательности и не соотносясь с расположением небесных светил.

Здесь живет мое земное «я», пытаюсь из воплощения в воплощение разгадать в этом коллаже некую общую идею, закамуфлированную в калейдоскопе картин, запахов, звуков. И только ничем не объяснимая вера в неизбежное присутствие гармонии поддерживает его в этом безысходном поиске.

* * *

Отказ Алисы Викентьевны выйти за него замуж Боречка воспринял болезненно, со всеми атрибутами романтической драмы. Он одиноко бродил по осеннему парку, путаясь худыми ногами в опавшей листве, сочинял длинные заунывные стихи, где «губы» рифмовались с «одну бы», «ланиты» с «разбито», а «лоно» с «непреклонна». Подвывая, читал их, устремив за горизонт остеклевший взор. На службе он отрешенно сидел перед компьютером, а его нервные пальцы рассеянно скользили по клавиатуре, заполняя экран словом «Алиса». Благо окружающие относились к этому с пониманием.

– Понимаешь, у меня с ней было все, – шептал Боречка, проглатывая очередную стопку, – я познал ее от макушки до кончиков ногтей. А она мне отказала.

– Почему вы отказали Берлу, – спросил я Алису Викентьевну в тот памятный февральский вечер, когда моя нагулявшаяся плоть

уступила сцену терзаемому совестью рассудку, – ведь у вас с ним было все?

– Именно поэтому, – она по-кошачьи потянулась, – именно поэтому я ему и отказала.

Когда душевный Боречкин катаклизм пообтерся и перешел в хроническую стадию, единственной, кто еще мог выслушивать его потерявшие свежесть монологи, оставалась наша однокурсница Галка – бесцветная дородная девица с тонким, печально очерченным ртом и мелкими, острыми, как у хорька, зубами. Она терпеливо внимала Боречкиным излияниям, нежно заглядывая в его глаза и поглаживая по плечу своей пухлой ручкой с короткими, словно обрубленными пальчиками, самоотверженно хранила молчание, бродя вслед за ним среди опавших деревьев, звонила ему ежевечерне, не обращая внимания на его пренебрежительный, а порой откровенно грубый тон.

– Бедный Боречка, он так страдает, – мяукала она с искренней озабоченностью, – боюсь, как бы он над собой чего-нибудь не сделал.

Боречка ничего над собою не сделал. Он прилежно тосковал, мусолил надоевшие рифмы, вызывавшие у Галки неизменный восторг, и снисходительно купался в сладких озерах ее сострадания.

Так же снисходительно он однажды облагодетельствовал ее соитием, «ну, понимаешь, она такая чувствительная, не мог отказать», объяснив ей после «того», что это несерьезно и что сердце его навсегда умерло для любви. Она отнеслась к этому с трепетным пониманием. Однако спустя некоторое время Боречка, как говорят у нас, обнаружил себя женившимся на Галке. Как Отелло на Дездемоне: «Она меня за муки полюбила...»

Через год оказалась, что Галка неизлечимо бесплодна. Юный возраст обоих уже давно миновал, и они всерьез задумались о том, чтобы взять на воспитание младенца из детского приюта.

– Как же ей без ребенка, – мямлил Боречка с нотой обновленной печали в голосе, – она такая чувствительная!

– Бедный Боречка, – пищала Галка, посверкивая зубками, – он так хочет детей.

Еще год заняло хождение по соответствующим инстанциям, проверки различных комиссий, инспекторов и социальных служб и, наконец, в их доме появилась Хавочка – пухлый полуторагодовалый ангелочек с голубыми, как у приемной матери, глазами. Происхождение ее по понятным причинам скрывалось, известно лишь было, что ее биологическая мамаша отказалась от нее прямо в роддоме, предполагаемых претендентов на отцовство было несколько, их объединяло одно – ходили слухи, что все они в тюрьме.

Имя девочке дали в приюте. К трем годам она была милой толстушкой со звонким голоском и смешной соломенной челкой. Она плохо ходила, больше ползала, почти не разговаривала, только пела и улыбалась. В общем, явно отставала в развитии.

– Не надо давать Боречке установок, – сверкала глазами Галка в ответ на мое ненавязчивое предположение, что неплохо было бы посоветоваться с детским психологом, – а то он будет сожалеть о том, что мы взяли Хавочку.

К пяти годам Хава превратилась в бледного заморыша, она по-прежнему почти не говорила, плохо ела, плакала по ночам. Беско-

нечные анализы выявили генетическую почечную недостаточность. Спасти девочку могла лишь трансплантация почки.

Семья впала в отчаяние.

Бабушка Роха, невзлюбившая Галку с первой же минуты, кряхтя, отправилась к какому-то большому раву. Тот посоветовал читать «Теилим» и дал написанное на крохотном листочке благословение. Свернутую в рулончик бумажку сказано было положить девочке под подушку.

Соня, Боречкина мама, по совету знающих подруг, помчалась к Котелю, чтобы вложить в щель меж камнями прошение, обращенное непосредственно к Самому.

Оделия сразу же предложила свою почку. Оказалось, что группы крови не совпадают. Сопровождавшие ее призраки – спрашивала, прислушивалась – безмолвствовали.

Боречка бродил по парку, разгребая ногами опавшие листья.

В атмосфере общего оцепенения Галка неожиданно проявила негибаемый характер. Как некогда завоевывая Боречкино сердце, она начала наступление на многочисленные государственные инстанции, благотворительные организации, на разнообразные комитеты по защите прав ребенка. Терзала социальных служащих, главврачей больниц, «Джойнт», «Всемирный еврейский конгресс» и «Международный Красный Крест». Она писала в газеты, разместила в интернете Хавочкину фотографию с пронзительным комментарием, способным извергнуть слезы даже из бездушного камня. В доме стали появляться журналисты, падкие на душещипательные истории, и, наконец, по национальному телевидению, на трех языках – иврите, арабском и русском – был продемонстрирован двухминутный сюжет, который завершался волнующим призывом: «Помогите! Пятилетняя девочка на грани гибели! Требуется донор!»

Несколько дней об этом говорили на всех каналах, но вскоре гуманный общественный интерес перекинулся на другие волнующие темы, которых в нашей беспокойной действительности, слава Богу, хватало. История маленькой Хавы легла еще одним печальным эпизодом в анналы утомленной человеческой памяти.

И вдруг, в промозглый февральский вечер – звонок от Боречки.

Не знаю, что сыграло решающую роль – драматическое стечение обстоятельств, воздействие магического свитка, а может быть, Он действительно прочитывает те неисчислимые послания, которыми заполнены все щели Стены Плача...

В любом случае это казалось чудом...

* * *

Доводилось ли тебе видеть, как изготавливают патроны? Завораживающее зрелище! Стоит набрать в поисковом окне интернетовской заставки соответствующую фразу, и ты можешь лицезреть все этапы процесса.

Латунная чурка в три приема превращается в сверкающую стройную гильзу, резец точным прикосновением выбирает в ее основании изящную бороздку, и она замирает, как юная девственница, в ожидании, когда ее лоно наполнится оплодотворяющим порошком, облеченным разрушительной силой.

Пучится масса расплавленного свинца, но укрощенный, он послушно принимает форму аккуратных пуль, одетых в бронзовую оболочку.

Соединенные между собой, они, гильза и пуля, выглядят уже не так безобидно, но, глядя на стройные шеренги патронов, бодро марширующих по ленте, еще не задумываешься над тем, что каждый из этих сияющих выправкой солдатиков предназначен для убийства.

Там же, в том же Интернете, сделав несколько кликов, ты можешь увидеть короткий фильм, позволяющий любителям острых ощущений насладиться зрелищем того, как пуля совершает свое страшное дело. Перед нами беззаботная цель: арбуз, пластиковая бутылка с водой, румяное яблоко, апельсин... В движении, замедленном съемкой, появляется пуля. Она зловеще вращается, от былого спокойного изящества не осталось и следа, во всем облике — только устремленность хищника. Она входит в беззащитную мякоть, и та взрывается, разлетаясь лохмотьями. Все, что было мгновение назад чудесным творением, на глазах превращается в безжизненную кашу. Тут же, пользуясь макетом, удалой комментатор бодрым американским голосом рассказывает о разрушениях, которые совершает пуля, попадая в живое тело. Словно смакуя рождественский пирог, он живописует, как ворвавшийся в плоть свинец разрывает мышцы, крошит кости, меняет траекторию благодаря остроумному смещению центра тяжести и всяким другим придумкам, предназначенным исключительно для того, чтобы как можно больше разрушить, как можно надежнее убить.

Мы с тобой не будем сейчас рассуждать ни о том, сколько оружия скопилось на земле, ни о том, что терпение Всемилостивого иссякает, ни о том, в котором из множества беспокойных мест на планете эти brave вояки найдут свое применение.

Но о четырех мы знаем точно:

Первая впиалась под ключицу Хаима Заха, прошла легкое и бронхи заядлого курильщика и разорвала в клочья его шестидесятилетнее сердце, в котором среди тронутых склерозом сосудов жила любовь и терпимость к Божьему творению.

Вторая пуля ворвалась в голову Арика и превратила в кровавое месиво мелодии, ноты, звуки, смешные истории и невеселые мысли, разбрызгала по стеклу те сакральные частицы мозга, через которые из высших миров в него проникали таинственные потоки, рождавшие музыку.

Третья угодила в живот Леи, где не родившийся еще Давидка завершал девятый месяц своего земного существования. Пуля металась вокруг крохотного тельца, пока наконец не выдохлась и бесславно опустилась на дно материнского чрева.

Четвертая вломила в хрупкое тело арабской девочки Самар, пробила едва набухшую грудь и в крутом витке разворотила горло, не натруженное еще ни злобными выкриками, ни скорбными причитаниями.

В тот дождливый вечер Жизнь и Смерть в очередной раз сошлись в бескомпромиссной схватке, но если перед твоими глазами выстроятся все эпизоды этого раунда, ты вряд ли сможешь однозначно избрать победителя.

Вот летопись событий:

Два палестинских боевика, обойдя под покровом темноты кордоны, проникли на нашу территорию с единственной целью – убить как можно больше евреев. Невдалеке от ишува они с автоматами в руках притаились на холме, возвышающемся над поворотом шоссе, где редкие автомашины из-за дождя предусмотрительно снижали скорость.

Ты спросишь, как, по чьему наитию из немногих проезжавших в этот пасмурный вечер машин они выбрали именно ту, в которой ехали Хаим Зах, его беременная дочь Лея и мой давний приятель Арик. Мне это неизвестно, как неизвестно ни одному из смертных логика Господних деяний. Арик и Хаим погибли на месте. Лее пуля угодила в живот, но прежде чем потерять сознание, она успела рвануть рычаг ручного тормоза, набрать в мобильнике «100» – номер полиции. Патруль, по счастью, был неподалеку.

Потом была операция, и родился Давидка. Пуля просто заблудилась в околородных водах, не причинив ни ребенку, ни матери серьезного вреда. Подобно нашему великому предку, спасшему свой народ от злобных филистимлян, мальчик спас свою мать.

Потому и назвали его Давидом.

Через несколько часов, получив сведения о местонахождении террористов, группа спецназа проникла в пригородную арабскую деревню, намереваясь захватить их. Рядовые обыватели типа нас с тобой подчас и не догадываются, что подобные операции Армия Обороны Израиля проводит регулярно. На этот раз что-то, видимо, пошло не по плану, началась перестрелка, но в результате террористы все-таки были уничтожены.

Из наших не пострадал никто, но одна шальная пуля влетела в окно соседнего дома и попала в грудь десятилетней Самар Набульси.

Я мог бы представить, что происходило в сердце старого Гафура, отца погибшей девочки, но я не смогу тебе объяснить, что произошло в его голове. Не советуясь с окаменевшей от горя женой, он позвонил в приемную больницы «Адаса» и сообщил, что его семья готова пожертвовать почки для спасения еврейской девочки Хавы.

Потом была операция, и Хава родилась вновь.

Вот перед тобою летопись событий, и я спрашиваю – сможешь ли ты подыскать по-настоящему убедительные слова, интонации, чтобы донести до напряженно притихшего зрительного зала суть произошедшего в тот вечер?

Может быть, это будет так: одинокая женская фигура, вырванная из кромешной темноты лучом прожектора, бередящая сердце музыка, например, «Апассионата» или «Патетическая», и взволнованно-проникновенный рассказ о случившемся, и паузы, и альтерация...

А может быть – сухая сводка новостей не окрашенными эмоциями голосом диктора, хроника одного из дней, подобного, к сожалению, многим другим трагическим дням, в которых теракты или обстрелы «Касамами» врывались болью в нашу повседневность.

А вслед за этим возвышенный монолог, типа «Быть или не быть...», а на фоне, на огромном экране, сменяющие друг друга кадры: развороченный взрывом автобус и обезумевшие люди, бегущие куда-то, старик-палестинец, сжимающий в объятиях убитого

ребенка, и зловещее шествие с факелами, изможденные лица за колючей проволокой и надпись: «Работа дарит освобождение», тысячи спин, склонившихся в молитве возле мечети аль-Акса, и седобородые евреи у Котеля, усталая поступь израильских солдат, и разъяренные арабские подростки,метающие камни, гримаса Ахмадинежада и плачущие поселенцы, покидающие свои дома...

И кровь, кровь, кровь на стенах, на руках и на лицах, на одежде спасателей и на халатах врачей, на асфальте и на иссушенной солнцем земле...

И марширующие по ленте конвейера стройные ряды солдатиков-патронов...

А может быть, по примеру Верховного Режиссера, безмятежно пролистать этот эпизод, как одну из неисчислимых страниц бытия, где Жизнь и Смерть выступают лишь сценическими инструментами, изобразительными средствами в Его непостижимом спектакле. Как падение Икара на картине Брейгеля.

* * *

«Не следует слишком скорбеть об умерших, – говорит «Шульхан Арух», – а кто скорбит слишком, на деле скорбит о другом». Эта фраза не оставляла меня, когда мы с Максом сидели шиву в доме Арика. Подобно навязчивому рекламному слогану, она возвращалась снова и снова, рассыпаясь на отдельные слова, разветвляясь во множестве скрытых смыслов и заставляя прислушиваться к себе: по ком же, на самом деле, я скорблю сейчас? Ответ был, но он совершенно не соответствовал моему представлению о чувствах, подходящих моменту. На самом деле *я скорбел о живых*. О себе и всех нас, остающихся в этом мире, беспомощных перед лицом Судьбы. Что ждет Веру, вдову Арика, его пятерых детей – старшему мальчику нет и десяти, – куда деваться от этой невыносимой жалости, клинком застрявшей в сердце?

Мой друг Макс Гершензон, во всяком случае внешне, относился к этому иначе. В нем поразительным образом уживались два человека. Один, иронично-невозмутимый, порой грубоватый, гармонично сочетался с его внушительной фигурой, с тонкой бородкой, обрамляющей круглое лицо, с полными губами и непечатной лексикой, обильно украшавшей его речь. Этот Макс не был равнодушен, но его драгоценный природный дар – любовь к жизни как к процессу («а мне нравится просто жить, вкусно есть, книжки читать, трахаться...») – позволял ему без всяких философских премудростей терпеливо и бесстрашно принимать происходящее.

– Мне повезло, – часто говаривал он, – у меня никогда не было проблемы выбора.

Другой Макс был поэтом, чувствительным и даже ранимым, тонко ощущавшим звучание слова, стихотворной мелодии. Когда он, закатывая выпуклые печальные глаза, читал свои стихи, его голос, то гибкий, то нежный, то пронзительный, то проникновенный, незаметно околдовывал слушателей. Этот Макс был стройным, грациозным, говорил изысканно, декламировать мог бесконечно.

Я любил его не за стихи, хотя они мне нравились, и среди моих знакомых он был единственным взаимправдашним поэтом. Меня

привлекало его здоровое неподдельное жизнелюбие, которого мне, к сожалению, катастрофически не хватало.

Около часа мы провели в удушливом молчании, говорить не хотелось, да и, согласно этикету, не принято. Вера, сидя на невысокой скамеечке, обнимала двух малышей, пугливо прижавшихся к ней, на ее осунувшемся лице неподвижно застыли глаза. Люди в безмолвии приходили и уходили, но я полагался на Макса – он был дружен с Ариком и его семьей, – и когда он поднялся, чтобы уходить, я невольно почувствовал облегчение.

Снаружи моросил мелкий дождь. В ближайшей лавке взяли бутылку водки и пошли ко мне.

– Вот такая, блядь, жизнь, – сказал Макс, поднимая первый стакан. – Только появился просвет и – на тебе. Все – на хуй! Помянем!

Мы выпили.

– Сколько раз я ему говорил, – Макс наливал следующий стакан. – Сколько раз я ему говорил: Арик, тебе что, трудно носить с собой пистолет? Кругом арабы!

– Чем бы ему помог пистолет?

– И то правда. Но все равно! Помянем! Пусть ему *там* будет хорошо. А мы здесь как-нибудь...

Мы опять выпили.

– А про какой просвет ты говоришь?

– Да про этот мюзикл!

С Ариком я знаком был давно, но встречались мы редко. Он всегда напоминал мне Деда Мороза, только молодого, но с таким же добрым уютным лицом. От него исходило какое-то осязаемое тепло, он был немногословен, но его тихий голос и мягкий доверчивый взгляд сразу же располагал к себе. Он с отличием закончил консерваторию, некоторое время писал музыку для фильмов и спектаклей, потом женился. Будучи по-настоящему религиозным, он был убежден, что дети – Божье благословение и их должно быть столько, сколько Господь пошлет. Времена менялись, заказы на музыку были все реже, пришлось преподавать в школе, перебиваться частными уроками. Квартиру нашел подешевле – «за зеленой чертой». Времена-то менялись, с деньгами было туго, но Арик не менялся совершенно, его серые глаза по-прежнему неизменно лучились теплом.

– И главное, какой талантливый, – принялся рассказывать Макс, когда мы перевалили за половину бутылки, – я-то в музыке – дуб дубом, но слышал от людей понимающих. Арье Кацвер, говорят, сегодня один из... Только этого в стакан не нальешь, в тарелку не положишь. И вот, в один прекрасный вечер – стук в дверь, заходит человек и с порога заявляет, что хочет заказать Арику музыку. Кто это, спрашиваю, был, и чего ему вдруг музыка понадобилась? Не могу, говорит, сказать, он такое условие поставил – никому ни слова. Я, говорит, обещал. Ну и что за музыку, спрашиваю, ему приспичило? Вот, говорит, он хочет, чтоб я оперетту написал. Ну, по-современному – мюзикл. Что за оперетту, спрашиваю, на какую тему? О пражском гетто, говорит, о рабби Махарале, который сотворил Голема. Известная, говорит, история. Почему же, спрашиваю, именно об этом, так много уже на эту тему написано, в еврейской мифологии есть много не менее классных сюжетов, «Эстер», к примеру. Таков, отвечает, заказ. А ты, говорит, напи-

шешь текст, сделаем, говорит, вещь. Он и заплатил уже. Я, Арик говорит, за год столько не зарабатываю.

– И что? Ты согласился? – рассказ Макса меня заворожил, но еще более захватывающим было наблюдать, как первый Макс, добродушный охальник, уходит и появляется второй Макс – поэт.

– Конечно! Эта история всегда меня привлекала. Она, может быть, одна из немногих легенд, где так ярко проступает тема взаимоотношений творца и его творения. Художника и материала, в котором воплощается замысел. Лидера и толпы, требующей от него чуда. В общем, здесь масса аспектов, в которых можно развивать сюжет. Не зря же за него брались такие непохожие друг на друга писатели, как Майринк и Башевис-Зингер. А еще были фильмы, спектакли, опера и даже балет.

– И что же?

– Арик набросал несколько красивых музыкальных тем и написал великолепный вальс.

– Вальс?

– Да, именно вальс. Этакий камертон будущей музыкальной ткани. А я написал текст. Мы так его и называли – «Пражский вальс». Красивая получилась вещица. Послушаешь когда-нибудь.

– И что теперь?

– Что, что? Арика убили! – в бутылке осталось еще немного, хмель так и не пришел, зато возвратился первый Макс – этот блядский террорист поставил точку в нашей композиции.

– Но ведь что-то сохранилось. Ты, слава Богу, жив. Может быть, продолжишь, а кто-нибудь по Ариковым наброскам сможет дописать музыку?

– Второго такого, как Арик, нет!.. Нет! – Макс тяжело поднялся, собираясь уходить.

У выхода остановился:

– Но я напишу! Напишу, только это будет поэма или роман в стихах – пока не знаю. Пусть эти бляди не думают, что нас так просто убить!

А потом, обращаясь к недопитой бутылке:

– А к тебе, стервоза, я еще вернусь! Никуда не уходи!

Макс удалился, а я еще долго не мог придти в себя. Мысли носились, словно обезумевшие птицы, водка внутри меня не принесла им покоя, а только будоражила их беспорядочные всполохи.

Когда, наконец, наступило затишье, я почему-то стал думать о Лене.

* * *

Лена, Лена, Лена! Мне кажется, я любил ее с самого рождения. Хотя, скорее всего, с того лета, когда она, серьезная восьмилетняя второклассница, рассаживала нас, малышей-дошкольников, вокруг себя, показывала буквы, учила считать, читала нам из своей толстой книжки про косточку, про деда Мазая и, что я особенно любил, про Каштанку. Она была строга, мы должны были сидеть ровно, а если хотелось в туалет, то нужно было поднять руку и попросить разрешения выйти. Я-то никогда не просил, терпел – мне было стыдно представить, что она подумает, когда узнает, что я хожу

в туалет, что у меня есть попа и писка. У нее-то самой их, наверняка, не было, она состояла из огромных синих глаз, золотых волос, заплетенных в две аккуратные косички с бантами, и серебристого голоса, который звучал в моих ушах, когда я вечером в постели, укрывался с головой и вспоминал ее пухлые ладошки и нежно очерченные губки. Меня она никак не выделяла – уже с тех самых младенческих времен она была уверена, что станет учительницей, и ей было, похоже, безразлично, кто перед ней, лишь бы сидели, слушали и соблюдали дисциплину.

В школе она, будучи на два года старше, естественно, не замечала меня. В перерывах между уроками я искал взглядом среди подружек ее стройную фигуру, толстую, до талии, косу и с завистью смотрел на ее мальчишек-одноклассников, которые запросто разговаривали с ней, смеялись, и, что самое обидное, она смеялась вместе с ними. По ночам я сочинял истории, в которых совершал ради нее невероятные подвиги, а конце обязательно умирал, повторяя: «Лена, Лена, Лена». А она плакала над моим окровавленным, простреленным, исколотым мечами, шпагами или кинжалами телом.

Как-то в школьном концерте, в один из революционных праздников, я назначен был прочесть какой-то патриотический стих, а она, старшеклассница, была ведущей, то есть выходила и объявляла: «А сейчас выступает», – ну и т. д.

Перед моим выходом он подошла ко мне и строгим голосом спросила: «Как твоя фамилия?» Я, не поднимая глаз, смущенно глядя на ее стройные ноги в белых чулках и лакированных, дивной красоты белых туфлях, пробормотал что-то невнятное.

– Как, как? – переспросила она и, я так представил, поморщилась при этом, – Скажи мне, как твоя фамилия и что ты будешь читать?

Я сказал, но, видимо, опять неразборчиво. Она промолчала, и это было молчание моего стыда за мою труднопроизносимую фамилию. Потом она вышла, объявила название стихотворения, а когда дошла до моей фамилии, исковеркала ее настолько, что я готов был провалиться сквозь землю. По залу прокатился смешок. Когда я на дрожащих ногах выходил на сцену, она шла навстречу. Из ее глаз – я не смотрел на нее, но был в этом абсолютно уверен – истекло снисходительное презрение. Я, конечно же, забыл слова, заикался, и все мое выступление превратилось в смешную пародию. Ночью я решил покончить жизнь самоубийством, но, выбирая способы, запутался, устал и уснул. С тех пор избегал показываться ей на глаза.

Мы встретились лет через семь-восемь, я заканчивал институт, она уже работала в школе учительницей французского языка. Ее привел в нашу компанию мой друг Сашка Игуль. Красивый, удачливый парень, он всегда пользовался благосклонностью девушек, но за Леной ухаживал серьезно и даже собирался на ней жениться. «Потому что она мне ничего не позволяет, только в щечку поцеловать».

Когда я увидел ее с ним, сердце мое рванулось к горлу. Я, правда, был в это время с другой девушкой, но ревность «удушливой волной» захлестнула меня настолько, что ночью я с ужасом поймал себя на том, что помышляю о преступлении.

Она за это время расцвела, девчоночья красота обрела спокойное уверенное звучание, и я, как в детстве, не решался смот-

реть ей в глаза. Со мной, как впрочем и со всеми, разговаривала доброжелательно, с искренним интересом, и это волновало еще больше. Она, словно цветок, невиданная птица, грациозная лань, просто *была* в этом мире, вовсе не задумываясь о всепобеждающей силе своей красоты, естественной для нее, как дыхание. Любовь нахлынула на меня с новой силой, и я стал лихорадочно искать возможность хоть как-то к ней приблизиться.

Повод придумал достаточно примитивный. Мне якобы было нужно перевести с французского некий невероятной важности технический текст. Во время одной из наших пирушек, изо всех сил изображая непринужденность, я спросил ее по-приятельски – ведь мы теперь были приятелями – не сможет ли она мне помочь. Она спокойно, без кокетства, согласилась. А тут, будто специально, Сашка собрался на полгода куда-то за тридевять земель, на заработки – видно, решил серьезно подготовиться к семейной жизни. Лена, правда, о его намерениях еще не догадывалась.

И вот я в ее доме. Мы сидим за столом, она в просторном домашнем халате, обложившись словарями, и я, на краешке стула, смущенно поджав ноги, не отрываясь смотрю на нее, а перед ней этот текст, который мне интересен приблизительно так же, как урожайность риса в Китае 1913 года. Маленькая двухкомнатная квартира, где она живет с родителями, представляется мне таинственным замком, где обитает прекрасная принцесса, где зеркала отражают ее силуэт, где постель, хранящая запах ее тела, где шторы скрывают от взглядов толпы ее божественный лик, где все наполнено ее дыханием – стены, потолок, сервант с немецким сервизом, диван, толстые словари, допотопный телевизор на тонких ножках. Я не отрываясь смотрю на нее, а она произносит вслух какие-то заумные термины, названия каких-то долбанных архитектурных деталей, каких-то хреновых строительных конструкций, а я скольжу взглядом по изгибу ее шеи, касаюсь глазами золотистых завитков за ее нежно-розовым ушком, спускаюсь ото лба по слегка изогнутой вверх линии носа к губам и замираю на них, любуюсь тем, как изящно они формируют звуки, превращая их в ничего не значащие для меня слова. Она невозмутима.

Три вечера этого сладостного созерцания пролетели мгновенно, этот дерьмовый текст оказался до обидного коротким, но за это время мне в голову пробралась плодотворная идея: в знак благодарности – ведь не платить же ей деньгами за такую столь важную для меня работу – в знак благодарности (и только!), я пригласил ее на концерт симфонической музыки (ну не в ресторан же ее приглашать!). Она, опять без лишних выкрутасов, согласилась.

По дороге в филармонию я болтал не переставая. Давали Берлиоза, мою любимую «Фантастическую симфонию». Ты представляешь, это знамя французского музыкального романтизма, разрушение всех канонов, пять частей вместо принятых для симфонии четырех, это, понимаешь эпизод из жизни артиста, это с ума сойти, живописность, экспрессия, понимаешь, ее еще называют программной, потому что он, представляешь, написал к каждой части еще и текст, тут, понимаешь, история молодого человека, который был, ну, в общем, влюблен безответно, и потому решил умереть,

ну, как бы это сказать, от любви, и, в общем, принял какой-то наркотик, только не умер, а впал в такой транс, что ему видятся картины там разные, в общем, он видит там свою возлюбленную, она типа ведьма, и он там за ней наблюдает, ну, и переживает, конечно, а потом его на казнь ведут, в общем, сама понимаешь, музыка классная!

Она тихо шла рядом, слушала внимательно. Иногда даже смотрела на меня как-то необычно, а может быть, даже взволнованно. А я все говорил, говорил... Мне казалось, что я сам написал эту симфонию о ней и о себе, как когда-то казалось, что это я посвятил ей и стихи Пушкина, и сонеты Шекспира, и любовную лирику моего друга Макса.

Погас свет, оркестр вздохнул, и музыка ринулась в зал.

* * *

Четыре части симфонии я пропустил – она впервые была так близко, что я ощущал тепло ее тела. Я смотрел в темноте на нее, звуки вливались куда-то в глубину меня, а голова пылала. Она сидела неподвижно, не отрывая взгляда от спины дирижера.

Пауза после «Шествия на казнь» показалась мне будто преднамеренно чуть более продолжительной. Настолько, чтобы я, наконец, решился пододвинуть свою слегка подрагивающую от волнения руку к ее руке на плюшевом подлокотнике между нами. И когда откуда-то из глубины опасно, осторожно, словно предостерегая, всплыли первые тревожные звуки виолончелей, я коснулся своим мизинцем ее мизинца. Ее рука, спокойная и невозмутимая, чуть отодвинулась. Но флейты заискивающе провоцировали сближение, и мой мизинец робко последовал за ее мизинцем, то касаясь его, то отстраняясь в смущении. Игривый рожок пропел: «Ну что ты? Не бойся, это ведь не серьезно», и ее рука, будто согласившись с этой невинной игрой, благосклонно приняла прикосновение. Звуки, освободившиеся от невидимых пут, разлились высокомерным торжеством, и мой мизинец вместе с безымянным пальцем, пьянея от собственной смелости, чуть приподнявшись, тронули шелковую поверхность ее руки. Еще не веря в эту маленькую победу, они едва касались выпуклостей и впадин, готовые в каждое мгновение сбежать и в смущении съжаться, спрятаться, но нежная поверхность под кончиками моих пальцев лежала в неподвижном ожидании теплой податливой плоти. Как глас небесный, прозвучал колокол, и вторил ему пронизывающий сердце звон: «Нет, это всерьез», и рука ее стыдливо задрожала, попыталась вырваться, но завораживающий бас туб обессилил ее, и, после нескольких порывов, она сдалась на милость моим торжествующим пальцам. Тромбоны и виолончели подхватили тему, а моя ладонь, бесстыдно ликуя, устремилась к обладанию отдавшейся ей на милость территорией, стараясь не оставить ни одного необласканного уголка. Сначала только подушечки моих пальцев пробегали, целуя, от трепетавших в волнении жилок по каждому нежному изгибу до безупречно гладких ногтей, где останавливались на мгновение в смятии и робости, и тут же устремлялись назад, в шелковую теплоту извилин и складок. Скрипки, заигрывая

с виолончелями, неслись в бешеном потоке, и когда они утонули в победном шествии валторн и тромбонов, моя ладонь безгранично завладела ее рукой, вдыхая, впитывая, поглощая всеми линиями ее пьянящий аромат.

Оркестр неистовствовал. Звуки, прорвав авансцену, обрушились на зал и затопили его. Наши ладони бесстыдно и неудержимо познавали друг друга. Пальцы сплетались и расплетались в неутолимой страсти, руки соединялись с такой силой, словно пытались слиться в одно многопалое существо, расходясь на мгновение и снова бросаясь в объятия. Густая влага, извергнутая из обезумевших от восхищения пор, смешалась, наши руки срастались, обрученные проникающим сквозь кожу густым нектаром.

Где-то в вышине повисли последние, празднующие победу аккорды. Поверженный зал безмолвствовал. Ладони замерли. Утомленные пальцы, прощаясь, легко коснулись друг друга.

Несколько голосов, утопая в яростных аплодисментах, протяжно прокричали: «Браво».

Мы шли через ночной город, молча, стараясь не смотреть друг на друга. Возле своего дома она обратила ко мне спокойное лицо:

– Спасибо, – протянула руку, рука была холодна, торопливо выскользнула из моей ладони.

Взявшись за ручку двери, она обернулась еще раз:

– Пожалуйста, не звони мне больше. Никогда.

* * *

Во второй половине марта, за неделю до Пурима, тучи внезапно рассеялись, открылось прозрачное небо, слегка растерявшее за зиму голубизну, и солнце, истосковавшееся по земле, распахнуло свои ласковые объятия. Это была еще не весна, впереди еще ждали пуримские холода и дожди, но уже тут и там замелькали алые капли анемонов, миндальные деревья, словно невесты, покрылись бело-розовым тюлем, девушки, высвободившись из зимних одежд, пленяли красотой открывшихся форм, а город вздыхал и расправлял затекшие от неподвижности суставы.

Тебе, может быть, знакомо это чувство, когда посреди замысловатого сюжета ты, словно по наитию, вдруг покидаешь насыщенное беспокойством пространство сцены, проносишься через полусвещенные кулисы, по тусклым коридорам, мимо гримерных, где готовятся к выходу на подмостки уже давно знакомые тебе актеры, и вдруг окунаешься в океан света. И плывешь, плывешь без всякой цели неизвестно куда.

Я плыл по городу, с трудом узнавая помолодевшие улицы, разомлевшие дома, засматривался на лица, провожал взглядом волнуемые женские силуэты, и в голове моей не было ничего, кроме этой обворожительной предвесенней мелодии.

Казалось, что ей не будет конца, но когда в этом нежно струящемся потоке прямо передо мной вдруг возникла Алиса Викентьевна, я снова с тоской ощутил себя вернувшимся на ту же постылую сцену. Сюжет продолжал разворачиваться сам по себе, и я был уже не в состоянии сбежать, остановить или изменить его.

Она была в изящном серебристом плаще, не скрывающем ее стройные ноги, и вся светилась неподдельной радостью:

– Йосеф! Давненько я вас не видела! Как ваши дела? Что нового?

– Нормально, – я давно уже привык к тому, что подобные вопросы задают, вовсе не ожидая на них пространного ответа. Скорее наоборот. – А что у вас?

– А у меня... – и она принялась рассказывать о том, что открыла, наконец, большой косметический салон, о котором давно мечтала, и что там у нее постоянная клиентура – в основном состоятельные дамы разных возрастов; а еще парикмахерская, массажный кабинет, сауна, джакузи, в общем, богатенькие дамочки приходят на целый день побаловать себя, а массажистки из Таиланда... Для желающих, а их немало – настоящий индус... А косметика – только «Виши»... Ну, журналы, кофе, конечно, коньяк...

– Кстати, – она мягко взяла меня под руку, бархатный голос окрасился легкой хрипотцой, – мы совсем рядом с моим домом, у меня там бутылочка настоящего Кьянти, может, зайдем, выпьем по бокалу за встречу, все-таки давно не виделись.

На протяжении всего ее пространного повествования я хоть и покорно шел рядом, но демонстративно смотрел по сторонам. Дома как-то погрустнели, небо потеряло свою задорную молодую прозрачность, красотики куда-то запропастились, зато стали попадаться несимпатичные угрюмые физиономии.

На последней ее фразе я встрепенулся:

– Нет, нет, Алиса Викентьевна, большое спасибо, огромное спасибо, но я не могу. Очень тороплюсь. Может быть, в другой раз? Я с удовольствием...

– Это не займет много времени, – ее рука настойчивей обхватила мой локоть. – Только по бокалу... За встречу...

Я снова оказался в ее квартире, напитанной губительным зельем истомы, где каждая вещь – свидетель моего грехопадения. И Алиса в коротком облегающем платье, и шелковые колени призывно мерцали в полумраке, и изумрудные глаза пронизывали меня насквозь, и горячая волна поднималась из паха...

Только я был абсолютно спокоен!

Это было неожиданно для меня и обрадовало очень. Я даже почувствовал, что горжусь собой. Я смотрел на нее и торжествующе думал, что вот она завлекла меня в свое коварное, как обитель сирены, логово, расстелила передо мной свои соблазнительные прелести и совершенно не подозревает при этом, что меня занимают сейчас не ее эротические изыски, а совершенно другое.

Во-первых, я старался вспомнить, где я читал, что настоящее покаяние происходит не тогда, когда человек уже не в силах грешить, а тогда, когда в том же месте, в той же ситуации, в которой он согрешил, человек противостоит греху и воздерживается от него.

Вспомнить источник я так и не сумел, но честолюбие мое от этого нисколько не страдало. Даже наоборот.

И во-вторых – что все находят в этом Кьянти? Кислятина...

Но Алиса-то Викентьевна своими изумрудными глазками в эти мои мысли, видимо, не проникла и продолжала, наивная, опутывать меня своей томной паутиной. Не понимала, голубка, что это бесполезно. Что я неприступен! Как гранит!

Когда она кошечкой уселась ко мне на колени, я невозмутимо (!) и строго, как мог, продекларировал:

– Знаете, Алиса Викентьевна, вы, конечно, женщина... и даже в тот вечер... но знаете, что я вам скажу – это противоречит... это, я вам скажу, недопустимо... и прекратите ваши домогательства... вы, конечно, женщина... но давайте останемся просто друзьями.

В конце моей речи мне стало ее даже немного жалко, она сорвалась с моих колен, уселась на диван, ее глаза метали в меня искры ненависти:

– Вы не любите меня, Йосеф... А в ту ночь мне показалось...

– Вы мне близки как друг, – мой голос был ласковым голосом Онегина в XIII стихе четвертой части одноименного романа, – но я люблю другую женщину. А вас любил Боречка. Такой хороший парень.

– Ваш Боречка... Он-то до сих пор любит меня, а не свою дистиллированную... Встретила его на прошлой неделе, только, говорит, скажи – все брошу...

– Боречка – человек преданный, чистый, – я удерживал менторский тон, – ну, наивный немножко...

– Да уж, чистый... – Алиса Викентьевна смотрела прямо мне в глаза. Потом, неторопливо вытаскивая каждую фразу, заговорила. Боже мой, лучше бы она этого не делала!*

– Когда я сказала ему, что он милый славный мальчик, что я люблю его, но люблю по-матерински, что у него есть замечательная жена и ребенок, что он не настолько решительный, чтобы взять вот так и все сломать, да и ни к чему это, он вдруг ни с того ни с сего рассказал мне, что жизнь в доме стала просто невыносима, бабушка (вы же ее помните, совсем потеряла разум), несмотря на тонны лекарств, кричала по ночам, Галя, жена его, вся извелась, от мигрени и бессонницы у нее началась тошнота, галлюцинации, девочка тоже больная, плакала постоянно, не спала вообще, короче, он почувствовал, что сходит с ума, что он теряет жену, та в истерике, сделай, кричит, хоть что-нибудь; ну и Боречка сделал – подсыпал бабушке в стакан двойную порцию снотворного.

– Это неправда, – с трудом выдавил я.

– Может, и неправда. Так вы у него сами и спросите.

– Зачем же он вам... вам все это рассказал?

– А мне откуда знать? Наверное, надо было кому-то... – Алиса Викентьевна грациозно улеглась на диване. – Трудно такое носить. Он же чистый...

Я выбежал наружу. Небо опять затягивалось тучами.

* * *

Ты, может быть, со мной не согласишься, но я уверен, что здесь нужно объявить антракт. Ведь это тоже своеобразный художественный прием. Занавес закроется, зрители, гремя креслами, встанут, направятся в буфет и там, запивая горячим кофе или фруктовой водой живописные пирожные, горячие круассаны, смогут спокойно, без нашего с тобой вмешательства, поразмышлять о том, что минутой назад разыгрывалось перед их глазами. И очень возможно, что, ублажив желудки, они откажутся от непримиримо категорических оценок и проникнутся терпимостью, которая столь необходима всем

нам, независимо от того, по какую сторону рампы протекает наша жизнь.

А когда в зале снова погаснет свет и занавес распадется, зрители увидят меня стоящим у двери Боречкиной квартиры.

* * *

Я нажал кнопку звонка, совершенно не представляя, о чем собираюсь говорить, и обрадовался, когда мне открыла Оделия.

– Ой, привет! – на ее милом, слегка осунувшемся лице были заметны следы еще невысохших слез. – Ой, как я рада тебя видеть!

– Берл дома? – это было не слишком любезно, но Оделия не обратила на это никакого внимания.

– Дома, дома, заходи! Только у нас гости.

В прихожей я задержался, чтобы перевести дух/ Оделия что-то лепетала, расстегивая на мне куртку. Я много раз бывал в этом доме: вот здесь, справа, – дверь в крохотную комнатку бабушки Рохи, напротив – просторный салон, где Боречка с Галкой и Хавой, дальше по коридору комната Сони и Оделии, а там – кухня. Мне на секунду представилось, как Боречка осторожно открывает свою дверь, осматривается и проскальзывает в комнату бабушки...

Я встряхнул головой, отгоняя видение, и вошел в Боречкины апартаменты. Оделия семенила вслед:

– Смотрите, кто к нам пришел!

Боречка встал мне навстречу, протянул холодную потную руку, я пожал ее с опаской, будто это была голова змеи. Галка состроила дежурную улыбку, Хава испуганно смотрела круглыми глазами сквозь прутья кровати. Рядом высилась гора игрушек, над которой возвышался огромный плюшевый верблюд. На диване, неестественно выпрямив спину, сидел смуглый пожилой чисто выбритый мужчина в строгом темном костюме и черных лакированных туфлях. Рядом с ним – немолодая женщина в длинном, до пола, черном платье и платке, открывающем лишь желтоватое лицо с неподвижными, глубоко посаженными глазами. Возле невысокого столика, уставленного неприхотливым угощением – конфетами, вафлями, печеньем – суежилась Соня, одетая в старомодное цветастое платье:

– Привет, Йося, что будешь пить? Кофе, чай? Есть кола.

– Спасибо, я воды, если можно...

– Конечно, можно, – Оделия, как мне показалось, с радостью выскочила из комнаты.

– Вот, познакомься, – Боречка был явно не в своей тарелке. – Это Гафур, а это его жена, Карима. Они пришли навестить Хавочку.

– Очень приятно, – я механически протянул мужчине руку, рукопожатие было сухое и крепкое, женщина едва заметно кивнула.

– Это они Хавочку спасли, – пропищала из своего угла Галка, – а сегодня пришли ее навестить, вот принесли игрушки...

– Она нам теперь как дочь, – медленно проговорил Гафур, не меняя позы.

– Она им теперь просто как дочь, наша Хавочка, – голос Боречки дрогнул, – просто как дочь. Вот игрушки принесли...

Соня, отвернувшись к окну, всхлипывала, в дверях застыла Оделия, стакан с водой в ее руке дрожал.

* * *

В воздухе еще носился запах пыли, но уже накрапывал дождь, я вдыхал его изо всех сил, мне хотелось наполнить дождем все свои внутренности, а ноги сами несли меня.

Я очнулся у ее двери, стучал, стучал, стучал, пока дверь не открылась.

Лена стояла на пороге.

Шагнул к ней, обнял и окунулся лицом в золото ее волос.

Она не двигалась, не сопротивлялась, не спрашивала ничего, я вдруг почувствовал на плечах тепло ее рук, она нежно гладила мою голову, не произнося ни слова.

– Ты выйдешь за меня? – спросил я у плавной линии ее шеи.

– Ты выйдешь за меня? – спросил я у хрупкого плеча.

– Ты выйдешь за меня? – спросил я у синих глаз.

– Конечно, – ответила Лена, – конечно, любимый мой.

* * *

Я открыл глаза, сон медленно растворялся в зыбком утреннем свете, впервые за последнее время я почувствовал себя обновленным. Вставать не хотелось, и только через несколько минут до меня дошло, что кто-то уже давно и настойчиво барабанит в дверь.

За порогом стояла Раиса, Казина супруга. На ней было короткое обтягивающее ярко-фиолетовое платье, из которого тут и там выпирали пышные формы, голову украшала широкополая шляпа цвета киви, в руках голубой зонт с надписью «АНАВА». Думаю, госпожа Блаватская не пользовалась косметикой в таких внушительных размерах.

Не говоря ни слова, она решительно вошла, сложила зонт, предварительно стряхнув его на пол, и уселась у стола, на котором по-прежнему стояли Мойшиковы ботинки – за делами я так и не удосужился их убрать. Я примостился напротив на краешке стула, забыв, что на мне лишь несуразные трусы и майка.

Несколько томительных мгновений Раиса осматривала меня оценивающим взглядом и, кажется, была несколько разочарована.

– Мой муж, Казимир, – начала она напористо, видимо, решив, что делать нечего, придется иметь дело с тем, что есть, – мой муж, Казимир, вот уж неделю не появляется дома.

– Казя, что ли? – я еще не совсем проснулся.

– Для кого Казя, а для кого Казимир Брониславович.

– Нет, то есть да, Казимир Брониславович. Как же так?

– А вот так! Ушел утром, как обычно, и не вернулся, – Раиса перешла на фальцет, – утром ушел, а вечером не вернулся.

– Совсем не вернулся? – я уже не только проснулся, а даже попытался сообразить: при чем же здесь я. – Совершенно?

– Да, представь себе, совершенно! – она поднялась до очень, по-моему, высокой ноты, я даже стал опасаться, что дойдет до рукоприкладства. – Исчез, как не было!

– Так надо бы в полицию.

– Ой, была я в этой сраной полиции. Они у себя на жопе дырки найти не сумеют. Ну, пошла я к ним, помогите, говорю, человек

пропал! А они: а у человека вашего не было, часом, психических отклонений? Какие, говорю, отклонения, примерный семьянин, передовик производства, отзывы имеются положительные. А не было у него, спрашивают, каких-либо порочных увлечений? Какие, на фиг увлечения? Он у меня строго: дом – работа, работа – дом. У него на меня-то силенок не хватало. Какие у него могут быть увлечения? Мы вас, толкуют, мадам, не про интимный секс, а про то, что, может быть, ваш супруг распрекрасный употреблял, и не просто, а без знания меры? Употреблял, говорю, а как же, а кто теперь не употребляет, только арабы мусульманские, да и те только и ждут, чтоб ихний Аллах отвернулся. А мой-то, врать не буду, пусть даже, к примеру, и принимал, да хоть на четырех, а завсегда домой возвращался. Будем, талдыкают, искать, а вы пока, дамочка, домой идите, сообщим вам, когда чего будет.

– И что? – я чувствовал, что замерзаю.

– Что, что! Ищут! – голос Раисы сорвался, она зашмыгала носом и перешла на хриплый баритон. – Какое им дело, что женщина в расцвете лет осталась без кормильца.

– Может, у друзей поспрашивать? У знакомых? – Я уже понял, что до рукоприкладства не дойдет, а потому встал и оделся в домашний костюм.

– Ой, спра-а-ашивала! Всех его банных алкашей обошла, Мойшик-то, его закадычный, три дня до того тоже пропал, а с этих чего возьмешь? Мозги поотпивали и все про какой-то флюид толкуют. Мол, Казя его искать подался. Какой еще флюид? У меня дом – полная чаша – мебель, телевизор. Пропойцы!

– Чем же я могу вам помочь?

– А ты походи, поспрашивай у своих жи... у своих евреев, может, у них соображение какое имеется, может, слышали чего. Вы же умные... все-е знаете, все-ех учите-е-е...

Раиса зарыдала в голос, потеки черной краски струились по ее обвисшим щекам, капали на грудь. Я было поднялся принести ей воды, но потом передумал, лишь подсунул ей несколько бумажных салфеток.

– Хорошо, хорошо, успокойтесь, я обязательно поспрашиваю и, если что, сразу же вам...

– Да, чуть не забыла. Намедни решила весь дом перерыть, думала, следы какие найду, может, оставил чего, – Раиса перестала плакать, шумно утерла нос рукавом, – и в кладовке, где вещи его, нашла вот это. В тапочке было засунуто.

Дрожащей рукой она протянула мне скомканный клоч бумаги. Я развернул его. Крупными корявыми буквами, немного наискосок, было написано:

«Незабвенная моя, вишенка несравненная! Богу молюсь за сладостные годы с тобой. Однако искать меня без надобности, потому как бесполезно и тем более безрезультатно. И на этом целую тебя крепко. Об одном прошу – сходи к еврейчику Йоське и напомни ему, засранцу, про письмо Мойшика, затем, что я слово дал. Целую тебя, моя сакраментальная. Остаюсь твой навеки, Казимир Лукашевич».

– Чего это он? О чем это? – Раиса преданно смотрела мне в глаза. – Ты чего-нибудь понимаешь?

– Пока не понимаю, но обещаю, разберусь, – я потихоньку подталкивал Раису к выходу, – обещаю, как только разберусь, сразу же вам...

– Разберись, миленький, – Раиса, уже за порогом, безуспешно пыталась раскрыть зонт, – разберись, родимый, и сразу же...

– Обязательно! А как же? Обещаю! – я захлопнул за ней дверь.

* * *

Как же я мог забыть? Словно сказанной тогда последней фразой Мойшик стер из моей памяти все то, что произошло в тот вечер, когда он неожиданно постучал в мою дверь. Он стоял на пороге, весь, от кепки до этих самых ботинок, стоящих сейчас на моем столе, в струящемся серебре дождя, и на лице его вместо обычного отстраненного выражения застыла неуклюжая улыбка. Он искал глазами коврик, видимо, намереваясь вытереть ноги, что само по себе было поразительно, не найдя его, вошел в комнату, сел и положил свою кепку на стол, как раз на то место, где теперь стояли его башмаки. Помню, я даже смутился – когда религиозный еврей снимает головной убор, кажется, что он обнажается. Несколько минут утонуло в густой тишине, только за окном еще не растративший себя февраль забавлялся дождем и ветром.

Это была чужая, незнакомая мне тишина. Казалось, Мойшик принес ее с собой, вместе с мокрой теменью. Только ненастье, как дворовый пес, скулило снаружи, а тишина беспардонно ввалилась в дом и затопила его сверху донизу. Заполнила все закоулки, коснулась лица, ладоней, навалилась на плечи.

– Я слышал про вашу Двору, – я не нашел ничего другого, чтобы разорвать тягостное безмолвие, – примите мои соболезнования.

– Все, что ни делают Небеса – к добру, – произнес Мойшик, выдержав паузу и не отрывая взгляда от какой-то точки на полу, – все, что ни делают...

Пришлая тишина облепила меня со всех сторон, ничего не оставалось, как безропотно ей уступить.

– Послушай, что я скажу тебе, что, – Мойшик, наконец, поднял голову, и тишина, словно зверь под взглядом укротителя, робко вжалась в углы, – я хочу, чтобы ты мне помог.

– Чем я могу вам помочь? – я облегченно перевел дыхание и поэтому даже не заметил не слишком уважительную форму обращения. – Пожалуйста, если в моих силах...

– В твоих, в твоих, – он пристально смотрел мне в глаза, и это было тоже не слишком комфортно, – а в чьих же еще?

– Слушаю вас.

– Я хочу, чтобы ты написал для меня письмо.

– Я? Для вас?

– Ты. Для меня. А для кого же еще?

– Да как же я могу?

– А для Одельки, хе-хе, можешь? – это был удар ниже пояса. – Ну и для меня...

– У меня почерк неразборчивый.

– Ничего, там разберутся.

– Где там? Кому писать?

– Придет время, узнаешь... Ка-акой нетерпеливый!

– А что писать?

– Я тебе продиктую... Вот бумага, – он достал из-за пазухи увесистую стопку, – давай пиши.

Только потом, когда он ушел, я подумал, что мне и в голову не пришло спросить, почему Мойшик не захотел сам написать это письмо, но тогда, замороженный его пронзительным взглядом, я покорно взял листы, ручку и замер в ожидании.

И он заговорил.

Он говорил, совершенно при этом не задумываясь, успеваю ли я за ним, но моя рука, словно перестав быть моей, подгоняемая невидимой силой, стремительно неслась по бумаге. Слова, минуя сознание, протекали через мои уши прямо в пальцы, обращались в буквы и фразы. Строчки ложились одна за другой, страница сменяла страницу. Порой я ловил себя на том, что даже не слежу за своей рукой, а неотрывно смотрю на него, на Мойшика.

А он говорил.

Он начал неторопливо и монотонно, словно прислушиваясь к голосу внутри себя, старательно проговаривая слова и упершись взглядом в пол. Но голос его постепенно возвышался, он встал и заходил по комнате, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, из угла в угол, от стены к стене, и вот уже пыль повисла в воздухе, и топотанье не двух, а тысячи ног обрушилось на плиты пола, и звон металла, запах человеческого пота; а он все говорил, и всполохи огня вздымались над ним, и он то вырастал, упираясь головой в потолок, то, становясь маленьким, как пятилетний ребенок, подбегал ко мне, доверчиво заглядывая в глаза; пальцы его вытягивались, сплетаясь в бешеном танце, а ноги несли и несли его кругами; лицо то искажала гримаса невыразимой муки, то вдруг он заливался смехом, всхлипывал, хихикал и все говорил и говорил; а руки разлетались в безудержном объятии и вдруг судорожно прижимались к телу, прикрывая промежность, и пахло обгоревшей плотью, и удушливый дым резал глаза, а он уже не говорил, он кричал, и тошнотворный трупный смрад сочился из стен; и жалобная молитва вздымалась к небу, и грязные проклятья искрами из его изломанного рта, и заунывный мотив, и игривая скрипочка, и грохот сапог, и воздетые вверх кулаки, и торопливый шепот, и тяжелый вздох; и вот уже руки бессильно упали, и он говорил все медленней, последние слова осторожно стекали с его губ. Тяжелой шаркающей походкой он вернулся, сел на прежнее место и уперся взглядом в пол.

– Все, – сказал он своим обычным язвительным голосом, – поставь точку, умник.

– И что теперь? – я вышел из оцепенения, ныла измученная рука.

– Теперь сложи все это, – он достал откуда-то из-под одежды измятый конверт, – а потом пойдешь и вложишь это в Стену.

– Такой огромный пакет? Он же ни в одну щель не влезет.

– Не волнуйся, влезет! – Мойшик старательно заклеил конверт. – Только не сейчас, потом.

– Когда потом?

– Сам поймешь, не маленький.

Он встал, нахлобучил кепку и направился к выходу. У двери обернулся, окинул взглядом комнату, будто зазывая с собой свою дрессированную тишину:

– А пока забудь об этом.

И я забыл. За окном буйствовал неугомонный февраль. Мойшика я больше не видел, а потом началась вся эта катавасия...

* * *

Было пасмурно, хотя холода уже отступили, и в воздухе витало предвкушение весны. Порой налетали волны дождя, словно небеса выгребали из своих закровов последние крохи заготовленной на зиму влаги.

Я вошел в Старый город через Яффские ворота.

Каждый раз, попадая сюда, ловлю себя на том, что воспринимаю эти древние стены, эти узкие, мощеные камнем улочки, эти синагоги, церкви, мечети как детали одной неизменной декорации, в которой вот уже три тысячи лет разыгрывается замысловатый спектакль, создать который не под силу ни одному, даже самому гениальному смертному. Меняются актеры – одни, отыграв свои роли, уходят безвозвратно, на их место приходят другие, но и их партии тоже отмерены неумолимым сюжетом, а действие длится, длится, длится, и нет ему конца.

И как странно, что внутри этих, кажущихся бутафорскими, стен, за этими игрушечными окнами живут люди, обычные люди, плачут младенцы, и пахнет горячей домашней едой, и постиранное белье сушится на веревках.

И только когда стоишь на площадке широкой лестницы, спускающейся к площади перед Котелем, и смотришь на мерцающее вдали древнее кладбище, где кости твоих братьев ожидают прихода Машиаха, когда видишь Храмовую гору, обезображенную златоглавым фурункулом – понимаешь, что это не спектакль, а жизнь, живая жизнь, и что все это не картонное, а самое что ни на есть настоящее.

На площади было немногочудно, утренняя молитва уже завершилась, тут и там небольшие группки туристов, три-четыре полицейские машины, военный джип. За оградой, у Стены, несколько одиноких фигур.

Я приблизился к Стене в волнении, которое всегда охватывает меня при виде этих массивных камней, отполированных миллионами прикосновений, омытых потоками слез, выслушавших миллионы человеческих историй. Вытащил из кармана Мойшиков пакет – он, как я и предполагал, был слишком велик, чтобы поместиться в щели между блоками. И тогда мне пришло в голову, что Мойшик наверняка простит, если я достану из конверта само послание и постараюсь пристроить только его. Может быть, найти для него место будет легче.

Вскрыл конверт и оторопел – в нем была пачка пустых страниц. Я в недоумении вынул их и увидел, что в конверте остался только крохотный, сложенный пополам листик.

Развернул – на нем – моим почерком – было написано:

«Оставь меня в покое».

Я аккуратно скрутил листик в тугую трубочку и затолкал в щель между камнями.

* * *

Вечером накануне Пурима в мою квартиру ввалился Макс с огромным мешком в руках:

– Мишлоах манот³ для вашего величества, – провозгласил он с порога и, смахнув на пол Мойшиковы башмаки, выставил на стол две бутылки «Абсолюта», несколько банок консервов и прозрачную пластиковую коробку с «ушами Амана».

– Зачем так много? – спросил я, направляясь в кухню за хлебом и посудой.

– Ты что, мудака? – Макс всегда удавалось найти самую доходчивую форму объяснения, поэт все-таки. – Сегодня же надо напиться так, чтобы тебе было однохуйственно: что Амана мутузить, что Мордехая превозносить.

Я, собственно, и не возражал.

Прежде чем выпить, Макс повелительным жестом остановил мою рюмку, уже готовую опрокинуться в рот. Сосредоточенно глядя на слегка дрожащую поверхность водки, он торжественно произнес: «Барух Ата, Адонай Элогейну, Мелех а-олам, ше-а-коль ихия би-дваро».

– Где ты такому научился? – я был несколько удивлен, однако закусывал с удовольствием.

– Да вот, – Макс самозабвенно жевал маринованный огурец, – копаю сейчас материалы по «Голему», много, знаешь, интересно. Кой-чего и для себя понял.

– Так ты что, брат, в религию стопы свои направил?

– В религию – не в религию, – он посмотрел на меня серьезно, – а от благословения хлебало небось не заржавеет. А польза, может, и есть.

– Ну, и как идет работа?

– Как тебе сказать, – Макс отложил вилку, – слишком много заманчивых линий сюжета. Сам Иегуда бен Бецалель – личность грандиозная и загадочная, известный талмудист, знаток Каббалы, математик, дружил с Тихо Браге... и при этом поддавался давлению испуганной толпы... Его отношения с королем Рудольфом... А еще, там ведь неподалеку был таинственный дом того самого доктора Фауста, астролога и чернокнижника, который послужил Гете прототипом... Они разошлись лет на пятьдесят... И древнее кладбище, заполненное до предела, так что приходилось хоронить в несколько слоев... и детские могилы... И Староновая синагога... В общем, материала море, надо думать... надо думать...

Я слушал, попутно любясь его метаморфозами. Наполнил рюмки.

– А теперь выпьем, не чокаясь, – медленно проговорил Макс, – сегодня как раз тридцать дней, как Арика... как Арика не стало.

– Уже тридцать дней?

– Представь себе! Время летит – не уронишься.

Кто-то тихонько постучал в дверь. Это была Оделия. Та же несуразная прическа, те же джинсы времен вавилонского пленения,

³ Мишлоах манот (*иврит*) – посылка яств. Согласно традиции, во время праздника Пурим знакомым посылают сладости, вино или другие напитки.

те же лучистые глаза, то же облако призраков вокруг. В руках она держала бутылку «Финляндии» и, что характерно, прозрачную пластиковую коробку с «ушами».

– Ёпэрэсэт! – не сдержал восхищения Макс, когда она поставила все это на стол. – Так мы до Песаха не дотянем.

– Просто сегодня тридцать дней, как бабушка умерла, – затараторила Оделия, – дома напряженка – дышать невозможно... Вот я и решила к тебе... Ты же не против?

– Ну что ты! – я поднялся, чтобы принести ей рюмку. – Конечно! То есть, конечно, не против.

– А чего ему быть против? – Макс уже наливал Оделии, ласково на нее глядя. – Нужно, барышня, быть последним раздолбаем, чтобы быть против. Ну что, помянем хороших людей!

Мы выпили. Потом еще, и еще...

Было удивительно тепло и вкусно рядом с этими, такими близкими мне людьми. Говорили в основном мы с Максом. Вдохновленные восхищенным вниманием Оделии, мы, сменяя друг друга, болтали каждый о своем. Макс рассказывал об истории Пражского гетто, легенды о глиняном истукане, который обрел человеческую душу, влюбился и вышел из повиновения. Я – о различных породах дерева и технике художественной резьбы. Макс читал стихи, сначала чужие, потом свои, я честно и терпеливо слушал, но потом все-таки втиснулся с рассуждениями о достоинствах натуральной кожи и современном дизайне сумок. Мы выпивали, и Макс опять декламировал, и мы опять выпивали. Оделия, подперев щеку кулачком, переводила ословевшие глаза то на меня, то на Макса и в паузах, при смене оратора, шептала: «Ой, я такая пьяная!» Когда Макс, окончательно завладев инициативой, принялся объяснять нам особенности шестистопного дактиля с хореическими окончаниями, Оделия уронила голову на стол и уснула. Призраки вокруг нее тоже как-то обмякли и замерли.

– Ну ты даешь! – пробормотал Макс. – Совсем затрахал девчонку своими сумками.

– Ну, не специально же, – я налил нам еще по одной, – не рассчитал, брат, так получилось.

– Аккуратнее надо, – он опрокинул рюмку.

– Эт точно! – я сделал то же самое.

И вдруг произошло нечто невероятное. Тени вокруг Оделии беспокойно зашевелились, она резко подняла голову, словно в спине ее распрямилась какая-то пружина, и, не открывая глаз, заговорила:

– Листы с нотами завалились за пианино. Пойди ко мне и найди их.

– Офигеть... – прошептал Макс. – Это же голос Арика.

– Пойди ко мне и разыщи ноты. Они за пианино валяются. – Оделия была неподвижна, как статуя, шевелились только губы.

– Хорошо, хорошо, – природная невозмутимость, видимо, изменила моему другу. – А где ты?

– Я еще здесь, но скоро уйду. Разыщи ноты.

– Разыщи, конечно, – голос Макса дрожал.

– Вере моей скажи, что со мной все нормально. Она меня не слышит. А я скоро уйду.

– А кто тот человек, что заказал тебе «Голема»?

Оделия некоторое время молчала.

– Его здесь нет.

– А где же он?

– Не знаю.

Последовала длительная пауза. Губы Оделии опять зашевелились:

– Это был Моисей Брук. Служитель кладбища.

– Мойшик? А зачем ему?

– Не знаю – пауза – скажи Вере, что я в порядке... И детям... Это невыносимо... Я говорю им, говорю, а они меня не слышат... А ноты мои обязательно найди, а то пропадут...

Оделия вздрогнула, пружина, подпиравшая ее спину, ослабла, голова медленно опустилась на стол. Она вздохнула и по-детски зачмокала во сне губами.

– Нихуя себе! – Макс оторопело смотрел на меня, а я на него. – Наливай!

За окном уже давно стемнело. Мы осторожно подняли девочку, отнесли на диван, я укрыл ее пледом, она свернулась калачиком и сладко засопела.

– Ну, давай еще по маленькой, – натужно проговорил Макс, – и на воздух.

– По маленькой, и на воздух, – эхом отозвался я.

* * *

Мы вышли на улицу, город ходил ходуном. Гремела музыка, грохотали петарды, вздымались в темное небо разноцветные фейерверки, звезды бенгальских огней витали среди разодетой в карнавальные костюмы толпы. Кого здесь только не было! Хасиды в меховых шапках и белых чулках, звездочеты в бархатных хламидах и остроконечных колпаках, цари в усыпанных драгоценными камнями тиарах и золоченых кафтанах, полуобнаженные танцовщицы в прозрачных шароварах и звенящих ожерельях золотых монет, клоуны в огромных цветных париках, «супермены» всех мастей, бряцающие костями скелеты. Меж взрослыми носились крохотные принцессы в сверкающих бриллиантами коронах, маленькие персы с приклеенными бородами размахивали кривыми саблями.

Из окон танцующих домов на головы лилась вода, сыпалось конфетти, улица уходила из-под ног, полоумные огни иллюминаций расплывались ручьями.

В водовороте, поглотившем нас, мне было непривычно легко и радостно, в голове не было ни одной, даже самой крохотной мысли, я держался за куртку Макса, чтобы не потеряться, и плыл, плыл сквозь ликующее море, не чувствуя собственного тела.

Не помню, как мы оказались на крохотном спокойном острове, зажатом меж двух вздрагивающих домов. На возбужденном лице Макса алело несколько отпечатков губной помады, глаза его сверкали.

– Это невероятно, – пробормотал я, с трудом переводя дух.

– С начала месяца адара наше счастье увеличивается, – прокричал мне в самое ухо Макс, – мудрецы утверждают, что Пурим

будет соблюдаться даже в дни Машиаха, когда отпадут прочие еврейские праздники.

— Зачем отпадут? — прокричал я возмущенно. — Как же без праздников-то?

— Пойми, мудак, — Макс оторвался от созерцания карнавального шествия и посмотрел на меня с состраданием, — когда придет Машиах, у нас будет один сплошной праздник!

— А когда это будет? — мне polegало.

— Нескоро, мальчики, нескоро...

Мы разом обернулись, перед нами стояла Алиса Викентьевна. На ней была короткая юбочка из мягкой фланели и плетеные сандалии с ремешками, высоко охватывающими голени, обнаженную грудь венчали две плоские серебристые звездочки, скрывающие соски, на шее — ожерелье из крохотных черепов. Один из них подмигнул мне.

— Нескоро, мальчики, нескоро ваш Машиах появится, — повторила она.

— Кого я вижу! — завопил Макс, распахивая руки. — Королева ночных соблазнов! Царица бесприютных гениталий! Какой интерьер!

— Здравсте, — пробормотал я, опустив глаза и протягивая руку, которую, впрочем, Алиса не заметила.

— Гуляем? — проворковала она грудным голосом с легкой волнующей хрипотцой.

— А как же, принцесса моя сладкотелая! — Макс беззастенчиво оглядывал ее с ног до головы. — Праздник же!

— Мальчики! Я ведь живу поблизости, у меня там бутылочка «Блэк лэйбл», может, зайдём, раскупорим по поводу праздника. Понемножку...

— Ну, если только понемножку, — я покорно кивнул головой, не поднимая глаз.

— Нет, медовая моя! — Макс крепко схватил меня за плечо. — Не сегодня. Давай в следующий раз.

— Да, да, не сегодня, — я опять несколько раз кивнул головой. — Давайте в следующий раз. В следующий раз — непременно!

— Что ж, как знаете.

Прежде чем она повернулась, чтобы раствориться в карнавальном потоке, череп на ее груди еще раз подмигнул мне.

— Ух, ведьмино отродье! — Макс еще смотрел ей вслед. — Вся в свою пра... пра... хер его знает, в какого колена прабабку.

— А что, ты с этой пра... пра... знаком? — во мне зашевелилось невнятное беспокойство.

— Ты что? Она же еще от Адама сбежала. Снизу, видите ли, лежать не хотела. Вот и пошли от нее ведьмины поколения.

— И что?

— Что, что! Темный ты, брат, как внутренность консервной банки у негра в жопе, — Макс дружески обнял меня за плечи и потащил через пестрое людское море. — Они, эти сучары, мужиков заманивают, сперму у них похищают, а из нее плодят чертей. Так то!

— Сперму похищают, — сердце мое упало, — и чертей...

— Что? Что я слышу! — Макс остановился. — И ты тоже?

Я бессильно опустил глаза.

— Вот это да! — он торжествующе оглядывался по сторонам. — Так мы с тобой сейчас уже не просто друзья!

– А кто? – я смотрел на него умоляюще, мне было не по себе.

– Мы с тобой теперь молочные братья!

– Как это?

– Ну ты муда-ак! Молочные братья – это ж которые одну грудь сосали.

– Что?.. И ты?..

– А как же! Сладкое было мероприятие!

– А черти?

– Чертей не нам, брат, считать. Господь знает, что делает. Он разберется. А что ты, собственно, имеешь против чертей? Сказано: если Всевышний, в великой милости Своей, создал разных странных тварей, значит, так было нужно. А замыслы Его не нашего ума дело.

– Знаешь, я домой пойду, – настроение мое испортилось окончательно. – Пойду я домой.

Макс растворился среди лиц, огней и звуков, а я поплелся к себе. Дома раскачивались в такт лихой мелодии, весь в ухабах, тротуар хватал за ноги и все норовил сорваться и умчаться в гущу карнавального водоворота.

* * *

В комнате было тихо, приглушенные звуки далекого веселья проникали в щели закрытых окон, повисали под потолком и грустно оседали в углах. Одеция сопела на диване.

Я включил настольную лампу, приблизился к зеркалу и в мягком полумраке принялся рассматривать свое лицо. В голове не рождалось ничего путного, кроме одной, сверлящей мысли: вот сейчас, по всему миру, а может по всей Вселенной, носятся тысячи, а может, миллионы чертей с таким же лицом и гадят людям, гадят, гадят... И все их беды из-за меня, из-за моей неугомонной похоти... Конечно, Господь знает, что делает... Но я-то, я... со всеми моими принципами! Со всеми моими эстетическими тонкостями! Почти как у Гете, только наоборот: желающий делать добро, но творящий зло... Красиво... А Лена?.. Как же она?.. что подумает, если узнает... Если узнает. Ну, Макс-то ей ни за что... У него свои чертей навалом... Но я-то, я...

Я подошел к столу, на нем застыли остатки закуски, в одной из бутылок еще оставалось граммов двести водки – неплохо мы оторвались!

Я налил полстакана, выпил и плюхнулся на стул. Свет лампы поплыл по комнате, развернулся и врезался острием в мой левый глаз. Я попытался его достать, но он, зараза, засел там основательно. Сообразил, что выколотить его оттуда можно только мощной струей воды.

Подлая дверь ванной явно надо мной издевалась, скакала из стороны в сторону, с трудом ее поймал и проник. С краном договориться не удалось – бесполезно, но и свет из глаза исчез, скорей всего, испугался воды, мерзавец, и умотал назад, в лампу.

Когда я вернулся к столу, возле него сидели Мойшик и Казя.

– Чего вы так поздно? – я с искренним огорчением показал на пустую бутылку. – Тут ничего почти и не осталось.

– Ничего, очкарик, не тушуйся, – весело проговорил Казя, – мы в порядке.

– Слушай, я ни-ког-да не носил очков. Зачем обзываешься?

– Какая разница? Я ведь со всем нашим уважением!

* * *

Ты спросишь, почему я не удивился, увидев в своем доме столь странных гостей. Не знаю. Может быть, мне казалось, что в этот волшебный вечер самые невероятные вещи – вполне обычное явление. А может быть, «Абсолют» на пару с «Финляндией» сотворили свое благое дело. Во всяком случае, тебе незачем думать, что на почве обильного возлияния я напрочь лишился ощущения реальности. Потому как извилины мои в какой-то момент все-таки оклемались, и я таки да удивился:

– Казя, елки-палки, а куда ты пропал? Раиса с ног сбилась, тебя искавши. Надо срочно ей позвонить!

– Не звони, не трать понапрасну шуршиков, – Казя вальяжно развалился на стуле, – ей, голубке моей эзотерической, все равно увидеть меня уж не доведется.

– Ты что, умер? – я чувствовал, что трезвею. – Ты что, извини меня за прямоту, покинул земную обитель?

– Если бы... – произнес Казя мечтательно. – Смерть, братан, заслужить надо.

– Не понимаю, – я был уже почти в полном сознании и даже изумился.

– Понять это непросто, – медленно проговорил Мойшик, сидевший до сих пор без движения. – Мы с Казимиром, к несчастью, лишены этого благословенного дара – умереть.

– Как это? – более глупого вопроса мне в голову не пришло. Хотя был ли он таким уж глупым?

– Долго объяснять, – Казя взял из коробки «ухо Амана» и принялся задумчиво жевать. – Да и без надобности – один хер не поймешь.

– А вы? – обратился я к Мойшику.

– И я.

– Что ж в этом плохого? – мои мозги хоть и очнулись, но выдавливали из себя на редкость тупые вопросы. – Все люди только и мечтают, что о бессмертии.

– А что хорошего? – Казе, видимо, «уши» пришлись по вкусу, он съедал уже, по-моему, третье, если не четвертое. Впрочем, я не считал. – Только полюбишь человека или, к примеру, детишек – а они умирают. А ты живешь и живешь, как баобаб безмозглый.

– Ты не представляешь, как это невыносимо, – слова Мойшика падали тяжело, как капли расплавленного металла, – жить и терять близких, зная, что никогда, нигде, даже в загробном мире с ними не встретишься.

Они замолчали, Казя перестал жевать. Ледяная тишина потрескивала при каждом вздохе.

– И что же теперь делать? – я был не в силах выносить эту тишину.

– Что делать, что делать, – Казя налил себе остатки водки и выпил, – делать, голуба моя, особо нечего. Вот мы с товарищем по

несчастью в похоронщики подались, чтобы ее, смертушку распрекрасную, постигнуть.

– Ну и как? Удалось?

– Где там! – Казя опять принялся за «уши». – Неподъемное это дело. Я вот все пытался жизненный флюид зафиксировать. Думал, ущу его, подлеца, ухвачу его сущность, так и смогу тогда из себя извлечь и с жизнью постылой распрощаться. Я уж во все глаза смотрел, как вешают, головы рубят, на кострах жгут, а все никак. Склоняюсь к мысли, что сантимент мой природный не позволяет.

– А вы, – обратился я к Мойшику, – почему вам не удалось?

– А что поделаешь, если смерть только в Его руках, – Мойшик опустил глаза, – она, как тело человека, рождается вместе с ним. Она как тело, только противоположного знака, и всю жизнь бежит впереди него, а человек ее догоняет. Человек стареет, а бежит быстрее. И смерть его стареет, только бежит медленней. Вот человек ее и догоняет. А догонит... Наша-то с Казимиром смерть, видно, не родилась еще.

– А письмо я ваше отнес.

– Знаю, спасибо.

– А почему вы заказали Арику именно «Голема»?

– Да так. Прикипел душой к рабби Лёву. Великий человек был. Я при нем в учениках ходил, ну и хоронил, конечно. Все ему рассказал, просил о помощи.

– Да, с головой был мужик. Гигант! Хоть и еврей, – Казя причмокнул языком. – Могилу Рудольфа, ну, короля этого, так заговорил – ни одна собака подойти не решалась. Я там тоже на погосте горбатился.

– И что же рабби? – болтовня Кази меня раздражала. – Неужели не захотел помочь?

– Через три дня, – Мойшик тяжело вздохнул, – через три дня он сказал мне, что помочь никак не может. Почему же, спрашиваю, кводо⁴? Вы ведь вон глиняного истукана оживили. Жизнь, говорит, заклинаниями да молитвами создать позволено, а вот смерть сотворить – этого человеку не дано. Убить, говорит, проще простого, а вот сотворить смерть – только Ему доступно. Когда хоронил его, впервые в жизни заплакал.

– А почему мюзикл?

– Да так, – Мойшик хихикнул, – слабость у меня к опереткам.

– Так где же вы теперь?

– Мы, паря, нынче в другом времени обретаемся. – Казя опустил всю коробку и удовлетворенно отряхнул руки. – Туда никому ходу нет. А к тебе заглянули ненадолго. По случаю праздника. Вот такая, брат, Браманда Пурана.

В дверь позвонили, я бросился открывать, на пороге стояла Лена. Я замер от неожиданности, потом схватил ее за руку, обнял:

– Милая, как это замечательно, что ты пришла, идем, идем скорей, я тебя познакомлю...

Мы вошли в комнату. Там, как ты сам понимаешь, не было никого. Только Оделия спала на диване, с головой укрывшись пледом. За окном уже набирал силу бодрый весенний рассвет.

⁴ кводо (*иврит*) – уважаемый.

* * *

Снова приближался Пурим.

Моя захламленная квартира Лениными стараниями превратилась в уютное человеческое жилье. Я по-прежнему продолжал ремонтировать старые вещи, только делал это в маленькой кладовой, переоборудованной в мастерскую. Места мне вполне хватало, мой мир, хоть и сжавшийся до размеров стола и стула, вполне меня устраивал. На остальном пространстве царствовала женщина.

Моя женщина.

В полдень пришел Макс, давно мы с ним не виделись. Вытер аккуратно ноги, прикоснулся к мезузе, протянул мне книгу:

– Вот, только получил из типографии. Тепленькая, еще краской, бл... – он с опаской посмотрел на Лену, – краской еще пахнет.

Книжка кондовая, в суперобложке, на ней: «Макс Гершензон. ГОЛЕМ».

На титульном листе: *«Памяти Арье Кацовера, павшего от рук арабских террористов».*

– Классно! Поздравляю!

– Да, чуть не забыл, – Макс выхватил у меня книгу, – дай-ка ручку, в смысле стило.

На свободном пространстве первой страницы он размашистым корявым почерком написал: «Любимой Леночке, любимому Йоське, с любовью. М. Гершензон».

– Вот теперь, б... хм-хм, полный порядок, ну, я дальше поковылял, – он поцеловал Лену, поцеловал меня, поцеловал мезузу и, сияя, как начищенный самовар, убежал.

Вечером появилась Оделия. Она была аккуратно причесана, кремовые брюки и нежно-кораллового цвета блузка изящно очерчивали ее гибкую фигуру, миндалевидные ногти сверкали малиновым лаком.

– Привет, я выхожу замуж, – прямо с порога защебетала она, – вот принесла вам приглашение... А это тебе, лично. – Она протянула мне средних размеров картонную коробку, перевязанную крест-накрест голубой атласной ленточкой.

– Спасибо, поздравляю, – я отложил коробку в сторону, – а кто же твой счастливый избранник?

– Парень один. Он хороший.

– Понятно, что парень, а кто он, чем занимается?

– Ты его не знаешь... Где познакомились?.. В баре познакомились.... Он ремонтирует разные стиральные машины, холодильники там всякие...

– Ну, здорово, в добрый час!

– Вот... Спасибо... Ну я побегу? Мне еще сегодня надо... – и она испарилась.

Лена тактично не задавала никаких вопросов.

Позже, когда она легла в постель, я заперся в своей крохотной мастерской и с некоторым волнением развязал ленточку.

Коробка была набита конвертами.

Это были письма, которые я когда-то собственной рукой писал таинственному возлюбленному Оделии.

* * *

Когда занавес опустится, мы с тобой, покинув обжитые декорации, обязательно встретимся в том мире, где злодеи и их жертвы, забыв об обидах, гуляют обнявшись по вечно весенним полям, усыпанным цветами. Где нет ни евреев, ни гоев, где цвет кожи неразличим в тонких переливах светящихся полутонов. Где все происходящее на Земле воспринимается утробным пульсом котлов корабля, плывущего среди потоков света. Где Единому нет необходимости жестокими карами утверждать Свое всеприсутствие.

Немного уставшие от разыгранного действия актеры, лишь несколько минут назад так неподдельно переживавшие трагикомический сюжет, будут обмениваться поцелуями, нежными рукопожатиями, а может быть, уже готовиться к новым пьесам, в которых жестокий злодей точными движениями гримера обратится в романтического любовника, а целомудренная, невинная дева – в коварную мегеру.

Увиденная в рамках одной жизни запутанность людских судеб выглядит детским рисунком на фоне головокружительного сплетения кармических линий, и только вера в мудрость Великого Режиссера может позволить каждому из нас добросовестно исполнить написанную для него роль в этом непредставимом для человеческого разума спектакле.

февраль-май 2011, Иерусалим

Лорина Дымова

КУДА ТЕЧЁТ РЕКА.

* * *

Долго-долго длинный-длинный
Поезд едет.
В небе лик луны былинной
Цвета меди.
Лик глядит на мир великий,
Мир ничтожный,
Безрассудный, многоликий
И безбожный.
Смотрит огненный зрачок
В недра ночи:
Этот поезд-червячок,
Что он хочет?
Светится, как светлячок,
Рад прохладе.
Ну куда он, дурачок,
На ночь глядя?

* * *

Ах, не надо мне в сад,
Находилась – довольно.
Канонада цикад –
Иногда это больно.
Ускользающий взгляд,
Разговор худосочный.
Канонада цикад
Бьёт прицельно и точно.

* * *

Упреки. Обвиненья. Вздор.
До хрипоты. Уже без сил.
Не выносить из дома сор,
Поскольку он невыносим.
И вот последний мост сожжён,
Забит последний из гвоздей.
Кто выдумал мужей и жён?
Кто выдумал людей?

ДАВАЙ, МОЙ ДРУГ...

Давай, мой друг,
С ума сойдём!
А всё вокруг –
Гори огнём.
Сойдём с ума
Сегодня днём,
А хочешь – завтра днём.
Мы этот день
Возьмём в наём,
Вольготно разместимся в нём,
Как будто он навеки наш.
Ах нет, совсем не блажь!

Нет разницы,
Что день, что жизнь.
Живи, дыши, спеши, кружись
И за соломинку держись –
Авось и пронесёт.
Душе равно,
Что свет, что тьма,
Что – драгоценность,
Что – сума.
Она не знает и сама,
Что сгубит,
Что спасёт.

* * *

Коли мы появились на свет – нам уже не помочь.
Приключение долгое это – с летальным исходом.
И не стоит пытаться спастись, ускользнуть, превозмочь:
Не прижечь эту рану ни мазью, ни спиртом, ни йодом.

Много снадобий есть, и рецептов, и разных лекарств,
Только здесь бесполезны отвары, целебные травы.
Ты родился, а значит, повенчан на царство из царств,
Только царствие кратко и недолговечна держава.

Коли мы появились на свет – значит, будем идти
Все в одном направлении: из битвы за линию фронта.
Много тропок на свете, но нету другого пути –
Только этот, единственный путь –

к горизонту.

КИНО

Жизнь сдуру иногда,
А иногда и спьяну
Мне крутит фильм в окне,
А иногда во сне:
Какие-то моря,
Какие-то туманы,
Какая-то любовь
И рыцарь на коне.

А иногда поёт,
Не попадая в ноты,
Она романс, да так,
Что со смеху умрёшь:
Мол, для меня одной
Все розы, все красоты –
Ну, словом, весь набор.
Да что с нее возьмёшь!

Но фильмы хороши,
Пленительны сюжеты.
Ей трудно возражать
И спорить с ней смешно.
Да и вошла я в зал,
Признаться, без билета.
Еще минута-две –
И кончится кино.

* * *

Мы были на балу,
И ели там халву,
И туфельки теряли.
Нас принц потом искал,
Отважен и удал
Да с буйными кудрями.

Но гости разошлись,
И пролетела жизнь,
По залу ветер рыщет.
Не возражай, мой свет,
Мол, принц давно уж сед.
Он до сих пор нас ищет.

* * *

А коли с вопросами шумная братия
Пристанет к тебе за столом, под хмельком,
Спроси: «Вы о ком? Не имею понятия».
И стой на своём: «Не встречал. Не знаком».

Тут важно держаться легко и уверенно,
Чтоб этот ответ был всегда под рукой.

Ты знаешь, и я уже в это поверила,
Я тоже не помню. А кто ты такой?

* * *

А если б я тогда не написала,
Как ты любим, прекрасен и высок –
Сейчас бы думали: ты был всегда усталый,
Сутулый, незаметный старичок.
Что ты всегда ходил в неглаженной сорочке
И что никто тебя не пробовал любить.
А так – читают пламенные строчки
И думают: «Кто знает... Может быть...»

* * *

Ты молода, но это не беда,
Оно, мой друг,
Как всё вокруг,
Не навсегда.
И в старости
Закон пригоден тот:
Она не навсегда.
Она пройдёт.

* * *

Морок – обморок – марки – помарки.
Рифма с рифмой –
Как парочки в парке.
Друг за друга цепляются строчки,
Образуя сплошные цепочки.
И бежит непрерывная лента,
Завихряясь в безумии лета,
Утоая в снегах новогодних,
Сквозь года, сквозь вчера и сегодня.

В ЛУННОМ КРУГУ

Нет, я книги читаю, ей-богу, не зря,
Вот недавно закончила том декабря,
Кое-где заложила закладки.
Если станет скучна мне сюжетная нить,
К тем страницам еще я вернусь, может быть,
Где любовь наводила порядки.

А куда смотрю я в глаза январю.
Ну и что ты волеешь? – ему говорю. –
Начинай-ка работу, дружок!
Как пусты и унылы страницы твои,
Ни печалей на них, ни признаний в любви –
Лишь о холоде несколько строчек.

Так давай, напиши про следы на снегу.
Видишь, тени, бредущие в лунном кругу,
Увязают в сугробах по пояс?
Напиши, как волшебю струятся в ночи
С молчаливых небес ледяные лучи...
Напиши гениальную повесть

Или даже роман – чем не шутит зима! –
Напиши, как нечаянно сходят с ума
И как сходят с орбиты планеты,
Все как было, как есть. Не пиши пастораль!
Не успеешь – так что же, продолжит февраль
Этот старый мошенник отпетый...

* * *

Присядь у огонька,
Вином бокал наполни
И радуйся.
Но помни,
Куда течёт река.

Прозрачная вода
Тиха и незаметна,
Ни облачка, ни ветра...
Река течёт...
Куда?

Александр Любинский
НАД ЧЕРЕПИЦЕЙ КРЫШ

ИЗ «ПЕСНИ ПЕСНЕЙ»

1.

О как ты прекрасна,
сестра моя,
золотые локоны твои,
рыжие волосы,
патлы
цвета пустыни.
О как ты прекрасна,
сестра моя,
глаз твоих – сердолик,
твоих губ – кровь.
Ты,
змеей под рукой
скользящая,
ты,
расщелина рыжая,
пересохшее лоно!
О как ты прекрасна,
сестра моя!
Но
сердца утекают
сквозь пальцы,
и вот –
рыжеголовый
топчет, как пламя,
солому рыжей
головы,
мечется
по площадям
белого дня.
О как ты прекрасна,
сестра моя,
когда одна
пересыпаешь песок,
струится сквозь
прозрачные
пальцы...

2.

Переулок кривой,
ветер, луна.
Скатерть –
в красных пятнах вина.
Посиди со мной ночь,
с улыбкой
на красных губах,
с кривым ятаганом,
звездой,
запутавшейся
в волосах.
Посиди со мной, ночь,
с дымком табака,
кофе горчайшим,
что пьёшь,
не гадая на гуще
лет.
А горы – всё ближе,
всё дальше
в горы уходит
свет.
И вот уже тени наши
кружат,
как мошкара.
Пора уходить,
ночь
гасить
до
утра.

3.

Ты наклеишь ресницы,
глаза подведёшь,
на свиданье придёшь,
меня не заметишь.
Помолчишь,
губы детские чуть приоткрыв.
Слову ветра – ответишь.
В этой
маленькой
клетке грудной
птице пойманной
с клёкотом биться.

Перестань,
ты сейчас – не со мной:
это долгая, долгая ночь
всё не кончится,
снится.
Отдохни
на развилке дорог,
там, где Яффо встречает
река
другая,
где
скользят над тобой,
перекрещиваясь наискосок,
тени ада
и тени рая.

МОШАВА ГЕРМАНИТ

1.

Где-то
сонник другой –
свет
за тяжкой дверью дубовой,
серый день – пеленой
в ожиданьи жизни
новой,
что,
не спросясь,
вломится в дверь,
смертью пахнёт,
дымком катастрофы.
Как ты смог уцелеть
после стольких потерь,
с руки клевать
теперь
крохи-строфы?

2.

В горах,
где, кажется,
от слёз
земля всё суше,
а кущи
расселись по кустам,

арба,
верней, обоз, составленный из дней
что суше и чернее
глаз моих,
оплакивающих
сей
участок суши,
всё тянется за холм,
его не огибая,
а жизнь
другая –
усталая, сердитая, слепая –
лишь тычется в порог,
и ключ суёт в замок,
и тростью бьёт в порог,
его не преступая.
Прости, прости,
меня ведь дома нет,
как, впрочем,
и тебя,
бредущего вослед
арбе до
ныне.
Твоя слеза лишь выжжет
след
в зрачках пустыни.

3.

Пила, пила,
вознесшая стропила,
что пела ты,
что говорила
в той суматохе дней,
когда
вытягивала вверх года
коническая сила?
К ней,
восставшей
из
камней,
я губы запрокину.
Над черепицей крыш
разбрасывает
тишь
сухую
глину.

ТРАСТЕВЕРЕ¹

За столиком, в узорчатой тени
стихи читает,
между тем как нож
серебряный
взрезает мякоть плода.
Что ж,
дарована ему свобода
за столиком, в узорчатой тени,
и Тибр древний,
что ему сродни,
медлительный, стремится уже
иное время года,
и взгляд скользит по лезвию
строки,
и солнца луч почти отвесный
раскачивает воздух бестелесный,
и в такт
сомнения
легки.

* * *

Уехать навсегда из города чужого.
Он был твоим и превратился снова
в кружащийся волчок, полдневный жар и звон,
мельканье пёстрых толп, вдруг – с четырёх сторон –
наплыв грозы, и сумрачна ограда.
Сквозь запах тополей – вечерняя прохлада
проулков каменных, и влажная скамья.
В том городе когда-то не жил я.

Уехать навсегда из города чужого,
где пыльных улиц визг и где чужое слово
взрывается в мозгу, как залпов дальний гром,
где ты и я куда глаза бредём,
встречаемся – и расстаёмся снова.
Так повторю историю Иова
под чуждым небом, в городе чужом.

Уехать навсегда из города родного,
и Карлов мост мне не увидать снова,
и площадь гулкую во сне не пересечь,
и не понять родную речь.

¹ Квартал в Риме.

Но тенью маревной, бродящей по земле,
в кургузом пиджаке, с печалью на челе
во Влтавы водах отразиться,
и не кончается страница...
Вот над водой взметнулась птица,
а город – гаснет в полумгле.

ВОРДСВОРТУ

Ни вереска, ни озера вдали,
Ни влажных туч, разлегшихся над кручей.
На длани Бога – горсть сухой земли,
Да веет из пустыни жар летучий.
Но твой мотив, как песня пастуха
Бессонная, спешит навстречу.
На длани Бога – ночь глуха.
Лишь смутным эхом я тебе отвечу.
И кажется, почти не отличить
Напев – от ропота его отсрочки.
А между тем суровая мелькает нить,
Как бересту, сшивает строчки.

* * *

Луна взошла над пролежнями гор,
и в смятую постель больного
сметает свет последний жар и сор,
и взгляд парит, и застывает слово
под этим взглядом. Но глаза в глаза –
в их желтизну смотреть не перестану,
пока устало не сверкнёт слеза
и праздным камнем в ночи кану.
А блеклый свет умерших душ
тебя сопровождает обратно,
где, омываясь в слёзах луж,
ты этот холод не поймёшь
превратно.

Леонид Левинзон

ДВА РАССКАЗА

СВЕТОФОР

Черепаша живёт двести лет, ворон – триста. Дерево, к примеру, дуб, живёт полторы тысячи лет. Я тоже решил долго жить. Почитал литературу. Понял, что надо заняться медитацией, йогой, ходить пешком, кротко улыбаться. Спокойствие, только спокойствие. И никакого мяса. Или вообще только мясо. Хотя на этом месте мысли путаются. Может, кефирчик, да-да, кефирчик? Или всё-таки мясо? Или кефирчик? Кто-то за окном орёт. Вот выйду – убью сразу! Нет, не убью – некогда, надо медитировать.

– Я – дуб, я – дуб, я – дуб. Я орёл, орёл, то есть не орёл, а ворон.

Нет, ну как орёт. Вот собака! Сейчас выйду и тоже заорю! Я черепаха, я черепаха, черепаха... Я дуб. У дуба зелёные листья. Сейчас они опадут, я выйду и оборву листья с этого мудака тоже. Хотя лучше убить. Лишить хлорофилла.

Нет, прежде надо успокоиться. Найти единомышленников. Пожалуй, лучше всего медитировать, если ты буддист. Интересно, а бывают евреи-буддисты? Наверное, бывают. Доживу до завтра, пойду искать братьев. Как найду, начну с ними медитировать:

– Я дуб, я дуб, я дуб...

Нашёл. Очень даже рядом. Небольшая квартирка. В салоне на полу разложены коврики. На стене плакат с изображением восточного дядьки. Молодые мальчики и девочки, почтительно на него показывая, объясняют, что это Карнапа шестнадцатый. Ещё молодые мальчики и девочки говорят, что сегодня к ним прилетает странствующий учитель и мне очень повезло.

Учитель прилетел с любовницей. Любовницу отправил в народ на коврики, сам сел на стул. Снял носки и сказал трепетно внемлющим:

– Все религии ерунда. Бога нет, а есть Кармапа.

Покончив с теоретической частью, учитель впал в транс:

– Перед нами сгущается золотистая прозрачная форма шестнадцатого Карнапы.

Чтобы ничего не видеть, в том числе и Карнапу, я закрыл глаза.

– Скрещённые у сердца, его руки держат колокольчик...

Какой у дуба колокольчик?

– Мы принимаем потоки света...

Если принимаем, то на какие чакры? Или это в йоге чакры, а не в буддизме?

– Мы вспоминаем о всеобщем непостоянстве...

Уж это точно.

– Из лба Карнапы излучается мощный прозрачно-белый свет... Все вредные привычки и болезни исчезают...

Вот это мне и нужно.

– Из горла Карнапы излучается яркий красный свет...

Ну, пусть излучается. Согласен.

– Из сердечного центра Кармапы излучается интенсивный синий цвет...

И всё? Интересно, а почему нет зелёного? Какой же ты светофор, если нет зелёного?

Я открыл глаза: все сидят на ковриках, что-то шепчут. Явно медитируют.

Ну хорошо, чёрт с вами, уговорили:

– Я дуб, я дуб, я дуб, я Карнапа, я настоящий дуб...

ЛАБОРАНТ

Мужчина, уже не очень молодой, неулыбчивый, полноватый, медленно, о чём-то раздумывая, подошёл к прилавку в аптеке.

– Дайте, пожалуйста, аспирин... – произнёс рассеянно.

– Скажите, – услышал, – а вы откуда?

Недоумённо ответил:

– Из Питера, а что?

– Да так, – пожала плечами девушка в белом халате и отвела глаза, – интересно.

– А вы? – помедлив, в свою очередь спросил мужчина.

– Из Минска, – легко ответила, – кстати, за аспирин пятнадцать шекелей.

И опять отвела глаза. Высокая, сероглазая, чуть скуластое лицо, русые волосы, завязанные сзади в пучок. Под белым халатом грудь. Не большая, не маленькая, средняя. Голос хороший.

Приходит мужчина и заказывает аспирин. Никуда не смотрит.

– Откуда вы?

– Из Минска.

Получив ответ, получив аспирин, мужчина отошёл от прилавка – большой суперфарм, работники скользят по начищенному полу – экономят на уборщицах, прохладный кондиционированный воздух, запах духов, ряды зубной пасты. О, зубная паста! О, белизна и розовость! Интересно, какие у неё соски?

Мужчина застыл и, выйдя из отрешённого состояния, сжал кулаки. Ему стало жарко.

– Со мной же хотели познакомиться! – вдруг понял. – Со мной хотели познакомиться!! А я?

Развернулся и пошёл обратно. Но в аптеке уже образовалась очередь. Ровно в затылок друг к другу стояли три эфиопа разной степени коричневости, пять русских в мятых костюмах, причём у одного был баян, шесть англичан, мурлыкающих старые ливерпульские песенки, и один очень маленький недовольный араб в белой куфие, белой одежде, чёрных сандалиях на босу ногу, задумчиво шевелящий для себя под куфией ушами. Все с рецептами.

Действительно, приходит человек и заказывает аспирин. А что такое аспирин? Обычная белая таблетка. Лучше бы по сторонам смотрел.

– Вот всегда я так... Не вовремя. Упускаю.

И девушка-фармацевт сердито работает, даёт пилюли. Настроение у неё изменилось. Не хочет поднимать глаза. Движения дерганные. Злится на себя, что попыталась.

Как-то мужчина стоял на перекрёстке в одном очень азиатском юго-восточном городе, и мимо сплошным потоком шли смуглые черноволосые люди, а вместе с ними приближалась светловолосая высокая девушка в юбочке и блузке. Поравнялась.

– Вы случайно не меня ждёте?

Мужчина растерянно сказал:

– Нет.

Он ведь действительно её не ждал. Он просто стоял в своей цветной рубашке и коротких пляжных шортах, не зная, куда идти в этой толчее.

– Вы случайно не меня ждёте?

– Нет.

Девушка задорно рассмеялась и пошла дальше. Потом оглянулась и помахала рукой. Конечно, надо было побежать, догнать, превратить всё в шутку, пригласить выпить горький кофе из маленьких чашечек, вдвоём съесть спайси-суп из осьминогов и кальмаров, взять по бокалу тёмного прохладного пива с накопившимися на поверхности медленно лопающимися пузырьками, показать ей, светловолосой, свой номер, где замученно стоит повидавший виды чемодан, шумит кондиционер и открыта дверь в ванную комнату с бесконечным кап-кап из прохудившегося крана. Но мужчина просто врос в асфальт на том перекрёстке, и, чтобы сдвинуть, его надо было вырывать с корнем.

– Вы случайно не меня ждёте?

– Вас, но я не умею открыть рот.

Девушка помедлила, решительно шагнула и затерялась. Пропала.

Дайте, дайте мне аспирин! У меня высокая температура, у меня не двигаются руки и ноги, я всё время опаздываю, безбожно запаздываю жить.

Рядом с суперфармом, где фармацевты аккуратно складывают в шкафчик использованные рецепты, находится больница, чтобы, если рецепт не помог, было куда забежать за помощью. В этой больнице с осыпающейся побелкой если миновать приёмный покой с уставшими медсёстрами и крикливыми интернами-врачами и спуститься в длинный подвал, то между канализационных и прочих труб обнаружится биохимическая лаборатория, в которой, изящно двигаясь между сложными машинами, работает он, тот самый опаздывающий, любимый сероглазой девушкой из аптеки. Днём работает, и ночью работает.

Ночь, улица, фонарь, девушка, аптека, больница... Дежурство. Вокруг никого. Машины, мурлыкая сцепившимися частями, делают анализы. Нет, он был дурак, есть дурак и будет дурак, а вокруг все сволочи. Это и так понятно, но ночью доходит до сердца. Почему днём не доходит? Днём им плотно женщина руководит – толстая такая, с очень высшим образованием, и всё грызёт. Одиннадцать лет он работает, и одиннадцать лет она его грызёт.

– Алексей, – кричит визгливым голосом, – вы работаете без огонька! Алексей, вы почему, собственно? Алексей, встряхнитесь! Алексей, быстрее! Алексей, точнее! Алексей, я до сих пор жду вашей реакции...

– Да, госпожа профессор, сейчас, госпожа профессор. Госпожа профессор, я исправлюсь...

И его милостиво оставляют работать дальше с мурлыкающими машинами.

Два года назад начальница потеряла ребёнка. Была за границей на очередном симпозиуме, муж повёз ребёнка в школу и попал в автокатастрофу. Сам не получил ни царапины, а ребёнок погиб. Начальница вернулась с симпозиума прямо на кладбище, на которое пришли все её лаборанты и торжественно одетое по случаю начальство – один рыжий, один лысый и один безликий. Начальница в чёрном костюме, очень идущем к бледному лицу, захлёбывалась от плача, не забывая бормотать:

– О, какой коллектив! Как я тронута, господин распорядитель! В такой момент, господин заместитель! Я вам благодарна за поддержку, господин организатор!

Стоял февраль. Было ветрено, над кладбищем, подгоняемые холодным ветром, летели дымным рваньём облака, смешав слёзы, пролился дождь, табличка над свеженаброшенной землёй извещала: мальчик десяти лет закончил свою жизнь.

Через положенные дни, сцепив зубы, начальница появилась на работе, и все кругом солидно закивали:

– Сильная, собака. Молодец. Только так и надо. Не раскисла.

Через год начальница получила звание профессора.

– Алексей, вы опять?!

Да, опять. Алексей упрямо повторяет прежние ошибки, чтобы почувствовать, что остаётся хоть в малости самим собой. И смотрит в её глаза, пытаясь увидеть там что-то домашнее, человеческое. Пытается представить, как она варит обед, смотрит телевизор, делает мужу минет, плачет о потерянном ребёнке.

– Да, госпожа профессор, простите, госпожа профессор, госпожа профессор, вам чёрное к лицу.

Ночью, один, среди анализов и машин, с налитыми от усталости красными глазами. Уже шатает, и в этом есть особая сласть. Удовольствие устать, а потом медленно идти домой с чувством, что полностью прожил ночь. Вокруг лихорадочный огромный мир, в котором делаются великие дела. Берутся взятки, и какие взятки! Перекраиваются границы, расторгаются договоры, торжественно произносятся слова, запускаются ракеты, и каким-то загорелым, мускулистым, в цветастых трусах отдаются самые главные женщины. А он, невидный усталый дурак, всего лишь идёт с работы – никому ничего не должен. Заработал чуть-чуть и уехал в Азию. Почему в Азию? А из скромности. Если не умеешь завоевать беленькую из аптеки, приходится ехать и покупать смугленьких на улицах. Скромно покупать, тщательно считая мелочь в кармане. И расчётливо отрываться, не портя себе жизнь. Не умирая жёлтой ночью под чьим-то окном, не звоня по синему маленькому телефону, удивительно вмещающему в себя желанный голос, и бояться до слабости в коленях, до дрожи, что услышишь в нём ледяные нотки.

Не улыбаться, мечтая о той рыжей из новостей, она ещё играет на гитаре и задушевно поёт романсы. Лаборант так и представлял в своих грёзах, как просит её раздеться, встать на четвереньки,

раздвинуть половинки своей пышной высококультурной попы – и её же гитарой хлоп по этим половинкам. Струны зазвучат.

Сесть напротив этого ожидания, этого удивительного телевизора, и, глядя в него, запеть подрагивающим от возбуждения голосом: «Когда простым и нежным взором...»

Рыжая призывно качнёт замечательной попой, повернёт свою демократическую тщательно ухоженную голову и произнесёт в такт песне глубоким, очень глубоким чарующим контральто:

– Милый мой, ты где? Я жду...

«Веселья час и боль разлуки...»

Нет милого. Милый опять уехал и в одном из самых грязных жарких азиатских городов, где все торгуют презервативами, купил девятнадцатилетнюю девушку. Привёл в номер, в котором замученно стоит повидавший виды чемодан, шумит кондиционер и открыта дверь в ванную комнату с бесконечным кап-кап из прохудившегося крана.

– Сколько тебе лет, девочка?

– Девятнадцать.

Подростковое узкое тело, совсем неразвита грудь, тонкие руки, чёрненький трогательный пушок внизу, обрамляющий слабо розовую чуть приоткрытую раковину, откуда в будущем родятся смуглые тихие дети.

Девушка доверчиво прижимается, тихонько вздыхает и, не зная, как дальше, беспомощно спрашивает взглядом.

– Лежи, лежи, – покровительственно разрешает мужчина.

Со своим неспортивным телом, толстым животом, вместившим столько еды за прошедшие годы, он не торопится, осторожно обнимает, рассматривает, трогает, наконец, целует слабо отвечающие губы. Проникает. Отваливается. Но его рука ещё рассеянно касается девушки: притрагивается к щеке, соскам, к чернеющему внизу треугольнику. Девушка молчит, неслышно дыша. Тихая, тонкая, но жар будто от пухового одеяла. Так престарелый царь Соломон брал юных девушек, чтобы они согревали постель. И они лежали точно так же, испуганно сжавшись, не умея ни о чём говорить, одним своим присутствием возвращая царя к жизни.

Но он-то не царь, а самозванец. Не бизнесмен со множеством потайных карманов в тесных штанах на жирных ляжках, не политик с влажным причмокивающим ртом, не адвокат в костюме, скрывающем искривление позвоночника, а лаборант, и женщина с бульдожьим характером гавкает на него:

– Вы у меня попляшете, Алексей!

– Я уже пляшу, госпожа профессор, а в перерывах трахаю девятнадцатилетних.

Лаборант, у которого нет даже галстука и вся деятельность заключается в том, чтобы открывать пробки в пробирках и ставить эти пробирки в умные машины.

– Можно я пойду? – робко спрашивает девушка, и в её незамутнённых глазах ничего не отражается.

Он ещё раз проверяет, какая у неё грудь. Кладёт ладонь, ощущая тонкую горячую кожу – затаившаяся остаточная страсть.

– Иди.

Самое беспощадное – момент расставания. Ещё несколько часов назад они улыбались друг другу, шли в гостиницу, так или иначе были вместе. И вот – кончилось. Он отдал, девушка вобрала. И деньги. Несколько очень нужных бумажек перешли из рук в руки.

– Так, может, я пойду?

– Иди. Конечно, иди.

Всё.

Трогательно. Неловко. Навсегда.

Девушка начинает собираться. Одевает белые трусики, закрывая использованное интимное, продевает руки в бретельки лифчика. Зачем ей лифчик на такую маленькую грудь? Лифчик никак не застёгивается, и девушка просит застегнуть. Получает деньги, смущённо смотрит, хочет что-то сказать, но не решается и, чуть замешкавшись около двери, уходит. Лаборант ложится на смятую постель с отброшенным к краю кровати одеялом и смотрит в потолок – в душе пустота. Вот всегда – вспышка вожделения, а потом пустота. Все эти девушки – как вода, которой невозможно напиться. Девушка уходит, ты остаёшься наедине с собой, и пустота внутри углубляется.

Да и сама чужая страна не даёт сытости. Как на перекрёстке: ты стоишь, кругом идут, в том числе и сквозь тебя. Разные мы обезьяны. Не только по цвету кожи. Шарик движется в пустоте.

Лаборант закладывает руки за голову, и его опять скручивает злость. Ведь когда сидел в баре, рядом танцевала именно та, которую он хотел – красивая, гибкая, с чёрными волосами и играющими под блузкой грудями. Он загляделся, и танцовщица, заметив, блеснула молодыми глазами.

– Купи мне дринк, а то сегодня жарко! Очень жарко! – подмигнула.

Внутри немедленно задрожало злое.

– Ещё чего! – отрывисто гавкнул. – Нашлась тоже! Не люблю, когда вымогают!

Танцовщица отшатнулась.

– Извини, извини... – защищающе выставила ладони.

И он взял эту, безответную. Второй женский сорт. Самое то для мужского второго сорта.

Нет, сил быть одному больше не было. Он вскочил и стал одеваться. Выбежал на улицу, немедленно окунувшую его в закрашивающую всё насыщенным чёрным азиатскую ночь. В ночи слышался смех, близко играла музыка, подвижные блёстки автомобилей искали дорогу. Впереди шли люди и выглядели такими счастливыми... Как они могут? Он заторопился, попытался примазаться, отстал.

– Зайдёте в мой ресторан? – услышал.

Обернулся – на ступеньках около вывески с рекламой шашлыков стоял молодой парень и улыбался.

– Зайдёте? У нас вкусно.

Лаборант посмотрел на часы.

– Зайду, – решил с заминкой, – пожалуй, да, зайду.

Поднялся по приглашающим ступенькам и огляделся – ресторан был сделан основательно: крашенные деревянные столы и такие же массивные стулья с высокими спинками, раскрашенная

фигура индейца с местным флагом. Цветочки на столах со сдавшимися, склонившимися к зелёным стебелькам бутончиками, еле слышная мелодия из семидесятых пытается создать настроение, экран телевизора с футболом – ноги, ноги, ноги....

– Что вам принести?

– Суп, только суп.

– Минуту, господин.

Он откинулся назад и поморщился – спинка стула была неудобной.

Когда лаборант летел сюда, в зале ожидания он обнаружил некое отграниченное пространство с приглушенным освещением и мягкими креслами, которые почему-то никто не занимал. Было направился туда, но был остановлен служащей.

– Простите, это только для бизнес-класса.

– А может, я и есть бизнес-класс!

Служащая позволила себе лёгкую улыбку:

– Вряд ли.

– Ваш суп! – появившись, торжественно провозгласил официант.

В глубокой тарелке мясной, исходящий паром, со свежими листочками кинзы, суп выглядел очень привлекательно.

– Приятного аппетита, господин! – официант подчёркнуто вежливо поставил на стол хлеб в плетёнке.

Господин принялся за еду, медленно съел и откинулся назад.

– Вкусный суп! – счёл возможным похвалить.

Но деньги дал точно по ценнику. А как же иначе? Если уж не бизнес-класс, то и вести себя надо соответственно. Чтоб понимали... Очертить яростные границы.

Официант скосил глаз на протянутую купюру и позволил себе лёгкую улыбку.

– Да, вкусный.

Господина бросило в жар.

– Ишь, ещё и недоволен!

Резко поднялся и вышел, не прощаясь.

– Муссина... массаасс....

Около двери массажного салона женщина лет пятидесяти, чем-то неуловимым похожая на его начальницу, делала приглашающие знаки. Грубое лицо, толстый живот, короткие ноги.

– Массаж? Мужчина – массаж?

Он остановился. Домой возвращаться не хотелось, ночь была впереди, и чем-то надо было её занимать.

«Толстые – самые сильные, старые – самые опытные», – подумал, а вслух сказал:

– Мне нужен жёсткий массаж. Можете сделать?

– Смогу, – с готовностью согласилась массажистка.

Он, как принято в этой стране, снял на входе сандалии и, голыми ступнями ощущая прохладу пола, зашёл внутрь. Вслед за женщиной поднялся на второй этаж, в полумрак красного ночника. Пахло притираниями, на полу в ряд лежали матрасы, отделённые друг от друга занавесками.

– Раздевайтесь, – показала массажистка и задёрнула одну из занавесок. Вышла.

Он разделся и лёг.

– Сейчас попляшем, госпожа профессор... – потянулся всем телом.

– Так вы хотите всё-таки жёсткий массаж? – спросила ещё раз женщина, вернувшись с влажным и горячим полотенцем.

– Да.

Она села в ноги и, сминая мышцы шершавыми пальцами, стала глубоко массировать. Взмокший от напряжения, но с наслаждением отдающийся этому своеобразному болючему удовольствию, он лежал, закрыв глаза и чуть постанывая от особо сильных захватов. Массажистка перешла на спину. Потом спустилась обратно на ноги, попросила повернуться и неожиданно начала уделять особое внимание самому интимному месту на теле лежащего.

– Жёсткий массаж, говоришь? – спросила со смешком.

Тело реагировало должным образом, мужчина молчал, а женщина вдруг моляще попросила:

– Заплати мне, и я всё для тебя сделаю, я очень прошу. Мне очень важно, не тебе, а мне! Ну пожалуйста! Прошу тебя!!

Лаборант было хотел буркнуть заветное:

– Не люблю, когда вымогают...

Но, ошарашенный натиском, кивнул, соглашаясь.

Женщина буквально содрала с себя одежду, обнажив в больших складках живот, вялые распластанные груди и, разведя толстые короткие ноги, опустилась на него. Следующие несколько минут выпали из сознания, как раз до того момента, когда она издала такой крик, что, наверное, было слышно на улице. Вся мгновенно мокрая, упала и благодарно зашептала:

– Как я устала! Боже мой, я устала.

Целый день она одного за другим массировала туристических мужиков своими жёсткими пальцами и не уставала, а тут устала.

Закрыла лицо руками и тихонько засмеялась.

– Я тебя сразу заприметила, – вливался в уши счастливый шёпот, – всё гадала: зайдёт, не зайдёт, зайдёт, не зайдёт... зашёл! Надо же, зашёл!!

Едва не взлетающий от лёгкости, удерживаемый в правилах нахмуренного приличия лишь брюками, в карманах которых скопилось столько тяжёлой мелочи, он благостно зашлёпал вниз по прохладе лестницы к сбившимся в кучку её товаркам с недоумевающими взглядами. Горделиво спускавшаяся рядом женщина казалась помолодевшей на десять лет. Вышел за порог, и женщина, неожиданно опустившись на колени, начала надевать ему сандалии, придерживая и как бы дополнительно лаская в ладонях ступни. Медленно застегнула ремешки и с сожалением выпрямилась.

– Если нужен будет жёсткий массаж – приходи, – сказала севшим голосом, – я каждый день здесь.

Он молча кивнул и, развернувшись, пошёл к своей гостинице.

Зашёл в номер, где замученно стоит повидавший виды чемодан, шумит кондиционер и открыта дверь в ванную комнату с бесконечным кап-кап из прохудившегося крана. В который раз за такой длинный день разделся, лёг, подтащил к себе одеяло, накрылся им и попробовал заснуть. Но вот беда – опять не спалось. Совсем не спалось. Встал, включил свет и, вернувшись в кровать, по своей привычке заложил руки за голову.

– Как-то жизнь складывается... – лениво подумал. – Мне уже столько лет. Вернусь, и опять в подвал?

– Алексей, вы работаете без огонька! – вспомнил. – Я вернулась из Вены, а вы без огонька!

– Госпожа профессор, а не сделали бы вы мне массаж?

На самом деле мир безумен, и нормальному человеку в нём нет места. Бизнесмены, таксисты, политики, газетчики, чиновники... Все бегут, царапаются, лезут, боятся прогадать.... И меня тоже толкает вперёд – день, ещё день. Как собака Павлова, на одних рефлексх, думать некогда, настолько подхватывает общий ритм. А вываливаешься, когда неприятности. В прошлом апреле украли кредитку, полдня такие нервы.

Он раздражённо дёрнул головой: «Наедине с собой тоже ни о чём не думается. Отвык, разучился. Наконец-то без телевизора и компьютера, а толку. Только глупости в голову лезут. Кстати, о глупостях...»

Лаборант устроился поудобнее.

В последнее время он пристрастился смотреть старые порнофильмы. Всмотривался в лица этих тогда ещё молодых женщин, как они весело хвастаются своим телом, великолепно раздвигают ноги, принимают мужчин, подмигивают, наряжаются. Какие поразительные легковесные глупости, наполненные чувственностью и жадной денег, показывали эти скандальные фильмы. И где всё? Умерли и скандалы, и эти женщины.

Господи, какие мы жалкие! И как всё по-человечески.

Перед его глазами прошла череда картинок из фильмов, и он неожиданно снова возбудился. Внутри нарастало томление...

«Гори, гори, моя звезда!» – восторженно запел.

Вспышка.

Перевёл дыхание: комната, смятое одеяло, потрёпанный чемодан, кап-кап из ванной комнаты. Серость. Опять серость. Ему ещё семь дней здесь находиться, не зная, куда себя деть. Потом лететь домой и опять жить, стоять в очереди за аспирином. Жить, жить, жить. Продлевать всеми силами, ходить в аптеку, глотать таблетки, смотреть на свои морщинистые руки, тяжело кашлять, лежать в больницах, с трудом подниматься с постели.

Ничего не хочу. И жарко. Кондиционер замолк. Надоело. Живите сами. Хватит.

Он встал, покопался в чемодане и пошёл в ванную. Срезал верёвку от занавески, сделал на ней петлю и закрепил конец верёвки на стенном крючке. Вспомнил женщин из порнофильмов.

– Так что вы делаете за кадром? Скоро узнаю.

Задумчиво посмотрел на себя в зеркало, провёл большим пальцем по щеке – небритый.

– Когда-то читал, – сказал вслух сам себе, – что казнь через повешенье есть величайшее половое удовольствие.

Надел петлю на шею и повис всей тяжестью. В последнее ещё осознанное мгновение его скрутила судорога невиданного оргазма.

И под ним, разбив корнями кафель плитки, выросла мандрагора.

Кап-кап.

Семен Крайтман

КУНЖУТ, ОТКРОЙСЯ

* * *

в моём местечке семь часов субботы.
покинутые хонды и тойоты
стоят вдоль тротуаров.
тишина.
лежит сырая ветка на капоте,
неторопливый голубь переходит
дорогу, не оглядываясь на
пунцовые гримасы светофора.
он даже не идёт, а, словно штору
иль театральный занавес, себя
с нептичьего пути отодвигает.
вот из парадной лавочник Гедали
выходит, старый талес тербя.
пугаясь луж и тротуарных рытвин,
он к утренней торопится молитве –
сутуловатый, шмыгающий мим.
за ним идёт немой кузнец Иона,
за ним шагает грязная ворона,
за нею бортник Янкеле,
за ним
с детьми идёт чуть слышная Мария,
за ней скорняк Азария,
за ними,
в слюнях, по детски выпятив губу,
плетётся Гершке – двухметровый дурень.
мои соседи.
все, кто жил и умер,
кто вылетел в кирпичную трубу,
прервав свои нехитрые гешефты.
по радио какой-то оглашенный
из бог ты мой какого далека,
вещает о помазанье на царство,
о том, что
«невзирая на коварство...»,
«мы не сдадимся...»,
«сильная рука...».
рожки, трещотки, гусли, прибаутки,
раздольные пословицы и шутки:

на всяку пелену своя цена.
где жид прошёл, пшеница не родится.
кровь не водица.
курица не птица...
за голубем слетает голубица.
зима.
суббота.
утро.
тишина.

* * *

звезда,
зима,
бульвар скрипуч и тих.
у «Лондонского» мнутя шалашовки,
в одном капроне.
холод... ни поклёвки...
мой друг читает маяковский стих:
идите, гладьте чёрных и сухих...
(они стоят в сапожках на шнуровке,
в онучах саламандровских кровей.)
мы вам на платья солнце пришпандорим, –
кричит мой друг.
февральский ветер с моря
бежит по нашей лестнице наверх,
то через пять, то через шесть ступеней,
как иноходец,
как прыгун в длину,
взлетает, рвёт басовую струну
озябшей во дворе виолончели.
толкает в спину, прёт по головам...
и холодно нашёптывает нам:
мои смешные,
Сенин друг и Сеня,
«вот что имею я поведать вам»...
наступит лето.
зной.
степная пыль
на бархатные сядет абрикосы.
вы влюбитесь в красавицу
и после –
на вёслах – с ней пойдёте в Измаил.
вы будете так нежно уставать.
вишнёвый сахар слизывать с ладоней.

дурачиться.
потом она утонет,
и вам придётся долго забывать...
потом в далёком N-ском гарнизоне
вы пьяные заснёте на плацу,
проспав полёт немецкого шпиона.
потом...
потом в пределы Завулона
уйдёте,
чтобы
никогда мацу
не покупать, не бегать в синагогу
на праздники свои
и понемногу
масонскую, сомнительную морду
учить с нуля обычному лицу.
прислушиваться к шороху волны,
что, словно псина, ласково картавя,
прибрежные слюнявит валуны...
вы будете бросать – кто дальше – гравий
бродить вдоль моря, подкатав штаны,
и говорить о женщинах и славе,
которым оказались не нужны.

* * *

у зеркала,
в тот миг, когда плечо
твое распустился,
всплывёт из лёгкой ткани,
ты вдруг увидишь,
что стекло течёт,
что из каких-то злых месопотамий
ветра вползают жаркие
и я,
дающий имена, стою, немея,
на берегу прохладного ручья,
названия придумать не умея
тебе, твоим плечам.
сухая тень
вспорхнувшей птицы
задрожит над нами,
и ты увидишь дерево с плодами,
ручей и облако.

«в начале».
первый день.

* * *

черноволосые девочки,
отличницы средних школ
имени партизанов,
пионеров и легендарных
прочих...
портфели с тряпичным, старушечьим,
болтающимся мешком
для сменной обуви.
фартуки, юбки, банты...
разбрелись по странам, по городам, мужьям,
обрекая меня в любовники, в вечные шалопаи,
в ходока по осенним, сырым, сырым краям.
но уже тогда, ничего о тебе не зная,
я писал тебе, я носил тебя на руках,
нежность моя, дуновение, утро, Сольвейг,
дурачась, смеясь,
я пытался от посторонних
глаз укрыть
свой злой, свой дождливый страх,
обронить тебя.
я смотрю, как раджпуты жгут
на песке костры,
застывшей дивясь манере
их разговора.
я беру блокнот.
появляется буква.
я говорю: кунжут,
откройся.
дверь открывается.
я исчезаю за дверью.

* * *

в кабаке, в порту проходу нет от блядей.
улыбаясь, им говоришь: мол, простите... гей.
в смысле пидор (в хорошем смысле),
ну чтоб отстали...
а у барной стойки дождливый антрепренёр
смотрит худо так, по-вечернему.
у него под тугим ремнём
на три дюйма припрятано
золингеновской, доброй стали.
ладно, сука,
попробуй дёрнись,
смелых ждут чудеса.

вот поля, где пасутся бизоны.
реки вот,
вот леса,
полные говорливой, хлопчущей в травах дичью.
и ещё цветы,
и женщины неглиже.
над зелёными листьями тёплая нежится гжель.
а вокруг пассифлора, манго,
абрикосы, гранаты, личи...
вдалеке от дома,
в креветочном злом дыму
(впрочем, дом, он повсюду)
попробуем, кто кому?
выйдем к пирсу,
под скользкие, йодом пропахшие сваи...
поглядим на звёзды, так оно веселей.
и падём смертью храбрых,
потому что других смертей
не бывает, пацан.
не бывает.
других смертей не бывает.

* * *

десяти мужей не нашлось.
не хватило двух.
служка сбивался, путая звуки букв.
я хотел позвать землекопов.
их было трое,
изменявших дождливый, мраморный, злой пейзаж,
бородатый Шлиман,
проникший в сырой трельяж
укрывавших мир промокшей, тугой землёю.
но зачем мне чужие люди,
уж как-нибудь...
и не в цифре суть,
и даже не в слове суть.
а потом проступило солнце,
и вот разжались,
как уставшие пальцы, тучи,
и небеса,
словно женщина,
в женской судороге
закрывающая глаза,
светлели, текли,
взлетали, преображались.

* * *

мой сын говорит: тщета...
говорит: томление ветра.
из Ливана привозит кедр, золотые слитки
из Офира...
всему своё время, учит.
когда кончается лето
и воздух сыреет,
вспоминая о первой битве,
ноет плечо.
– маленький мудрый мальчик,
убийство тоже неслабая повитуха.
я брожу по берегу моря,
вдали маячит
дождь.
из орудий струнных, доступных слуху,
он один и остался.
начальник хора
давно ушёл на войну и пропал без вести.
темнеет. дымит луна.
пора возвращаться в город.
вот такие псалмы, сынок,
вот такие песни.

* * *

их гибель ждёт.
им не бывать стихом.
не всплыть, не проноситься косяком,
как рыбам по волне.
так получилось –
они себе знакомые едва.
придонные, ослепшие слова.
беззвучие и непроизносимость...
семь дней назад я хоронил отца.
мне повезло не видеть нелица.
таков закон.
в растоптанных сандалях
увесистый мужик прочёл кадиш.
вспорхнула птица, пробежала мышь.
захлопнулся словарь толковый Даля.
стояли люди в траурных очках,
а я бубнил куплет про Пятачка:
«куда идём... секрет...»
молитве вторя,
на саване покачивал шнурок
осенний, невесомый ветерок,

с косичками, девчачий, рыжий, с моря.
он забавлялся запахом сетей
рыбачких,
криком
женщин и детей
на берегу...
газетных объявлений
пинал клочки:
«меняю мумиё...»,
«туристка ищет скромное жильё...»,
«потомственный целитель, маг и йог
раскроет тайны ваших сновидений...»

* * *

взывайте к Эолу!..
устали гребцы.
обмяк,
словно печёное яблоко, парус.
над ним парит
солнце, как гриф,
и, видимо, нет итак,
нет ленинградов, одесс, феодосий, риг...
я придумал войну, жену, сыновей, кота,
фотографии не узнавших меня времён,
не узнавших мест.
море не дышит.
нет никаких итак.
никаких феодосий, риг, никаких одесс.
солнце как гриф.
море.
корабль завис
над горячим небом.
боги в своём саду
спят.
и сирены шепчут: Улисс, Улисс...
как слепые, вытянув руки.
иду,
иду.

* * *

а потом я услышал заклинания псалмопевца.
солнце уже упало, но камень успел нагреться
так, что на расстоянии метра был виден жар,
от него исходящий.

стояли вокруг фигуры
женщин, мужчин,
вчерашних жителей Ура,
Халдейского Ура,
из которого я бежал.
псалом двадцать третий:
...поднимите врата... затворы
уберите.
кладбищенский заклинатель, начальник хора
смахивает со лба
жирный прозрачный рис.
неподалёку урчит бульдозер, возясь с землёю.
похожий на куколку бабочки позднего мезозоя,
ожидая её появления, качается кипарис.
а потом я услышал молчание, и желание плакать,
и звук стрелы, наткнувшейся на сырую мякоть
дерева в тихом лесу.
а потом я решил взглянуть
на дома по соседству.
в домах пили чай с вареньем
абрикосовым или вишнёвым,
а может, ревеневым.
впрочем, это совсем неважно.
не суть, не суть...

* * *

от земли неффалимовой, от севера, вдоль реки,
мимо жёлтых холмов, камней, мимо трав сухих,
где оса гудит, прячась в тени развалин,
тысячелетним солнцем осыпанных городов
(не следы остались от них, но следы следов,
впрочем, и их – без остатка почти
склевали
молчаливые птицы),
вдоль реки, где, пылясь, лежит
на камнях лоза,
и нагретый тугой инжир,
лопаясь, протекает сахарною слезою,
и золотистое марево спускается с гор ползком,
заполняя воздух мёдом и молоком,
вернее, не молоком,
а каким-то белёсым аэрозолем,
я пройду.
вдоль реки...
через месяц ли, через год,

через день, когда
мой друг наконец умрёт
и ветер сухой вздохнёт
и рванётся следом
за ним... и горе
станет несбыточным, как мечта,
как ночная июньская звёздная высота
как любовь, как слово,
как и всё, что связано с небом.

ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ

я знаю эти времена.
куда ни глянь – всё с бодуна:
певец, монах, дурак, дорога...
чернильный «север» на плече,
на рваной майке морда «Че».
– а ты, чернявый, здесь зачем?
рвани очко ему, Серёга.
дождь с прелым запахом беды.
набрав в карманы лебеды,
стоят имперские жида
и от меня воротят лица.
– насущный хлеб наш дай нам днесь.
и язя съесть, и на хер сесть...
и в перерыве перечесть
«Онегина».
и умилиться.
я знаю эти времена.
когда живёшь так долго на...
на этом свете – всё не ново.
со стороны, какая связь?
дорога та же, та же грязь,
и те же «временные – слазь»,
и тот же жест, и то же слово.
но всё же.
глядя на холмы
других времён, другой страны,
сухими звёздными ночами
я вижу птиц –
крыло, крыло... –
в обсидиан и серебро
влетающих:
...глагол, добро...
все тридцать три мои печали.

Давид Маркин

БЕЛАЯ ЖАРА

Что правда, то правда: велик и прекрасен русский язык.

Возьмём, к примеру, всеизвестное библейское «не убий», с течением времени потускневшее, покрывшееся пылью и превратившееся в антикварную драгоценность, наподобие геммы или камеи. Вычленив из этого святого призыва второе словечко, посмотримся в него попристальней – и уловим целую гамму переливающихся всеми цветами и оттенками радуги синонимов: ликвидировать, зашибить, грохнуть, укокошить, долбануть, уделать, запороть, задушить, задавить, зарезать, пришить, сразить, уложить... Согласитесь, эт-то крут-то! Такого, пожалуй, ни в какой другой речи не услышишь.

Тараса Фишзона, думца, именно грохнули. И это значит, что киллер посадил его на мушку, потянул спусковой крючок и убил вовсе не из мести, не из ревности и не спьяну. Стрелку вообще не было никакого дела до жизни Фишзона, а только до его смерти: надо хорошо попасть, чтоб умер на месте или, на худой конец, по дороге в больницу. Так и вышло: одна пуля вошла в печень, другая – в голову. Такой разброс объяснялся поспешностью: убийце надо было срочно линять, потому что площадка перед подъездом дома, куда направлялся Фишзон, была освещена фонарём, да и сам думец был не один, а с помощником.

Помощника звали Лёва Гурарий. Есть вопросы? Нет вопросов. Вот об этом Лёве, а не о думце Фишзоне или безымянном киллере, унесшем таки ноги от того подъезда, и пойдёт речь.

Похороны удались на славу, Лёва Гурарий немало тому поспособствовал. Надо сказать, что хлопотал он и трудился от чистого сердца: что возьмёшь с покойника?! Скорбь и душевная горечь Лёвы Гурария была чуть подслащена тем существенным обстоятельством, что пули меткого киллера пролетели мимо, его не задев. Таким образом, он испытывал к стрелку, пусть даже скрытно и потаённо, своего рода благодарность: Тараса убил, а его, Лёву, не убил. И это чувство благодарности, вопреки чугунным жизненным устоям, теснило все страшные чувства, связанные с убийством человека, совершённым на твоих глазах: только что Тарас был жив и здоров и вот – лежит вниз лицом, и из его продырявленной головы расплзается кровь по асфальту.

Покойный думец принял на работу Лёву Гурария не с бухты-барахты: неделю целую он взвешивал и прикидывал. Мнения его приятелей и советчиков разделились: одни указывали, что для сохранения политического равновесия помощником Фишзона должен обязательно стать безукоризненный русак как представитель титульной нации, а другие доказывали, что и еврей тоже очень даже подойдёт и окажется на своём месте, наглядно демонстрируя торжество демократии и свободомыслия в новой России.

Мотивы, побудившие невыявленных злодеев грохнуть Тараса Фишзона, были не то чтобы ясны Лёве Гурарию, но проступали-таки в поле его зрения в мерзком жёлтом тумане – размыто, но узнаваемо. Своими догадками Лёва не делился ни с кем, справедливо полагая, что вот это уже совсем ни к чему: пусть лучше общественность думает, что пули были выпущены коммерческими конкурентами. Да, конкуренты тоже существовали в природе – Тарас жил не на думскую зарплату, это же и коню ясно и ни у кого не вызывает сомнений, прежде всего у самих думцев. Левые доходы Тараса Фишзона были значительны, но у кого бы повернулся язык назвать эти доходы нетрудовыми? Тарас трудился усердно и не покладая рук, золотые копейки не с небес на него сыпались, как манна на головы наших свободолюбивых предков в Синайской пустыне. Лёва Гурарий многое знал о трудах своего шефа, но знал не всё. Да ему и не надо было: меньше знаешь – лучше спишь. Пусть теперь следствие занимается доходами и расходами покойного думца, пусть дознаватели блуждают в чащобе, где и слон ногу сломит. Почему Тарас ездил на «бентли», а не на «Самаре» – ответ на этот вопрос был так же прост, как и неразрешим: почему рыба живёт в воде, а человек на берегу? Поди знай...

Кому не надо, знать об этом ничего не знал, а кому надо, мог только догадываться. Но то, чем Лёва не планировал делиться со следователями и растерявшими последнюю совесть журналистами – не имело никакого отношения ни к «бентли», ни к звенигородскому особнячку с боярским крыльцом. Предмет умолчания, хотя и опосредованно, имел касательство к Господу Богу, и это обстоятельство Лёву Гурария настораживало. И пугало.

Отношения Лёвы с Богом складывались непросто. Родители его были людьми неверующими, глубоко безразличными к духовным вопросам и запросам. Не то чтобы они были воинствующими безбожниками и Лёва Гурарий всосал это босяцкое суждение с молоком Рахили Моисеевны, мамы. Нет, это было не так. Но, по убеждению партийных родителей, Бог был сам по себе, а они сами по себе.

Нетрудно догадаться, что по субботам в доме Гурариев свечек не жгли и халу не преломляли. Но еврейскую Пасху всё же справляли – с тем же примерно подъёмом, с каким праздновали день Красной армии или женский день 8-го марта. На самом донце души евреи, сами того не создавая, желали оставаться евреями всем назло.

Каким ветром занесло в аккуратную причёсанную голову Лёвы Гурария губительную для Фишзона идею, он и сам не смог бы объяснить внятно. Вдруг его осенило, как с неба свалилось: так, мол, и так – и весь город будет об этом твердить. Да что там город – вся страна! Идею, конечно, завернут со всей решительностью – и вот тогда наступит звёздный час Тараса Фишзона: весь мир будет о нём говорить целую неделю или две.

Сама идея была безыскусна и проста, как вологодские лапти: открыть в Думе синагогу. Среди думцев, включая Фишзона, числилось четырнадцать евреев, вот для них, следуя политике совершенной открытости и демократического плюрализма, и следовало торжественно учредить в стенах парламента национальную молельню.

По замыслу Лёвы, официальный запрос должен был внести в соответствующую комиссию Фишзон, и уже назавтра новость разлете-

лась бы по СМИ. Сам Тарас чутко уловил ценность такого шага: невиданный пиар был обеспечен, причём совершенно бесплатно. Первая реакция обескураженных коллег-думцев была предсказуема:

– У нас в Думе церкви нет, а они синагогу собираются открывать! Это ж надо!

На гневную реакцию был подготовлен мотивированный ответ:

– Церкви нет? Ну и что? Места у нас тут много, можно открыть и церковь, даже нужно; время подходящее.

Фишзону судить, подходящее ли время для открытия церкви или неподходящее – уже одно это подлило бы масла в огонь, и волны скандала побежали бы по городам и весям Российской Федерации. И действительно, Дума кипела и булькала, как уха в ведёрке над рыбацким костерком на речном берегу. Ни одного равнодушного не оказалось; даже те, кто из соображений политкорректности хотели сохранить индифферентный вид, пылали опасным внутренним пламенем и либо испепеляли наглого Фишзона взглядами, либо, напротив, приветствовали в душе открытие синагоги для утверждения демократических принципов. Но таких было мало, как кот наплакал.

Не только народные избранники так чутко отреагировали на предложение Фишзона. Простой народ, это море разливанное, не остался в стороне от парламентского сотрясения – он, напротив, пришёл в большое волнение и налил гневной кровью, как будто Москва златоглавая совершенно неожиданно осталась за его крутыми плечами и выяснилось, что отступать некуда. Так повернулось и случилось, что никакие не злокозненные кавказцы и даже не заокеанские америкосы, а наглый Тарас Фишзон с его синагогой сделался главной болячкой и препятствием к счастливой жизни и светлому будущему.

Кто мог предположить, что невинный политтехнологический ход Лёвы Гуарария вызовет такую суматоху? Сам Лёва планировал посетить молельню лишь единожды – в торжественный час презентации, на которую предполагалось пригласить полдюжины звёзд шоу-бизнеса, кое-кого из правительства, раввинов, попов и обязательно муллу посговорчивей – для полноты картины. Но человек предполагает, а Бог располагает – с этим, в силу горестных обстоятельств, неопровержимым фактом Лёва вынужден был безоговорочно согласиться.

Неприятные сигналы начали поступать примерно за месяц до того, как Фишзона грохнули на глазах у Лёвы. Подмётное письмо, доставленное по домашнему адресу думца, было написано печатными буквами: Гитлер, дескать, вас не дожждёт, но это дело поправимое... И дальше в том же духе: распоясались, мол, чёртово семя, синагоги им не хватает в нашей Думе. И подпись: «Патриот». Ругались и по телефону: «бентли» подождём, самого зарежем, как вы наших деток режете на мацу. Вот такой сакральный получался подход.

Тарас Фишзон на угрозы плевать хотел.

– Настоящий политик должен получать угрозы, – растолковывал он Лёве Гуарарию. – Кому не грозят, тот вообще не политик, а пустое место. Я имею в виду у нас, а не в какой-то там Швейцарии.

– А если этот «патриот» – маньяк? – возражал Лёва. – Сумасшедший? Мало ли их тут ходит...

Но Фишзон сохранял спокойствие:

– С патриотами можно иметь дело, они хотят в политику и выступают не по делу только для пиара. Тут у них и Гитлер сойдёт, и Чингисхан. А вот кто отморозенные – так это националисты, «нацики».

Они-то, может быть, и грохнули Тараса Фишзона. Впрочем, какая теперь разница, кто именно – нацики или не нацики? Пуля, как говаривал один знающий банкир из Махачкалы, ещё ни от одной головы не отскакивала.

Оставшись без работы, Лёва Гурарий затосковал сердцем. Тоска навалилась на него со страху и не отпускала. Он боялся, что заказчики, какие они ни тупые, додумаются, что виноват во всём никакой не Фишзон, а он, Лёва Гурарий, и тогда пуля мимо него не пролетит: зашибут и его. Кто-то, казалось ему, идёт за ним следом неотступно, глядит в метро из-за развёрнутой газеты, подстерегает за углом. Входя в тёмный подъезд своего дома, он озирался: не прилаживается ли кто проскользнуть в дверь вместе с ним.

Скрыться от страха было негде, заслониться – нечем. Заказывают друг друга серьёзные люди, куда более серьёзные, чем хотелось бы. Другой на его месте уже подлетал бы к Тель-Авиву. На исторической родине тихо и мирно отсиживалось, уклоняясь от неприятностей, немало людей, чьи имена на слуху у публики; встречались среди них и знакомцы Лёвы. Тут, однако ж, надо учесть одну существенную подробность: те знакомцы и незнакомцы числились – и не на пустом месте – людьми обеспеченными, в то время как Лёва был гол как сокол. Кроме того, Национальный дом, куда он дважды приезжал с покойным Фишзоном и один раз отдыхать на Красном море по льготной цене, ему пришёлся не по душе: не понравился, и всё тут. Серая пустыня, белая жара. Тут поживи годик-другой – и превратишься в бедуина на верблюде... Такую придирчивость, пусть и нехотя, нам придётся списать со счёта Лёвы Гурария: в конце концов, Израиль нравится далеко не всем подряд, включая сюда и евреев – иначе зачем бы они до сих пор сидели в Америке и в ус не дули? Россия, конечно, не Америка, но и тут далеко не все евреи пропадают в тюрьме, большая часть устроена в жизни и заглядывает в будущее из-под полуприкрытых век, с привычной долей надежды. Лёва относился именно к этой части своего народа, Москва была для него милой родиной и замечательным центром культуры: праздничное открытие салона-магазина «Феррари» по соседству с Кремлём вызывало в нём прилив гордости за свой город. Но и события на исторической родине волновали его куда глубже, чем, скажем, военный переворот в неведомой никому Гвинее-Бисау: еврейская сторона Лёвиной души сохраняла национальное тепло, как термос. И хотя в Израиле свирепствовал хамсин, рвались бомбы и ракеты, а арабы кричали «Аллах акбар!» и размахивали ножами в людных местах – всё это было Лёве не вовсе чужим, а скорее отдалённо двоюродным. И тот неопровержимый факт, что думца Фишзона грохнули в Москве, а совсем не в Иерусалиме, не поменяло существа дела: в тот день, когда пули просвистели мимо Лёвы и поразили Тараса, последнее, что пришло в голову чудом уцелевшему от гибели, так это было поспешное, сломя голову бегство в Израиль. Бежать в Израиль? Нет, спасибо...

Но уже назавтра, после тяжкой ночи – наплывали раз за разом одни и те же видения: киллер в чёрной спортивной курточке, прямя-

тые глушителем удары выстрелов, расплзающаяся по асфальту кровь из продырявленной головы Тараса Фишзона – отступление в израильские финиковые рощи не казалось Лёве совершенно невозможным. Кто это выдумал, что страх – плохой советчик? Очень даже подходящий, если человеку страшно – а Лёве Гурарию ото дня ко дню становилось всё страшней и страшней. Испуганный до смерти человек либо кидается в бой и послушно гибнет, либо прячется в лесу в компании с дикими зверями, либо, смирившись со своей участью, обречённо кивает на судьбу. Но судьба – не увешанный орденами генерал, чтобы безоговорочно подчиняться и гнуть шею. Что это – судьба? Бессмысленное нагромождение случайностей? Или выверенная система взаимных расчетов с Богом: ты – мне, я – тебе? Или золотой катышек под пальцем Главного гончара? Кто ж из нас знает... Но пули, свинцовой парой пролетевшие мимо Лёвы Гурария, – то был, несомненно, многозначительный подарок судьбы, и только круглый дурак после этого не поймёт намёка и полезет подставляться под ствол наёмного убийцы.

Наступили мутные дни, замешанные на страхе и долге: Лёва считал необходимым своё деятельное участие в организации похорон. И дело тут было не только в достойных проводах Тараса Фишзона из нашего в иной мир – хотя и это тоже, но прежде всего, в отводе прочь жутких подозрений. Исчезни Лёва назавтра после убийства думца, все, кому не лень, указали бы на него пальцем: вот преступник! Куда это он убежал? Лови его! Держи!

На похоронах, под траурную музыку, Лёва Гурарий, вертя во все стороны головой, старательно высматривал тайных согляда-таев. Среди могил, невольно располагающих к унылым раздумьям, он принял, наконец, окончательное решение: теперь уже завтра, не откладывая и не медля ни часа, первым же рейсом пуститься в спасительное бегство в край отцов, где, говорят, в незапамятные времена эти родные ему люди, воинственные и суровые, гоняли своих баранов и козлов. Прощание с родиной предполагалось недолгим и необременительным: родителей, проживавших своей жизнью в городе Кисловодске, в известность не ставить – как-нибудь потом, когда всё, даст Бог, утрясётся и успокоится, для знакомых и приятелей прощальную вечеринку не устраивать. Чемоданы не брать, только дорожную сумку. Ключ от двухкомнатной квартиры в черкизовской многоэтажке, уходя, положить в карман. И как можно меньше оставлять следов – это главное!

На обратном пути с кладбища, в метро, Лёва читал газету: следствие по делу о дерзком заказном убийстве Тараса Фишзона взято под личный контроль, бригада опытных следователей, приступив к работе, уже очертила круг подозреваемых лиц, имена которых в интересах следствия покамест не подлежат огласке. Читая, Лёва Гурарий усмехался невесело: интересно, а его, Лёвы, имя тоже не подлежит у них огласке? Для тех разбойников, которые заказали ни в чём не повинного Тараса, не нужна никакая огласка: зашибут – и всё...

Поднявшись из-под земли на поверхность, Лёва обнаружил, что на воле зарядил нудный мелкий дождик. Пришлось, прикрыв голову газеткой, бежать через площадь к трамвайной остановке. Там, в ожидании, тесно и угрюмо толпился народ. В этой тесноте он и познакомился с Клавой.

Надо сказать, что по части прекрасного пола Лёва Гурарий не был одержим бесом: есть кто-нибудь под боком – хорошо, нет – будет, наверно. В свои тридцать три года Лёва уже успел однажды обзавестись семьёй – «как все»; брак оказался неудачным, коротким и без детей. А потом девушки время от времени приходили и уходили, и никто из них надолго почему-то не задерживался, несмотря на двухкомнатную квартиру в Черкизово. Иногда, случайно, Лёва Гурарий даже удивлялся самому себе: за девками не гоняется, пьёт не до отключки – что за человек?! Мысли о повторной женитьбе и продолжении рода Гурариев его не беспокоили.

А Клава стояла на остановке, и, как только показалась голова трамвая в пелене секущего дождика, публика инстинктивно подавалась вперёд, к рельсам, чтоб сподручней было хвататься за поручни и лезть в вагон, когда он подойдёт. Качнулся в тесно сбитой толпе и Лёва Гурарий и, невольно прижатый к чьей-то спине, почувствовал низом живота приятную женскую округлость. «Курдюк хороший!» – почти машинально отметил про себя Лёва и вознамерился было изогнуться и для интереса поглядеть, как выглядит обладательница такого хорошего курдюка.

Тут трамвай подкатил. Лёва не успел в толкотне осуществить своё намерение, зато взялся помогать попутчице подняться на высокую ступеньку вагона: поддержал её под локоток, а ладонью мягко упёрся ей в спину и подтолкнул вверх. Она, улыбаясь благодарно и недоумённо, повернула к Лёве Гурарию лицо – как видно, её никто ещё не пропускал вперёд и не подсаживал в трамвай.

Её звали Клавдия, Клава, а фамилия у неё была не ахти: Фёфёлкина. Её гладкое лицо светилось крестьянским земляным здоровьем, выглядела она лет на двадцать с небольшим. Пока ехали, завязался разговор: погода, да трамвай редко ходит, то да сё, тарыбары – сухие амбары... Лёва звучал уверенно, солидно.

– Вы учитель? – не угадала Клава.

Лёва помедлил, а потом негромко, как потайное, сообщил:

– Я в политике.

Встречаются люди, сидящие в дерьме по самые уши или в сливовом повидле. Некоторые считают, что политика ничем не хуже повидла или дерьма, а даже лучше и там тоже можно сидеть и ни в чём себе не отказывать: человек ведь не собака, человек ко всему привыкает. Мне встречались и те, и другие, и третьи, так что я знаю.

– В политике... – несколько потерянно повторила Клава и выкатила свои вишнёвые глаза, опушённые пшеничными ресницами. – В Кремле?

– Нет, зачем же, – опроверг Лёва Гурарий. – Там, рядом... Расскажу как-нибудь, если интересно.

Клава сказала, что да, это будет очень интересно, а покамест доверчиво сообщила Лёве, что она сама с Вышнего Волочка, работает в ОТК на фабрике валяной обуви, а в Москву приехала в отпуск, сегодня вечером уезжает. Где жила в Москве? У подружки, в общежитии. А в Волочке? А в Волочке – за городом, на озере, там у неё садовый участок с избушкой, то есть не избушкой, конечно, а домиком вроде времяночки – тётка умерла, оставила в наследство.

– Там печка есть, – живописала Клава, – стенки тепло держат. И погрёб.

– А что в погребё? – полюбопытствовал Лёва Гуарий.

– Я капусту засолила, огурцы с огорода, – сказала Клава с немело скрытой гордостью. – Картошка, конечно. Редька.

Вышний Волочёк, озеро, редька в погребё. Залечь на дно и не высывываться. Райская жизнь, и уезжать никуда не надо, ни в какую жару.

– Озеро красивое? – спросил Лёва для продолжения разговора. – Комары кусаются?

– А вот приезжайте в гости, – пригласила Клава, – сами увидите... Комаров мало, но есть.

– Тогда чего! – вдруг решился Лёва Гуарий. – Раз комаров мало – поехали! Накупим всякой вкуснятины и прямо сейчас и поедем. А?

Клава деликатно промолчала: не отнекиваться же без всякой причины.

Вышний Волочёк не был для Лёвы пустым звуком. В самом начале 70-х под этим городишком на полпути из Москвы в Ленинград, на берегу озера скрывался от тяжёлой лапы властей дальний родственник Лёвы – то ли двоюродный дядя, то ли троюродный брат, по имени Миша Фридман. То было время гонений на евреев, решивших покинуть дубовую родину социализма и отправиться на родину историческую, в края белой жары, на постоянное жительство. Разгневанные власти прибегли к испытанному методу – «держать и не пущать», и взбунтовавшиеся евреи, склонные к историческим ассоциациям, ввязались в опасную борьбу с Красным фараоном. Лёвин родственник был не последним человеком в этой отчаянной борьбе. Он проводил голодовки протеста, устраивал демонстрации в подходящем для таких целей зале московского телеграфа и, задержанный милицией, угодив в участок, распевал вместе с сотоварищами гимн Исхода: «Фараон, отпусти мой народ!». В смирной семье Гуариев о нём говорили шёпотом; он был антисоветский бунтарь и герой.

Накануне визита в Москву американского президента Ричарда Никсона дюжина беспокойных еврейских заводил, вне зависимости от возраста, получили повестки из военкомата: им предписывалось явиться на призывной пункт для прохождения службы в армии. Разумеется, победоносная советская армия могла бы смело обойтись и без этой дюжины – но фараоновы слуги из комитета госбезопасности подозревали, и не без оснований, что эти бедовые евреи в ходе визита высокого американского гостя намерены митинговать, строить козни и мешать американско-советской дружбе и торжеству мира во всём мире. А так, в военной форме, можно по всем правилам сослать их туда, куда Макар телят не гонял – на Колыму или же на Дальний Восток; пускай чистят там солдатские нужники. И никаких тебе митингов и поганных песен.

Но отважная дюжина и не думала соответствовать замыслу верховного командования и подчиняться приказу. Четверо из призванных демонстративно сожгли на Красной площади повестки, были арестованы за предумышленную порчу государственных документов, осуждены и посажены в тюрьму на семь лет. Один был выловлен около своего дома, забрит и отправлен на два года в заполярный гарнизон, в Тикси, на берег Ледовитого океана. Семь, посоветовавшись, решили податься в нети – скрыться из Москвы

и переждать американо-советское сближение, вплоть до отъезда Никсона, где-нибудь в укромном месте.

Миша Фридман, в чём был, разумно не заходя домой, отправился на вокзал и сел в пригородную электричку. Меняя поезда, автобусы и попутные грузовики, на исходе следующего дня он прибыл в Вышний Волочёк. Он никуда не спешил – куда ему было спешить? Он хотел незаметно, не оставляя следов, ускользнуть из Москвы, где его почти наверняка засекли бы, поймали и отправили в армию, а потом вклеили бы знание военных секретов, несовместимое с выездом за границу, в Израиль. Почему он решил остановиться в Вышнем Волочке, Миша и сам не сумел бы объяснить: может, название ему понравилось. Рядом, рукой подать, копил небо старинный городок Торжок, там тоже мухи со скуки дохли прямо в полёте и падали на головы редких прохожих – но Мишу туда почему-то не тянуло. Еврейский борец укрывается от Фараона в Вышнем Волочке – вот это красиво! Этот Волочёк – самое подходящее место для укрытия: тут, если на центральном перекрёстке приземлится летающее блюдо и из него выйдет инопланетянин, никто не станет волноваться и нервничать; как прилетит иноземец, так и улетит. И всё же Миша Фридман не стал дожидаться космического гостя, а отъехал от города километров на двадцать и в совершеннейшей уже глуши за две бутылки водки устроился на нелегальное проживание в профсоюзный дом отдыха им. Клары Цеткин. Простонародные члены профсоюза пили там горькую круглосуточно, жили по восемь человек в палате и ходили на танцплощадку. Миша тоже ходил, чтоб получше слиться с толпой... Через две недели он вернулся в Москву, прямо с вокзала позвонил в военкомат и сказал, что болел, а теперь выздоровел. Военком не проявил интереса к состоянию его здоровья и справку о болезни не спросил. Никсон уехал, защиту от евреев сняли. Можно было выходить из подполья.

Эта история о нежелательном путешествии дальнего родственника в Вышний Волочёк вошла в анналы семьи Гурариев и сохранилась там как легенда. Старшее поколение не без гордости связывало её с еврейской борьбой, а Лёва видел в мятежном Мише бесстрашного искателя приключений наподобие пирата на деревянной культе.

Очутившись в Вышнем Волочке, Лёва Гурарий, озираясь по сторонам, ощутил волнение души: когда-то здесь скрывался Миша Фридман, а теперь пришло его, Лёвино, время.

– Хорошо у нас тут, правда? – искательно спросила Клава Фёфёлкина и опустила тяжёлый дорожный баул на привокзальную землю – дыхание перевести.

– Очень, – глядя на ряды почерневших кривых изб за чахлыми палисадниками, согласился Лёва.

В автобусе тряслись ещё целый час, пока приехали. Затянувшаяся почти на сутки совместная поездка от Москвы до садового участка на берегу озера самым непонятным, хотя, с другой стороны, совершенно естественным образом сблизила Лёву Гурария с Клавой Фёфёлкиной. До полусмерти перепуганного Лёву и простодыру Клаву с её одноразовыми кавалерами без оглядки потянуло друг к другу; оба хотели опыта, до этих пор неопробованного. А вдруг всё получится хорошо, может же такое случиться? Вряд ли – ну а вдруг?

Домик на озёрном берегу был сколочен и сбит из подручных стройматериалов: побывавших в употреблении досок, разнокалиберных каких-то жердей, старых железнодорожных шпал, ещё не забывших тяжкий ход паровозов. То была бедная времянка, открытая для тихой счастливой жизни.

И была сваренная «в мундирах» картошка из погреба, и политая постным маслицем квашеная капуста в эмалированной миске. И был зельц «Сосновый бор» и килька «Таллиннская пряная». И бутылка «Финляндии», привезённая из столицы, серебряно высилась среди яств на дощатом столе.

И был вечер, и была ночь.

Озеро лежало в ногах дачного домика. С рассветом, к пяти, сонные птицы начинали свои переговоры, а поверхность озера под пробным порывом ветра приходила в зыбкое движение: мелкие волны бежали строем в затылок друг другу и, добежав до берега, ложились в песок. Другой берег, неблизкий, но хорошо различимый, густо зарос сосняком; деревья подступали к самой воде, игольчатые круглые кроны сплетались в чёрный навес. Можно было ожидать появления из чащобы Ивана Сусанина в распахнутом на груди нагольном тулупе или удалого разбойничка в красном зипуне и шапке набекрень.

Но никто не выходил из дикого леса, и это немного успокаивало Лёву Гурария, не без опаски всматривавшегося в русскую природу, окружившую его здесь со всех сторон. Озеро, лес, времянка со счастливой начинкой. Клава Фёфёлкина ещё спала на своём дощатом топчане, а Лёва, поднявшись первым, вышел на волю и, глядя через озеро на лес, вспоминал добрую ночь. Ему не хотелось думать о Москве, да и лень было; жирок лени опушал события последних дней. Новый день родился сейчас на его глазах, день другого времени: не нужно было никуда ехать на такси по чужим делам, не нужно было озиаться по сторонам и прятать лицо за газетой, как будто она могла защитить от пули киллера. Всё это осталось в старом времени, в Москве; а здесь нет ни такси, ни газеты. Озеро здесь есть, лес и времяночка, тёмно-пёстрая, как перепелиное яичко. И славная простецкая Клава с яблочным дыханием, долготерпеливая и почему-то благодарная.

Опираясь о шаткий и волглый после пролетевшего дождика поручень, Лёва Гурарий стоял на хлипком крыльце, как на ходовом мостике яхты, без цели скользящей по озёрной глади. Время утратило для него привычные очертания, оно больше не подразделялось на дни, часы и минуты. Он стоял на мостике, яхта скользила во времени. Время состояло из света и тьмы, различных на взгляд. Лёва Гурарий вдруг ощутил мимолётный порыв снять часы с руки и забросить их в озеро, но потом он отогнал это странное наваждение: ещё чего не хватало!

Заревая прохлада была упоительна, мир пах свежeweыстиранным бельём. Покатались на яхте – и хватит! Пора возвращаться к Клаве.

Жизнь с Клавой во времянке потекла необременительно и легко: день да ночь – сутки прочь. Клава каждое утро уезжала на свою фабрику валенок, работала там в ОТК до шести, а потом возвращалась на озеро. Она несла в хозяйственной сумке белый батон, горо-

ховое пюре растворимое и большую бутылку кока-колы; глобализация, непонятно зачем, накрыла краешком и Вышний Волочёк.

Лёве надоело ежедневно томиться до вечера в ожидании Клавы Фефёлкиной. К философским размышлениям, располагающим, говорят, к одиночеству, он не был склонен, не тянуло его и удариться в запой, хотя мысли об этом иногда посещали его в тесноте временки. Недели через две он устроился помощником истопника в поселковую баню, на малый, но твёрдый оклад. Служебное его занятие состояло в поддержании огня в печи, в кубовой. Поддержание огня – благородное дело, особенно если взглянуть со стороны. Начальник и наставник Лёвы Гурария – главный, выходит дело, истопник – никак своему помощнику не мешал и в его огненную работу не вмешивался. Истопник, если изредка, как месяц из тумана, и появлялся в кубовой, то сразу валился на стоявшую под окном канадежку и принимался храпеть и стонать с такой неодолимой мощью, что ровный гул пламени в печи становился совершенно неслышим. Об увольнении со службы или хотя бы о понижении в должности тут не могло быть и речи: алкоголик приходился родным дядею управляющему районным банно-прачечным объединением, поэтому он мог пить водку беспрепятственно и безостановочно, ни в ком не вызывая порицания. Зависть он вызывал во многих – что правда, то правда.

Так прошло месяца полтора, а то и два. Лёва поддерживал огонь, Клава проверяла валяные сапоги. Конфликтов между ними не случалось, потому что конфликты и ссоры происходят от слов, а Клава со своим Лёвой Гурарием никогда первой не заговаривала, а только отвечала на его вопросы, если он их задавал. Лёва ценил такое тактичное поведение своей подруги; он был счастлив на берегу озера после трудового дня, проведённого в кубовой под артиллерийский храп истопника на его канадежке.

Холода посверкивали уже не за дальними горами. Лето растаяло, как леденец во рту, и ушло. Озеро по утрам приобретало свинцовый оттенок, и со дня на день можно было ждать изморози на привядших и пожелтевших травинках земли. Подмороженный рассвет холодно предупреждал всякую живую тварь о близкой зиме, и только пьяный или безумный человек решился бы бунтовать против заведённого круговорота природы.

В одно из таких утр Лёва узнал, что Клава Фефёлкина беременна.

Эта новость вошла в сердце Лёвы Гурария наподобие пули: такого развития событий во временке он почему-то не предвидел и не ожидал. Грядущее отцовство не укладывалось в его сознании. Всё было кончено. Картина тихой милой жизни, сложившаяся здесь, на берегу озера, рассыпалась в один миг и не подлежала бескровному восстановлению. Только одно оставалось: самому исчезнуть без следа. Спасти.

Закрывая за собой дверь временки, он не оставил Клаве ни знака, ни записки. Клава такая хорошая, она сама всё поймёт.

Назавтра, первым же рейсом, Лёва Гурарий улетел из Москвы в Тель-Авив.

Над Тель-Авивом висела белая жара.

Люблю белую жару над Тель-Авивом.

июнь 2012

Феликс Харман

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ

видишь европа качается делает крен
доллар стареет америка терпит урон
мир изменяется знает куда только хрен
да и у хрена есть множество разных сторон

видимо в этом году не заложится храм
в лондон махнём а быть может в париж или рим
выдался то есть души несравненный байрам
и по возможности в мелкую строчку творим

вот и прошла полоса ужасающих драм
и углубляешься робкий и глупый пингвин
то ль в загогулины собственных кардиограмм
то ль в рассмотрение карты недопитых вин

или рванёшь лет на двадцать на тридцать назад
в мир где почти за бесценюк холодный айран
где распалённые тропики шахерезад
и обнаженные плоти никчемных витрин

где рассчитавши повзводно на враг и на друг
память затеяла эту нелепую нить
где из реестра под дых человеческих наук
всё-таки главную выбрал науку любить

где без претензий к эклектике сиречь молве
жадно вбирал я пронзительный этот замес
даже однажды в судьбе побывал в бричмулле
а бричмулла упирается в кромку небес

так уж сложилось и фишек не будет иных
полноте верить что случай коварен и слеп
это из детских страстей и цепей разрывных
время сложило одну неразрывную цепь

из неоконченных строк и сорвавшихся фраз
из разъедающей лжи и взаправдашних тризн
мнилась считалка про море волнуется раз
а оказалось что море волнуется жизнь

ТЕЛЬ-АВИВ. БУЛЬВАР РОТШИЛЬД

*Сначала намечались торжества,
потом – аресты.
Потом решили совместить.*

Г. Горин

порхание пегаса сменила злоба дня
вопрос цены на мясо нервирует меня
вопрос цены на воду на транспорт и жильё
а также на природу в отсутствии её
скорей беги на площадь почти рабочий класс
пустяк что ты не тощ ведь ты есть народный глас
уж ты его раззявишь уж ты им проорёшь
давай давай товарищ насыпем в пропасть рожь
кто был ничем тот стал им кто не был тот не стал
протестом социальным очистим пьедестал
народной асфиксии священное мердо
покуда нет мессии мы чествуем годо
вот он то нам покажет вот он то нам раздаст
вот он в могучем раже сотрёт различья каст
обветренный как правда доступный как iphone
когда бывает надо всегда приходит он
искрится экспонента раскрученных прикрас
дыхание конвента раззуживает нас
бредёт подворьем скотным брюнет блондин шатен
и правит в подворотне машинку гильотен

Марк Зайчик

ЧТО СЛЫШНО В ВОЛОЖИНЕ?

Мой отец, царствие ему небесное, в молодом возрасте, но при Советской власти закончил Воложинскую ешиву. Очень гордился этим фактом всю жизнь. Весной семьдесят третьего года отправляли из СССР всякие бумаги и документы, которые нельзя было взять с собой в Израиль. Документы можно было сдать в голландское посольство, которое выполняло тогда роль посредника с еврейской страной. Мы с отцом отстояли очередь, и потом меня запустили в кабинет консула-голландца. Отец остался в коридоре ждать результата. Так получилось. Со мной была папка юношеских рассказов, которые отпечатала девушка-машинистка за два рубля в двух экземплярах. Еще была пожелтевшая бумага об окончании моим отцом Воложинской иешивы и еще какие-то свидетельства. Отец сказал, что надо внушить консулу важность его бумаги из Воложина. Он положил ее между картонками и закрепил картонки скрепками.

Вместе с консулом, высоким человеком с хорошим европейским лицом, сидела девушка-переводчица, очень симпатичная, пластичная, породистая. Светило апрельское солнце, окно было закрашено текущей откуда-то сверху водой. Голландец по-русски понимал, но присутствие переводчицы необходимо, это было всем понятно. Держава, контора, никто веников не вяжет, как тогда говорили. Я передал голландцу свою папку, продемонстрировав ее содержимое. Он пролистал несколько страниц и сказал «да», передав переводчице на проверку. Потом дошла очередь до документов. Все прошло. Переводчица улыбалась своей лучшей женской улыбкой мне, человеку без советского гражданства, то есть почти уже и не человеку. Этой ее улыбкой я горжусь до сих пор. На мне была выходная белая рубашка и галстук, который повязал сосед в Питере, лихой, но добрый выпивающий человек.

«А это документ об окончании моим отцом религиозного училища в Белоруссии лет сорок тому назад», — сказал я консулу и передал ему картонку с «асмахтой», так это отец называл. Консул посмотрел картонку, зачем-то передал ее переводчице, и та внимательно прочитала содержание отцовской бумаги. «А почему он сам не зашел ведь он здесь с вами?» — спросил консул мельком. «Он не слишком коммуникабелен, ему трудно общение с важными людьми», — ответил я за отца. Переводчица засмеялась. Короче, взял голландец бумаги, и все пришло в Израиль. Через три месяца, в августе, совершенно не ощущая жары, я все получил в Тель-Авиве в беленом бараке государственного учреждения. И воложинский документ тоже дошел, чему отец был очень рад.

Он прожил в еврейской столице еще двадцать счастливых лет. В конце он сильно сдал, суровый уступчивый человек, но все помнил, молился Богу, каждый день читал с друзьями «а блат Гиморе», жил как умел. Один математик, знаменитый ученый, который

занимался вместе с отцом Талмудом, случайно встреченный у знакомых, сказал мне: «Ваш папа все помнит наизусть, это невероятно, гордитесь им». Я ответил, что горжусь отцом, что его жизнь непростая очень. Математик посмотрел на меня странным, отстраненным взглядом постороннего, и больше мы с ним не говорили. Он показался мне гордецом; по слухам, ему было чем гордиться в своей жизни.

Году в девяносто втором отец начал приставать ко мне с просьбой: «Устрой мне встречу с Пересом, мне очень надо с ним поговорить». Шимона Переса он не слишком почитал, считая его таким-то и таким-то, хотя отдавал должное его происхождению.

«Ихус, – говорил он, – очень важно». Ихус – это происхождение человека, его родственники, достойные уважаемые люди, ихус. Родственники как бы дают человеку удостоверение личности. Отец был человеком определенных понятий и взглядов, которые было невозможно изменить, конечно. Никто с ним не справился, никто не смог, не думаю, что это так уж хорошо. А надо сказать, что дед Шимона Переса (его фамилия была Перский) и был директором той самой Воложинской ешивы, в которой учился мой отец. Отец говорил, что этот Перский был большой человек, умница и знаток Книги. «А внучок-то что?» – спрашивал я отца раздраженно, и он пожимал плечами и замолкал. Мой вопрос сказался на его понимании мира.

Потом выяснилось, что отец немного ошибался с родством Перского и Переса, но его заблуждение было устойчивым. А сам этот Шимон Перес, если кто забыл, был политическим деятелем в этом новом Израиле в конце двадцатого – начале двадцать первого веков, для тех повторю, кто не в курсе. Он не оказал большого влияния на эту страну, наверное, к счастью, на ее жизнь. А может быть, я и не прав, и он на новый Израиль повлиял, кто знает? Но вот отцу моему он был важен, а уж на мою жизнь он влияние оказал большое. За что ему благодарность и премия – вот этот самый рассказ.

Так вот, отец... Он требовал встречи с этим самым Пересом, большим израильским начальником; все годы он был начальником, этот крепкий мужчина с бугристым лбом. «Ну какой Перес, папа? Ну где я его тебе возьму?» – говорил я отцу. А он повторял, что необходимо встретиться с ним минут на пять-восемь, и все. «Я его не утомлю», – говорил отец кротко. Я грустил от этого. Говорил маме, что отец-то уже не тот совсем. Мама отвечала, что ничего не поделаешь, возраст.

Потом все выяснилось неожиданно. В один из дней отец расслабился и слушал русские новости по своему транзисторному синему радиоприемнику, который стоил два медных гроша. Говорила несравненная рыжеволосая Илана Раве, шикарная светская дама. Казалось, она пела свою рижскую соловьиную песню. Когда новости закончились и никого эти новости не обрадовали, отец сказал: «Видно, мне уже не встретиться с Шимоном Пересом, а жаль». «Да зачем тебе этот Перес сдался, ответь уже, папа», – спросил я. И тогда отец посмотрел на меня мельком и сказал: «Прочитал в газете, что он ездил в Белоруссию, был в гостях в Воложине». Я смотрел на него, он был необычно расслаблен.

«Хочу спросить у Шимона, что слышно в Воложине», – сказал на идише отец нежно.

К чему эта история? А вот к чему. Я сидел в компании своих товарищей. Нас было несколько человек. Умеренно выпивали и беседовали о многом, в том числе и о Дмитриии Быкове, есть такой персонаж в Москве. Как уверенно говорит мой иностранный товарищ, «Быков обладает грандиозным талантом». Иногда я с ним соглашаюсь, с его словами, потому что он очень умен и потому прав даже тогда, когда не прав. Он все видит насквозь своими пронзительными семитскими глазами, кажется, что это иногда мешает ему. Слишком много понимать про жизнь и ее законы тоже, знаете ли, нагрузка. Другой мой товарищ лечил в это время компрессами плечо, заболевшее от компьютерной работы. Седые волосы украшали его удивленное подвижное лицо гуляющего франта, человека с известным будущим. Он был самостоятелен, склонен сегодня к иронии и к отрицательным эмоциям, которые, преобладая, изменяют его к худшему. Но все это под воздействием неумеренного употребления спиртного меняло лицо моего товарища к лучшему.

Стоит сказать, что этот Быков, про которого мой иностранный товарищ сказал, что он человек грандиозного таланта, меня не интересовал. Ну талант и талант. Глаза у него блестят, как у веселого, возбужденного мыша. Мой иностранный товарищ был склонен к некоторым преувеличениям. Быков однажды в Иерусалиме на книжной ярмарке с высоты своего дарования сказал, что создание Израиля является семантической, что ли, ошибкой, которая трудно исправима. И еще что-то сказал подобное, обругал кого-то, оскорбил даже. Что, почему он высказался так, понять было невозможно, во всяком случае, я этого не понимал. Никто у него, у этого Быкова, не спрашивал. Ну, сказал и сказал, бывает, в конце концов. Мой товарищ высказал тогда предположение, что этот Быков не слишком далекий человек, верхогляд и прочее. Обругал его, короче. Быков этот, полный человек с блестящими выпуклыми глазами сам был семитом. Может быть, он так сказал в Иерусалиме поэтому? Не знаю, все может быть, я ему что, судья, что ли, этому Быкову? На всех сил-то и нет, на все таланты, на всех поклонников этих талантов. А судьи все – в Иерусалиме, как мы знаем.

Много лет назад, когда я работал грузчиком на хлебозаводе в Питере, мне кричал во дворе на легком морозе невысокий очень веселый парень из нашей бригады, которого звали Леха Гусев: «Марик, а Марик, поди сюда, здесь земляк твой, Файнштейн фамилия, иди поговори». И я помню, как мне было не по себе от этой фамилии, как я смущался высокого голоса Лехи, проклинал его и прочее: «Ну что ты орешь, мудило, нажрался в середине дня и орешь». Может быть, я из-за этого смущения и уехал из России, кто знает...

Присутствовала в комнате помимо меня и двух моих товарищей и особая женщина, прелестная, опасная, такая все знающая про компьютеры и другие подобные приборы, в совершенстве владеющая этими таинственными кнопками, которые создают виртуальный, несколько странный мир, в котором удобно живет такое

большое количество людей. Живут, и ничего себе, никто им и не нужен, как кажется со стороны. Всегда можно исправить ситуацию, нажав соседнюю кнопку, ведь так?! Или нет?

Нажал, и люди стали счастливее, умнее, добрее и здоровее, такая компьютерная чудесная иллюзия.

Я думал об этой женщине, что она именно такая, московская нежная специалистка с компьютером и GPS в одной руке и с телефонами разных систем в другой, свободно беседующая с Гонолулу и Вьетнамом, как с Петах-Тиквой и Хайфой, понимает этот мир как он есть на самом деле, без прикрас, как писали советские публицисты.

Хайфа здесь, конечно, ни при чем. Но все-таки есть такой город на севере страны, с некоторыми людьми, населяющими его. Фамилия у этой женщины была как у известного в Израиле иностранного футболиста, сурового красавца, большого мастера в центральной области защиты. Она сказала, что никакого отношения к футболисту не имеет, что жаль. «Сейчас у меня другая фамилия, всё мужья мои, мужья, но девичья моя фамилия очень странная, происходит от названия белорусского местечка, вы его не знаете, а там была большая и знаменитая на весь еврейский мир ешива, это далеко от вас», – сказала она вьедливым голосом любительницы виртуальной жизни. «Послушайте, уж не о городке ли Воложин вы говорите, уважаемая?» – спросил я, сразу почему-то сообразив, как бы меня озарило. Женщина кивнула. «Я никогда там не была», – призналась она. «Я тоже никогда там не был, но это не значит ничего, как говорил мой папа, а что слышно в Воложине, кстати, вы не знаете?» – спросил я. Она не знала. Было бы удивительно, если бы она еще и это знала, кроме управления навигатором и вычисления нужного алгоритма. Но хоть помнила про этот штетл, хоть могла произнести его название. И то хлеб, как выражались некоторые.

А вы говорите компьютеры, мобильные телефоны, виртуальная действительность и книжка Набокова «Полита» большими буквами на планшетном экране в авторском переводе на русский язык. Все это чудно, конечно. Мы за прогресс и мир во всем мире всей душой, мы за развитие электронных связей и компьютерной техники, мы за компьютерные вирусы, пожирающие зло, мы за Стива Джобса, в известном смысле, он всегда с нами, этот странный небритый энергичный человек без страха и упрека. Но чего это все стоит, между нами, когда еще есть Воложин и память о нем, а? Скажите.

ПЛОЩАДЬ ГОЛЛАНДИИ

Никольский

НАТЮРМОРТ, ПЕЙЗАЖ...

* * *

Сяду в кафе сбоку, буду считать женщин и загибать пальцы,
всё хорошо, только женщин вокруг много, пальцев, увы, меньше,
можно считать в столбик или сменить топик,

славные здесь цацы...

Можно запить пивом, чтобы в костях кальций...

или пойти к гейше.

Буду писать письма, и назовусь Стивом, и кулаки стисну,
стану ругать власти и говорить «здрасьте»...

Кто это был Пельше?

Верно, был всех краше! Как он потом умер? Что-то я всё кисну...

Надо включить ящик и поискать юмор или купить соку...

Или скажу «сорри»... или пойду к морю, сяду в кафе сбоку...

* * *

Выходят охотиться за подругами,
улыбаются лицами угреватыми,
глядят глубоко посаженными и выпуклыми,
идут с напряжёнными агрегатами.

Не продохнуть от ругани.

Они не хотят, у которых выплаканы,
и таких, у которых плоские,
им нужны милосские, полногрудые,
с выкупленной квартирою и с гримаскою,
плечи с полоской незагорелою,
дебелые, как молочницы амстердамские...

Ночью киоски встают шпалерою
и скрывают от глаз, как они орудуют
за рекламами табачными, горнолыжными...

Думу думают только-вчера-подстриженными –
что одни лишь красотки спасают от горя в старости,
и чем сочнее они, чем поджаристей,
чем упорнее защищаются...

Настойчивей наводнения или овода...

С пойманными подругами белокожими,
с грузом, с добычею возвращаются
и сами стараются быть похожими
на томакруза из грима и целлулоида.

* * *

Он думает, что, упрятав в сейф и запомнив код,
вещь потом можно продать или завещать,
что, за язык засев и потратив год,
на нём можно заверещать.
Он думает, если надеть часы – узнаешь, который час,
что амфетамин победит печаль,
что склонить весы может любой из нас
(он нас, видимо, не встречал).
Он думает, что может женщиной обладать,
хотя его волосы начали облетать
и кожа стала приобретать
бледный оттенок старости и бессилья,
он говорит, что с собой в состоянии совладать
(а самого всегда пустяки бесили).
Говорит, что один и пять будет ровно шесть,
что вместо Карпат можно запросто ехать в Крым,
что можно выпить стакан воды, не утратив честь,
говорит, говорят (а мы так не говорим).
Он верит, что столица Америки – Вашингтон,
что в кармане есть у него для метро жетон,
он едет в метро, не жалея о прожитом.

НОВЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ДАЛЬНОЗОРКИХ

Наденешь очки, увидишь лоснящийся матерьял,
и когда это твид свои качества потерял?
Раньше пиджак отворял, теперь закрывает двери,
даже если ты при галстукe и портфеле.
(И когда это ты свои качества потерял?
Раньше за рыжей приударял
и за блондинкой тоже приударял.)
Наденешь очки, увидишь взаправду и наяву
снящийся лист берёзовый, прилепленный к рукаву,
тёмные волосы, пот и седые корни,
глаза, которые заботятся о прокорме,
у еле держащейся на плаву.
Ты увидишь пластик, розовый, как коралл,
который по бросовой какие-то проходимцы...
А ты думал, что это и есть коралл,
что это и есть квартира, жена, роман,
настоящие и дорогие, джинсы,
что ты в результате всё-таки дохромал –
а это были просто плохие линзы.

Хочешь нарисовать натюрморт, пейзаж,
но всегда выходит автопортрет
человека, кому необходим массаж,
кто недостаточно вылечен и прогрет
грелкой и кто ведет
список болезней, задолженностей, обид,
кто хочет счастья, любимую, антидот,
аспирин... кто на публике пыжится и сопит,
кто дома опять будет скулить и нить,
соберет воедино мысли, а получится автомат,
пулемет, аммонит, фейерверк, парад...
Кто превращает стихотворенье в ряд
существительных и теряет нить.

Пока держащий штурвал их вояжа не оборвал –
дрожащие пассажиры спускаются на бульвар,
чтобы свет их пощекотал и пообливал,
снабдил витамином D.

После сидят на скамье, на пристани, на воде
и едят салат с витамином E,
звонят семье, планируют побывать,
где никто ещё не бывал,
планируют выпивать,
как мало кто выпивал.

Ну и пусть сидят, зеленеют, как хлорофилл,
слушают «Хорошо темперированный клавир»,
пусть мечтают о десятичасовом спанье,
пусть говорят, что кефир желудок оздоровил,
пока никто их не подловил на чуши и на вранье,
покуда главный из заправил им счета не предъявил.

Жить одному (одной) в абсолютно пустом (пустой)
доме (квартире).
– А если вдвоём? – Эка куда хватили...
К небу глаза подниму, там голубой настой, там голубая...
Любой (любая), если может – скажет: «Постой, постой...»
Однако необходимо именно с той (именно с тем)...
Но столько рвов и валов (столько канав и стен),

что он (она) живёт (живёт)
не тут и не здесь.
К тому же болит спина (болит пищевод),
вот и вся история (и рассказ этот тоже – весь).

ПОРТРЕТ АГНЕССЫ СОРЕЛЬ КИСТИ ФУКЕ

Агнесса Сорель умерла, и король стремительно постарел,
посерел лицом, замок Лош отсырел от слёз,
форель не плещет в ручье возле чайных роз.
А народ ещё до её рождения озверел,
отбился от пастырей, и ему что протоиерей,
что поганый жид – безразлично. Ему скорей
за едой, а потом на хоккей или на футбол,
у народа дела и дарвиновский отбор.
Народ живёт и живёт, хоть не корми его или режь,
чесет живот и плешь.
У него высокий и низкий гемоглобин,
карабинеры ищут гашиш у него в бачке,
он у работодателя на крючке,
и глаза народа красные, как рубин.
Агнесса Сорель – это женщина с голою левой грудью,
её отравили ртутью,
некрасивые женщины до сих пор её вспоминают с жутью.
Она была мастерица выкидывать номера,
теперь она умерла.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО

Их головы бриты, как у бритоголовых.
У них повара воруют еду в столовых
и приезжают домой с большою
сумкой, заполненной лапшой.
Их служебных собак зовут Шариком или Рексом,
в праздник солдат поливают водой святою,
а еще они то называют сексом,
за что у нас наказывают статью.

Они возвращаются – нету вполне здоровых,
выделяются между парней дворовых
не тем, что стреляли и убивали,
а тем, что в супере не бывали,
Их теперь обманет любой мошенник,

Медаль – медалью, а вкусного не едали,
не крутили по выходным педали
и романов не читали и не крутили,
были сосредоточены на тротиле,
на патронах и на мишенях,
на вещах, которые вводят в ступор
нас, свободно ходящих в супер.

* * *

Здесь почти никого заточкой не протыкают
и жизнь человека через куртку не протекает,
а, выпавшись после вчерашней дури,
вчерашней бури,
выживший стучит по клавиатуре
и, выходные свои оплавав,
подготавливает презентации (или как их?).
И я свое тело к этой пристани пришвартую,
к пристани спокойной и не искрящей,
ежедневной, субботней, потом воскресной.
Где держать сигару? В руке? Во рту ли?
Объясните, я не курящий...
Не курящий и сам не местный.

ЭНИГМА

Тот, кто, желая изменить сюжет,
в оранжевый садится EasyJet,
чья жизнь как мёд,
кто никогда не ел гнилой ботвы
и не сбегал в Израиль от братвы –
тот не поймёт!

И тот, кто голодал и не летал,
кто (подтверждая Марксов «Капитал»)
был необут.
Перед любым тянувшийся во фронт,
тот, чья диета – это лиха фунт
и соли пуд –

хотя б и был он мудрым, как змея,
он ничего
не разберёт: ведь это жизнь моя,
а не его.

ДОРОГА НА ХЕВРОН

Илья Беркович

РАДУГА

Моей дочери Маше

*Памяти Владимира Шишкина, из восьми
текстов которого выросла эта повесть*

ПАПКА

1

Самолет прибывает шипя, автобус прибывает шипя, спросонья кажется, что идет проливной дождь, а это шипят машины на междугороднем шоссе, и рассвет прибывает, как холодная вода в широком сухом русле.

Рассвет приходит сбоку, заполняя пустоты между широкими, неподвижными листьями кленов. Рассвет медленно проявляет предметы: к десяти становится ясно, что огромная переполненная листьями сумка у самого крыльца не сумка, а высокий пенёк.

Газон между деревьями толсто, шероховато покрыт цветными листьями, черными и гладкими остались только стволы и бугорки земли вокруг стволов.

Козлевич со скрипом проворачивает толстый белый шпингалет, открывает форточку и высовывает голову наружу. Какая непривычно огромная, забытая разница между улицей и домом! Козлевич не просто смотрит, он слушает, вдыхает, вспоминает.

Его блестящая, окруженная рыжеватыми волосами лысина вполне вписывается в пейзаж. Так и полагается местному, пусть даже долго отсутствовавшему существу. Козлевич часто думал о результатах мимикрии по дороге на работу, за рулем, глядя на сбитых машинами зверьков, лежащих по утрам на обочине. Не всегда успеваешь заметить, кто это: лисица, горная куница или дикая собака, но всегда удивляешься, насколько шерстка мертвого зверька неотличима по цвету от колючих кустов, жухлой травы и листьев. И думаешь: «Что, сынку, помогла тебе твоя мимикрия?» Козлевич всю жизнь мечтал не выделяться и был бы рад узнать, что ему это наконец удалось.

Вчера вечером он прилетел в родной город, чтобы подписать договор на издание книги о своей юности.

2

«Если бы люди рождались взрослыми и грамотными, — думал Козлевич, — от напора впечатлений они сразу становились бы писателями». Самого его усадила за писательский стол яркость новой страны. Яркость света, отраженного от белого камня стен. Профили старух — как профили гор. Горки шафрана и перца — как

профили старух. Жесткая мачтовость пальм и каменные палубы узких долин. Салаты в витрине закуской – как клавиши цветового рояля. Козлевич не мог всего этого вместить, а высказать было некому. Кому выскажешь? Братьев-эмигрантов не интересовало то, чем они сами были оглушены и переполнены. Их встречи за водкой «Голд» (напоминание то ли о Голде Меир, то ли о золоте; ведь не о голоде же?!) походили на встречи барабанщиков. Все барабанили одновременно, каждый в своем ритме, в основном об унижениях. Беспорядочный шум прерывался тостом: «Ну, давайте!». А заграничные русские друзья и родственники в ответ на описания минеральных прудов и рассказы о судьбах курдских трактористов писали: «Держись, Вадик! Жизнь – она полосатая! Правильно ты уехал. У нас тут вообще полный беспредел!»

И Козлевич, поняв, что слушателей нет и не будет, поневоле начал свои впечатления записывать, и не просто так, а в виде прозы. Одновременно он решил (по журналам) проверить, занимаются ли здешние русские писатели тем, чем пытается заниматься он.

Журнал хайфских старожилов наполняла в основном публицистика. Тут было много исконно русских рассуждений о том, что лучше, пена или дом, много разумной и обоснованной критики в адрес Солнечной системы и предложений о том, как ее реорганизовать. Козлевич скоро понял, что эмиграция консервирует язык и образ мысли. Судя по статьям, публицисты приехали из России во времена Народной воли, позиции которой они теперь мягко пересматривали. Поэты и прозаики, из номера в номер одни и те же, скромно теснились в этом издании, как на балкончике.

Иерусалимский журнал переполняли именно литераторы. Число их было огромно: двадцать-тридцать новых в каждом выпуске. Плюс имена, известные Козлевичу еще по «Юности» и «Дружбе Народов».

Писателей приехала добрая сотня тысяч. Козлевич с болью почувствовал, что даже если его напечатают, публикация при таком раскладе – не рождение, а похороны, когда произведение с горящей свечкой имени пускают по рассветной реке, и через минуту даже сам стоящий на берегу автор уже не отличит своей повести от других плывущих по реке гробов с мерцающими огоньками имен. Кого же он удивит, кто его заметит, если все приехавшие из России – писатели?

Тут Козлевич понял, что он, оказывается, хочет удивить мир. Ну нет, сказал он себе. Я инженер, взрослый человек. К чему мне уродовать свое гладкое, довольное лицо прыщами подростковых амбиций? Просто у меня новое хобби – писательство. Буду писать, как собирают спичечные коробки или играют на баяне турецкий марш. Хобби... Наивный Козлевич не знал, что за марку убивают, что любитель, терзающий баян, слышит не хриплые, рваные стоны несчастного инструмента, а сладостную, слитную мелодию. Искусством невозможно заниматься без амбиций. Мыслеобраз, дающий толчок, кажется гениальным, совершенным, единственным, как камень или ракушка сквозь слой морской воды – иначе нет смысла нырять, вытаскивать, мучиться с обработкой. Главная амбиция и есть глупая вера в то, что выйдет как у Гоголя с Шопеном, что вынутый из воды воображения замысел не потеряет переливчатой красоты.

Вчитываясь в эмигрантскую прозу, Козлевич не мог понять, почему авторы описывают не действительность новой страны, по которой поток эмиграции только что протащил их так, что царапины и ушибы еще не зажили, а штампы ситуаций и переживаний, разработанные газетами. Героиня, чтобы спасти мужа-физика, мывшего лестницы, становилась проституткой, а героя убивал террорист. Авторы явно не знали, как быть с неушедшими на панель и неубитыми. Чтобы описать их дальнейшую жизнь, пришлось бы оторваться от себя и взглянуться в беспорядочное, оглушительное, ослепительное вокруг, а это так трудно, да и незачем: газета тебе все расскажет как есть.

И все же, почему бы автору не описать белую, в трещинах, стенку над промышленной раковиной, в которой он мыл посуду, складки на брылястом лице хозяина, который так и не заплатил, и ночной вид из окна квартиры, откуда утром надо было неизвестно куда выметаться с женой и младенцем?

Неожиданно для себя Козлевич нашел единомышленников среди иерусалимских поэтов. Один из них, судя по фотографии – старейшина, лепил стихи из эмигрантских диалогов, уличных и библейских сцен, названий мест, русских имен и еврейских фамилий. Изделия его, похожие на рахат-лукум с орехами, на полупрозрачные витражи, были склеены поэтическим гашишем такой силы, что парили над сероватыми страницами журнала, как зимние облака. Другой, умный, внимательный и точный пейзажный лирик, видел округу до дна. Он то возводил ее бесчисленные подробности в образ закрытой высшей книги с золотым обрезом городского заката, то низводил их до перечисления, донесения, отчета.

Козлевич попытался в прозе проделать то, что его единомышленники делали в поэзии.

3

Яркость новой страны тебя обожгла, скажете вы, так рисуй! При чем тут проза?

Козлевич баловался в институте карандашом и кистью и знал цену своим рисункам: три копейки. Для новых, огромных впечатлений новой жизни нужен был совершенно новый инструмент.

«Через час, – писал Козлевич своим новым инструментом, – солнце финиковой долины бросит на звонкую землю поддон, поставит на этот поддон ногу и будет давить. Я жду тракториста в сторожке на краю поля, за столом в кофейной и земляной пыли. Между электрическим чайником и коробкой армейских бисквитов лежит молитвенник, раскрытый на странице утренних благословений. Все на этой странице, кроме света и тени, выжжено до пустоты. Нужно рано вставать, благодарить за полости тела и за душу. За бисквит. За ложку кофейной пыли, сваренной в голубой пластиковой чашке. Я допью кофе, и приедет трактор, катя за собой огромный, как колеса финикийских колесниц, барабан черных резиновых трубок. В молитвеннике не написано, как просить, чтобы мне дали другую работу. Через три часа соединения рвущихся трубок я устаю, тракторист называет меня ослом, а я не свой, чтобы его бить. Я выхожу на улицу. Солнце заносит ногу. Мимо рас-

паханных черных борозд, мимо сухого русла бреду к кустарнику. Кустарник живет между полем, которое распахали евреи, и шоссе, по которому неслись колесницы филистимлян. В кустарнике, наверное, гадят. В него втоптана тропинка. Иду по тропинке и вижу среди колючих ветвей плотное, чужеродное.

На крошечной полянке стоит, ростом мне по грудь, базальтовый идол. Коренастый, бесполой, с лягушачьими лапками и прикрытыми веками. У подножья его в консервной банке шевелятся крупные муравьи. Я уже знаю, что нельзя просить у идола хорошей судьбы на этой земле. Но я жалею его, чудом уцелевшего. В сторожке, в банке, остались три армейских печенья. Я принесу ему. Выхожу из кустов и вижу трактор. Тракторист сегодня бородатый.

– Ты знаешь, что у вас там, в кустах? – кричу я сквозь рык мотора.

Тракторист хмурится. Он не слышит. Я иду к кустам, жестом зову бородатого, он не верит, что это важно, но тянется по тропинке за мной. Никакого идола на полянке нет. Только огромная черная шина от грузовика и консервная банка. Через зазубренный край банки переползает большой черный муравей».

4

На последней странице журнала чернел электронный адрес редакции, но для Козлевича это было как сложить из листов с рассказами кораблики и пустить их в водосточную трубу.

С текстами в прозрачном пакете Козлевич пришел на презентацию нового номера.

Люди в фойе кучковались, обнимались, высокий седокудрый дядя и женщина с бледным, как бы слепым лицом узнали друг друга и демонстративно не поздоровались.

– Лио-ора пришла, краси-ивая, – протянули сбоку.

Все знали друг друга. Только Козлевич был чужой. Он робко занял место на камчатке, у стены. Ряды затылков перед ним были седыми и лысыми. Козлевич не подумал, как выглядит сзади его собственная голова. Вообще, народ в зале собрался видный, пузатый, по-южному уверенный, с крупными носами, выпуклыми глазами и рельефными морщинами, не было ни липковолосых литбомжей в старых джинсах, ни худых поэтических старушонок.

Вечер напоминал поездку в машине времени, двигавшейся возвратно-поступательно: туда-сюда. Физик и лирик в песне энергичного барда из Беэр-Шевы спорили, что же все-таки первично, материя или дух? Дама в синем костюме, с манерами администратора среднего звена, читала рассказ, который мог бы написать вылеченный антидепрессантами Достоевский.

Пели песни военных лет (дело было под 9 мая). Затем на сцену поднялся рослый человек, представился Андреем и начал рассказывать о недавно умершем своем и журнала друге Володе. Под потолком, над сценой, висели деревянные рамы. Будь Андрей сантиметров на десять выше, его лицо угодило бы в раму. А так рама, или скорее рамка, заслоняла ему подбородок, нос и глаза. Виден был только полуседой чуб. Впрочем, долго говорить Андрею не дали. Маленький человек скоро начал сгонять оратора – и

согнал. Тут Козлевич понял, что это и есть хозяин журнала. Он, а не сидевшая рядом с ним за столом ведущих дама в синем костюме. Козлевич обрадовался: дама внушала ему робость, а маленький человек нравился: он откровенно не заботился о своем виде и достоинстве, а только о том, как идет вечер. И вечер, благодаря его рулю, шел живо и гладко.

Козлевич, однако, искал глазами протекции. Протекция нашлась: у каждого русского еврея есть хоть один знакомый литератор. Козлевич был представлен редактору, который, не чинясь, взял у него пакет.

На следующую презентацию Козлевич пришел уже автором, одним из тридцати «напечатанных». На сцену он не полез, но приободрился и за месяц написал еще несколько коротких рассказов. Рассказы были о виденном и слышанном. О новой округе.

О взрыве, от которого проснулся. Подумал: что за диверсии ночью? Спать! И заснул. Назавтра (был выходной) пошел в торговый центр за хлебом. Вместо единственного в квартале бара чернел горелый пролом. Бар был вырван, как гнилой зуб. Портреты Элвиса Пресли, полка с пыльной бутылкой виски, стойка, за которой причесанный под Элвиса пожилой, до смерти недовольный судьбой юноша в джинсах и кожанке, вздыхая, продавал сосиски и сигареты, исчезли. Над развалинами курились разговоры зевак:

– Люди не хотят работать. Хотят легких денег.

– Взрывал бы сам свой бар. А то нанял солдата, солдат обжегся и все в больнице рассказал.

– Вместо страховки будет сидеть.

Зеваки не понимали, что хозяину бара было все равно. Взорвалась Калифорнийская мечта. Мечта, привезенная им из Калифорнии, вздулась и лопнула в нашем квартале, где никто не подъезжает к бару в открытой красной машине и не заказывает двойной Jack Daniels, а все ходят мимо в шлепанцах, лузгают семечки и покупают билеты спортлото.

Неделю душа мечты висела на месте взорванного бара, а потом расчищенный оштукатуренный пролом заняла фалафельная лавка, сидя перед которой хозяин и бывший таксист Жожо громко играли в кости.

Следующий рассказ звался «Победа управдома»:

– Я знаю только, что у царицы проблемы, – сказала женщина в кофте с широкими рукавами и капюшоном, по самые очки закутанная в белую шаль.

– Причем тут царица? – спросил жилец Натанзон, фотографируя лужу на газоне вокруг прорванной трубы.

– Вы, русские, не понимаете ничего!

– Объясни, может, поймем.

– Если к вечеру в доме не будет воды, царица Суббота окажется в изгнании!

– Заплати, – подступил к женщине управдом, – и к Субботе трубу починят!

– Как я заплачу? Я должна спросить разрешения у мужа, а муж в Шомроне!

– Так позвони мужу!

– Как я позвоню? Я могу только отвечать на звонки. Я заблокировала свой мобильник, чтобы не злословить. Злословие убивает душу.

– Вот тебе мой мобильник!

– Я знаю только одно. Без воды в Субботу я не буду в своем доме царицей. Я буду грязной служанкой...

Потом Козлевич описал ночное купе поезда Лондон – Париж и гневную речь Вовы Раскина над телом в жопу пьяного брата Сени:

– Ты что мне, дворняга, наделал? Я поехал-то в эту Европу, чтобы доказать: если за границу съезжу, значит я уже не совок. А теперь ты, дворняга, при всех нажрался, выходит, опять мы с тобой совки?!

Козлевич направлял лупу на участочки, сегменты действительности. Освещенные его вниманием места и предметы увеличивались, нагревались, казалось, сейчас над ними начнет куриться дымок. После описания места темнели, гасли, становились неинтересными и навсегда сливались с окружающим. Козлевич изучил свой квартал до бродячих собак и кошек, он знал, у кого из соседей что болит, и вплетал в свои описания обрывки их разговоров, а все-таки чувствовал, что знает недостаточно, извне. Недаром он назвал свой цикл «Вижу из окна». Козлевич стал задумываться: «А что я, собственно, знаю изнутри?»

И, сняв ботинки, он вошел сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс в реку прежней жизни, которая течет в голове каждого эмигранта. Река эта протекает через Уткину заводь, откуда сотрудники уезжали в колхоз, через институтскую курилку, она течет мимо деревянных грибов детского сада. Все слои прежней жизни в ней смешиваются, но дома остаются прежними и люди не стареют. И, ныряя в прошлое, шаря руками по его дну, Козлевич заметил, что вода стала мутной, как разбавленный арак. Он не видел, не помнил подробностей. Их придется придумывать, долепливать. Но если готовых, цельных слоев воспоминаний нет, если тяжелая работа неизбежна, надо выбрать для реставрации главное время, главный слой. Козлевич выбрал раннюю юность. Выбрал, чтобы понять.

И еще: Козлевич подсознательно надеялся, что если он опишет, то есть осветит и согреет родной ленинградский микрорайон, то потом тот остынет, померкнет и оставит, наконец, Козлевича в покое. И Козлевич сможет сосредоточиться на иерусалимском районе, в котором живет сейчас, и перестанет, огибая деревья прошлого, наткаться на фонарные столбы настоящего.

5

Козлевич полез под диван, где в кожаном черном бауле лежали тетради и папки. Просмотрел со стыдом бесполезные для начатого дела юношеские стихи. Почитал свои фальшивые от неловкости дневниковые записи, которые торчали, как чучела, неспособные даже коснуться растопыренными подобиями рук пронзительного воздуха юности. Развязав серые, вялые, как макароны, шнурки, открыл папку из дрянного картона. В папке лежали примерно пятьдесят исписанных чужим почерком листов. Листы эти не были ни

подсунуты Козлевичу под дверь, ни выброшены на берег моря в литровой запечатанной сургучом бутылке, их не прислали в конверте без обратного адреса. Козлевич получил рукопись при совершенно обычных обстоятельствах. Эти записки девятнадцать лет назад в пьяном виде передал Козлевичу друг его юности, Вова Ложкин. Никто никогда не относился всерьез к каракулям желтолицего, к двадцати годам спившегося Вовы, который не знал запятых и часто употреблял сочетание «если б». И Козлевич вроде не относился. Но он девятнадцать лет хранил папку, привез ее в Израиль, и сейчас закрыл усталые от чтения слепой рукописи глаза, и увидел мерцающий, пунктирный очерк будущей повести.

Ложкин писал эссе, реже – сюжетные отрывки о юной жизни. Надо было построить из них связную вещь. Козлевич, по образованию проектировщик мостов и туннелей, не испугался. Какие-то куски он соединил аккуратным мостиком, где-то прорыл туннель.

Многого не хватало. Строилось гораздо сложнее, чем соединялось: Ложкин был мыслитель, Козлевич – всего лишь стилист, а писать приходилось под Ложкина. Ложкин был (якобы) человек из народа. Козлевич, интеллигент и еврей, считал его настоящим, а себя – нет. Видя, что стилизация выходит грубо, Козлевич начал заменять тексты Ложкина своими. Его постройки стали теснить ложкинские, и в готовом виде повесть походила на лондонскую улицу, куда туристов водят смотреть семнадцатый век, хотя домов семнадцатого века осталось пять и их узкие, породистые фасады стиснуты широкими и безликими домами девятнадцатого, как парусники льдами.

Доведя текст до неплохой однородности, Козлевич стал думать, куда бы его пристроить. Ему показалось, что написанное о России лучше в России и печатать.

6

Давно прошли времена, когда голодные российские издатели за двести долларов тискали любую залепуху. Казалось, все тени эмигрантских творцов, бросившиеся в Россию после перестройки, уже успели посидеть на развалинах тех мест, куда их когда-то не пустили. Однако слабое движение еще продолжалось. На Приозерском слете авторской песни бард Сергей Гурништкантор, в джинсах и жилетке с карманами, исполнял, прислонившись к сосне, шуточную песню «Пельмени», написанную им в 73-м году в штате Небраска, а журнал «Нева» тихо возвещал, что он рад представить читателям повесть австралийского писателя Аркадия Женина, начавшего свой путь в ленинградском ЛИТО «Дарование».

Голос Козлевича влился в этот шелест. Помогла двоюродная тетя, редактор «Химиздата». Рассказов Козлевича на израильские темы она не понимала, а вот повесть племянника о ленинградской юности переслала знакомому главреду, о чем удивленный Козлевич узнал из письма, в котором редактор без «здрасьте» и других отживших предисловий предложил подписать договор. Козлевич подписал бы не глядя, но... Нужно было получить согласие Ложкина на публикацию. Иначе Козлевич выходил вором.

Прямо уж вором? Если так – многовато воров среди писателей. Иной как муравей – что ни увидит: былинку ли, одеревеневшую ли

божью коровку, листик какой – все тащит в свою норку. В муравейник мировой литературы. Читаешь потом и обогащаешься: тут тебе и точные науки, и история с философией, и чужие стихи россыпью. Интереснейший дайджест.

Допустим. Но что для писателя главное? Почва. У кого писатель учится? У почвы. А почва ведь вся из бывших камней, из мертвых ящериц, из перегнившей осоки и каши. Выходит, земля – воровка?! Земля – мать наша! А если так – Козлевич не вор, а хранитель. Талант без характера – как боеголовка без ракеты. Только подорвешься. А человек с характером поднимет с пола чужой талантливый набросок, отшлифует, пристроит в печать как свой и скажет мысленно: «Это я на первый раз, чтобы имя сделать, чужое взял, а как сделаю имя – буду печатать только собственное».

Убедительно. Но Козлевич думал, что он – из иного теста. Он уселся перед ящиком шайтана и, запустив руки во всемирную паутину, чихая и брезгливо стряхивая на пол мертвых мух, начал искать Ложкина.

7

Разыскивая Ложкина, Козлевич понял, что:

1. В интернете есть все, кроме того, что ты ищешь.

2. Информация делится на известную всем и неизвестную никому. Нет такого: кто-нибудь да знает. Или знают все, или не знает никто.

Жившие в Питере родители Козлевича наотрез отказались искать Ложкина, с которым их сын тридцать лет назад пил и играл в карты.

Не помогли и виртуальные одноклассники. Школьных товарищей искали в основном жители Торонто и Гамбурга. Ни Любарский из Твери, ни Серов из Буркина-Фасо не могли сообщить о Ложкине ничего. Андрей Простов из Питера ответил: «О ребятах знаю только, что Уланенков вроде опять сидит».

Уланенков, конечно, ведал судьбу Ложкина. Козлевич запросил было базу данных исправительно-трудовых учреждений России, но вовремя сообразил, что, даже если все российские зоны компьютеризованы, Уланенкова, серьезного блатного, к экрану, что наверняка в кабинете начальника, не подтащишь.

Козлевич нашел было Ложкина во сне, где они стояли на улице, у витрины супермаркета, и собирались делать то, что делали всегда – пить. Козлевич видел Ложкина бомжом, а себя – состоятельным иностранцем, но, чтобы не обижать и не раздражать бедного друга, пытался свою обеспеченность скрыть и косил под бедняка.

– По положению я предприниматель, – с униженной улыбкой говорил он.

– А по достатку? – грубо и ревниво спрашивал Ложкин.

– По достатку – люмпен, – врал Козлевич, улыбаясь еще более искательно, после чего Ложкин презрительно отворачивался и уходил.

Во сне Козлевич не смог попросить у Ложкина разрешения опубликовать записки, потому что оба они были безвольными призраками, вроде ангелов, и слова диктовал им хозяин сна.

Козлевич искал и находил Ложкина в памяти: на дневных сеансах индийских фильмов «Санганг» и «Рам и Шиам», на заднем,

горячем от мотора сидении шестьдесят седьмого автобуса, в парадном, это был тот Ложкин, которого он знал, но его нельзя было ни о чем спросить.

Искать информацию о нем было бесполезно, как о белке или лосе.

«Извините, – отвечала телефонная книга Санкт-Петербурга на запрос о Владимире Сергеевиче Ложкине, – такого абонента в базе данных нет».

Оставалось поехать туда, где на кустах, как талый снег, белеют ягоды морозко, где окно пятого этажа почти заслонено кленовой листвой, где на ухабистом пустыре бессрочной стройки стоят деревянные ворота, и попробовать Ложкина встретить. Если же он и Козлевич не слишком разбухли от долгого пребывания в реке времен и узнают друг друга, у Ложкина можно будет спросить, согласен ли он на публикацию их книги.

8

Клены за окном такие высокие, что все в комнате и на улице происходит на фоне веток и листьев. На фоне листьев горит на стекле окна двусветная люстра, между черными ветками краснеет тормозной огонь далекой машины. За последнюю неделю зеленый и коричневый цвета ушли из кленовых крон. На ветках осталась почти чистая матовая желтизна. Бурый, зеленый, коричневый, красный теперь на земле. Глаз ищет в толще опавших листьев направление, долю.

Направление есть у ткани, бумаги, дерева, кожи, у мяса. Есть направление у дождя, горных пород, осмысленной речи, у цветущего луга, у пашни. Козлевич вспомнил, как весной, спускаясь с горы, заметил, что цветы на заросших ступенях склона не просто цветут, а спускаются вместе с ним. Желтые ромашки, белые ромашки, круглые розовые медальончики прерывистыми рядами двигались к подножью. А внизу, между масличных деревьев, цветы сурепки в пояс высотой шли на длинных ходулях своих стеблей вдоль террас, и, пойманный их шествием, окуренный их пылью, Козлевич шел и шел, хрустя, не замечая ни ржавой проволоки, ни упавших штакетин, глядя под ноги, где на фоне черной земли остро белели звезды птицемлечников.

Направление есть у всего. Даже у железа есть доля: направление проката. Кленовые листья на газоне валяются остриями во все стороны, и все же чувствуются в покрытом ими пространстве едва заметные долевыми полосы. И чем четче тени, тем виднее доли лиственного покрова – тонкие тени кленовых стволов.

9

Козлевич открывает замок первой двери, громко отпирает вторую дверь и выходит на лестницу. Они с домом почти ровесники. Дому исполнилось сорок пять. Ступеньки лестницы оплелись. Бетон в середине их протерся, виден темный металл. На втором этаже около белой двери стоят стремянка и велосипед. За дверью звонит телефон. Каждый звонок начинается обычным телефонным и обрывает-

ся в дребезг велосипедного. Кто будет столько ждать? Давно бы положили трубку. Может, это современный вид кукушки? Козлевич останавливается и, наивно радуясь тому, как долго ему осталось жить, считает звонки... На двадцать третьем дребезге становится ясно, что телефон так и будет звонить, и все будущие годы, что он себе насчитал, можно сбросить и спускаться дальше.

Козлевич выходит из парадного, медленно огибает газон и смотрит, как серый голубь шустро взлетает навстречу вялым штопором падающему кленовому листу. Он слушает вопли из окна пятого, что ли, этажа. Забор детского сада, вдоль которого он идет, изгиб этого забора знаком его глазу, как ручка домашнего кресла знакома руке. Над входом все тот же барельеф: гусь, собака, слон и петух. Козлевич вспоминает слова сумасшедшего Шницерова, что люди на этом свете – как дети в детском саду, сидят и ждут, что за ними наконец придут родители и заберут их домой. За детским садом – кварталчик хрущевских пятиэтажек. Деревья во дворе переросли дома и превратили двор в тенистый парк. Вот горка и карусель. За хрущевскими домами должен быть пустырь вечной стройки, за ним – ложкинский дом. Но пустыря нет. Есть газон. На газоне стоит церковь с пятью куполами и широкая, белая, в ограде с воротами, многоэтажка. Дома, где жил Ложкин, нет. Есть жилая башня, ограда, зеленый газон, черный «БМВ» и мужик лет тридцати, который быстро идет к воротам, нервно говоря в мобильник. А дома нет.

Козлевич садится на ближайшую скамейку, достает папку с текстом и читает.

ПОВЕСТЬ

1. По утрам

Только по утрам я еще сохраняю какую-то ясность в голове. Пока я выхожу из дому, еду в автобусе на работу, все видится мне в натуральную величину, я становлюсь наблюдательным, мысль моя работает стремительно и ясно, движения расчетливы, слова взвешенны. Не знаю, отчего так. Видно, есть во мне какой-то чертенок, который любит поспать больше меня, и, пока он не проснулся, все кажется ясным, светлым, понятным. В автобусе, в деловой, спокойной толкотне я, кажется, по одному виду понимаю, какое у кого настроение, о чем думает вон тот молодой человек, вот эта женщина с блестящим обручальным кольцом.

Какое-то детское любопытство вновь просыпается во мне, и я впитываю в себя особенно сильно именно эти первые минуты моего дня. Потом уже, когда проснулся чертенок и день, раскручиваясь, катит к заходу, если я и вспоминаю все, что видел, то только с самим собой на переднем плане. Мне уже неинтересно, как и что было, меня лишь интересует, как я об этом расскажу тому или этому человеку. Меня одолевает забота: а что я сделал, а что я мог бы сделать, а что я еще могу сделать. Я встречаю товарищей по работе, а чертенок уже тут. Расскажи им что-нибудь интересное, покажись таким-то и таким-то.

И я начинаю плясать под его дудку и пляшу под нее весь день.

Вслед за этим чертенком прибывают еще чертенята помельче. Их становится все больше и больше, каждый из них тянет в свою сторону. И я, не зная, что делать, бросаюсь к первому за помощью. Потому что сонм чертенят уже заслонил от меня все, и не к кому обратиться за помощью. И старший чертенок говорит мне: «Выпей, и я наберусь сил и всех прогоню!», и я выпиваю, и чертенок становится чертом и действительно всех прогоняет. Все становится чертовски ясно и просто. Слушай лишь черта, и все.

2. Тонин халат

Парковым рабочим не выдавали спецодежды, только пару рукавиц. Когда меня принимали на работу, мастер сказала директору:

– Пока Тоня работает, ему в бригаде особо делать нечего.

– Ну, – ответил директор, – сколько она может проработать...

Тоня казалась обычной женщиной лет сорока пяти. На работе она носила бежевый брезентовый халат, вышитый крупными крестиками на груди и карманах. Тоня быстро, не прерываясь ни на минуту, гребла листья финскими граблями; когда с ней заговаривали, кивала и поддакивала каждому слову, и лицо ее было лакировано чем-то вроде улыбки. Если бы мне не рассказали, что она больная, я, может, ничего бы и не заметил, но мне рассказали, и я увидел, что Тонин взгляд ни на чем не задерживается, а все как будто соскальзывает с вещи или с лица, на которое Тоня смотрит.

И гребла она уж слишком быстро. А так – тетка как тетка, ходит с Васильевной в пирожковую, я уж подумал: мало ли чего наговаривают, но настал день, когда Тоня прислонила грабли к стволу березы и начала хватать и стряхивать, хватать в воздухе и отбрасывать невидимых и отрывисто говорить, глядя на них. Она ходила по аллее как привязанная: несколько шагов туда – несколько шагов обратно, все быстрее стряхивала невидимых, и сквозь твердое, лакированное радушие ее лица начало проступать другое. Как будто невидимые, несмотря на Тонино сопротивление, прорывались в дом ее головы и уже смотрели из окон.

Васильевна постояла, поглядела на Тоню с грустным пониманием, с каким русские старухи смотрят на пропащих, потрясла чуть заметно головой, прислонила грабли к стволу тополя и пошла в контору.

Тоню забрали, и мне достался ее халат. Халат пришелся мне впору и очень нравился. Вышивка придавала ему что-то алеутское.

Без Тони работы стало больше, но Васильевна почему-то не хотела, чтобы я работал с бригадой, и посылала меня грести листья на границу участка. Наш участок был в самой глубине парка, далеко от проспекта. По утрам в будние дни по аллеям почти никто не ходит. Я греб желтые листья упругими финскими граблями. Заграничное сразу считается у нас лучше советского, возьми хоть финскую колбасу. Все на нее кидаются, а докторская ведь лучше. Набери сучков и хрящей, закопти – вот тебе и финская колбаса. То же с граблями. Финскими граблями, хоть они легкие и красивые, хуже работать, чем нашими дубовыми. Финские скользят и плохо захватывают лист. Невольно делаешь много лишних торопливых

движений. Говорят, физическая работа на свежем воздухе успокаивает, я же, наоборот, все больше и больше впадал от этой гребли в беспокойство. Мысли крутились в голове все быстрее. Если бы прошел какой-нибудь знакомый и своим разговором хоть на десять минут, как за руку, вытащил бы меня из водоворота мыслей, я бы отдохнул, но знакомые не приходили, даже случайные прохожие не проходили мимо меня, а мелькали вдалеке между деревьев и кустов, как движущиеся темные кучки. Только один человек прошел совсем рядом.

Я стоял к нему спиной и обернулся, услышав шорох его шагов.

Прохожий в плаще, шляпе и с портфелем узнал меня и остановился. Это был учитель математики. Когда-то он пришел в нашу школу из математической, которую кончал мой брат. Пришел доказать, что обычные дети могут достичь того же, что отборные.

Обычные дети? Даже в нашем девятом классе были такие типы, как Прохор, Валера и Уланенков, а в восьмом, где математик стал классным руководителем, переросток Тихон из колонии получивал дна школьном материале дружка Силу, как надо жить на зоне, восемь гопников со станции Предпортовой буйно ждали, когда их отпустят в ПТУ, и сирота Гольдин, что-то среднее между обезьяной и черной лилией, то застывал, блестя выпуклым глазом и цыганским волосом, то с хохотом летал по классу, а когда особенно скучал, лез под парту, доставал из портфеля кларнет и резал спертый воздух длинной, тонкой трелью.

Математик восхищался сумасшедшим Гольдиным: «Зато как он играет на рояле! Как он играет на кларнете! Как у него развита речь!» С блатными он установил уважительный нейтралитет и убедил Данцева, вождя предпортовских, что у того математический талант.

В нашем классе математик должен был – и, конечно, не мог – просто преподавать математику. Он задавал нам безумные задачи на три пятерки – одну я почти решил; как-то принес магнитофон и сорок пять минут вместо урока слушал с нами Окуджаву, а потом поднял указательный палец и произнес: «Запомните, дети, это очень важно: „Но из грехов нашей родины вечной не сотворить бы кумира себе“».

Учителя в школе одевались как попало. Только математик всегда белел жестким, с разрезом темного галстука, воротником рубашки, а запонки на его манжетах играли в пыльном луче то тусклым золотом, то красноватым камнем. Он и ругался глубоким своим баритоном необыкновенно: «Вы некультурный, неинтеллигентный человек!» – и смотрел глубоко, как актер. Но взгляд актера выражает роль. Глубокий же взгляд математика был непонятен, как иероглиф. Может, это был взгляд актера, роль которого по ходу пьесы все время меняется? И фразы, если он хотел сказать ученику личное, были не до конца понятны и сильнее действовали, потому что ты пытался их разгадать и невольно запоминал и уважал: непонятное – значит умное...

Рядом с его классом висела стенгазета под названием «Предикат».

Словом, математик все время показывал, что есть нечто более высокое, чем наша обычная жизнь, и хотел, чтобы мы к этому вы-

сокому тянулись. Как-то на вечере толстая Хайкина из параллельного, которая всегда все знала, заявила: «Ваш Ананьич – псих. Он живет один, а нормальный мужик не может без бабы». Никто даже отвечать не стал. При чем тут нормальные мужики? Математик в нашей школе – как запонка с красным камнем в кучке мусора. С другой стороны, как нам дотянуться до его высокой жизни? Не могли же мы слушать Окуджаву и каждый вечер гладить на завтра белые рубашки. А к родине мы и так относились нормально, и никто об ее грехах особо не думал. Мне, как и всем, хотелось ему нравиться, хотелось, чтобы он меня замечал. Я думал: может, начать учить математику? Но математик был приветлив и с теми, кто математику не учил. Было видно, что Прохор для него вычеркнутый, Козлевич – любимый. А я? Есть в сердце моей памяти, рядом с песней «Пенни Лейн» и весенним вечером, когда мы первый раз играли с девками в картошку, две неразгаданные фразы, что математик сказал мне в начале девятого класса. Что за фразы? Да неважно. Важно, что в них была надежда.

Прошло три года. И вот мы встретились. Учитель повернул ко мне свое узкое лицо, не изменив направления тела, сощурил глаза и недовольно спросил:

– Что вы здесь делаете?!

– Работаю.

Он медленным гневным взглядом обвел мои резиновые сапоги, финские грабли у меня в руке, Тонин халат с дикими вышивками и внятно проговорил:

– Очень жаль, что мы не сумели привить вам любовь к умственному труду.

Сказал, вернул лицу направление прерванного движения и пошел восвояси.

Потом мне все хотелось прокрутить время назад, вернуться в наш разговор и объяснить, что я не самый плохой: кто-то моет пробирки, кто-то плавает матросом, Уланенков вообще сидит за грабеж. А по вечерам, когда не пьяный, я пишу! Тут же я себя утешал, дескать, было в этом разговоре и лестное: математик думал, что я способен на большее, чем работать граблями.

Но это потом. А тогда я смотрел, как он уходит по аллее. Газоны, сколько я ни греб, вспухали желтыми листьями. Почти облетевшие деревья гладко чернели. Уходящий математик казался не движущейся кучкой, как остальные прохожие, а одним из деревьев. У него, как у дерева, было направление. Он уходил, высокий, в темном плаще и шляпе, и портфель его не качался при ходьбе, а странно плыл рядом с ним. Математик долго сохранялся на желтом, потом повернул на перекрестную аллею и исчез. А я снял Тонин халат и рукавицы, подхватил грабли и пошел в контору увольняться.

3. Новенький

– Простова, Прохоров, Родзянко, Смулевич, – физичка слегка запнулась на фамилии новенького.

– Козлевич! – крикнул Прохор.

– Прохоров, выйди из класса! Прохоров! Выйди вон из класса! Выйди из класса!

Звонок. Мы вырывались из класса. Прохор ждал в коридоре.

– Козлевич! – окликнул он новенького.

Козлевич улыбнулся.

Занесенная для плюхи страшная, быстрая рука Прохора застыла в воздухе и, секунду помедлив, смазала по затылку проходящего второклассника. Так Прохор дал новичку имя.

Семья Козлевича три раза переезжала из города в город. Козлевич три раза менял школу. Коты, заключенные и дети платят кровью за право жить на новом месте, но Козлевича у нас почему-то не били. Он прижился, как будто учился здесь с первого класса.

И все же Козлевич пришел уже после детства. Он не лазил с нами в дзоты, где в самом глубоком, темном месте – Прохор видел – лежит скелет фашиста. Козлевич не крался мимо огромных чанов заброшенного красильного завода, не забирался на недостроенный двадцатидвухэтажный дом: на крыше нас с Простовым и Уланенковым застал мужик и каждому сбегавшему мимо него по лестнице страшно засветил по затылку.

Козлевич не скользил на плотях по залитому водой котловану за школой. В этом котловане по торчавшей руке нашли тело одной пятиклассницы. Он не карабкался по лифтовой решетке на чердак, замирая от крика соседки: «А вот я твоему отцу расскажу, куда ты лазаешь!»

Его не исключали из пионеров за порнографические открытки.

Козлевич никогда не бывал на Тайной Железной Дороге. Да и те, кто вырос в нашем районе, не бывали. Я никого туда не брал. Я хотел, чтобы это место было только моим. Правда, один раз, когда приехала троюродная сестра из Свердловска, я взял ее с собой.

4. Т. Ж. Д.

Тайная Железная Дорога начинается во дворе, за гаражами, настолько ржавыми и страшными, что непонятно, какие машины в них стоят. На ржавых воротах не видно замков, створки их как будто срослись в одну корявую рыжую поверхность. Из асфальта перед средним гаражом растет и, загибаясь прямо над его крышей, уходит в глубь двора покрытая толстой корой труба.

Это тупик. Но если обойти гаражи справа, среди кустов открывается неширокий проход, нога неожиданно тыкается в шпалу, и ты сначала чувствуешь, а потом видишь рельсы и слышишь под ногой гальку. Или щебень? Щебень.

Шпалы уже поймали тебя, ты идешь в ритме шпал. На них приятно наступать, но они положены слишком часто, расстояние между ними не кратно шагу, это стреноживает. Между шпал насыпаны обломки гранита, их пасмурный цвет молодой, как у гальки на линии прибоа. Поднимаешь голову – уже шоссе выросло справа, за ним – кирпичный забор, за забором – многоэтажный старый завод. Из разбитых стекол верхних этажей поднимается редкий белый пар. А слева – кусты, слева до конца будут кусты. Шоссе совсем пустое, длинный фургон с немецкой надписью на боку стоит у обочины. Через дорогу – одинокий, как белый гриб, двухэтажный дом с полуколоннами. Управление фабрики?

Гравий сменяется мхом, шпалы уходят в мох. Идти легче.

Вот стрелка. Я изо всех сил жму на молоток. Стрелка не поддается.

Я говорю себе, что видел дом с полуколоннами. Здесь была проходная и контора хладокомбината. На путях стояли вагоны, их грузили коробками с фруктовым мороженым.

– У вас на Урале все такие спокойные?

– Нет, не все.

– А фруктовое мороженое у вас есть?

– Есть.

Тайная Железная Дорога – река страны кустов. Кусты осенью пассивнее деревьев. Кусты не говорят золотом. Кусты выступают смутным хором, прячутся друг за друга. Мрачная зелень, жухлая желтизна, побежалость – осенние их цвета.

Опять стрелка. И вдруг – улица. Не улица домов, а улица серых кирпичных заборов, но все же: тротуары, свист черных машин по двухполосному шоссе. Путь по рельсам перекрыт железным ограждением, сами рельсы почти утонули в асфальте, но, перебегая шоссе в легком страхе перед летящими не сбавляя хода стальными призраками, мы остаемся в Тайной Железной Дороге. Только одна реальная вещь есть на улице: собака. Темная собака лаечного типа стоит на тротуаре у рельсов и движется на месте, как привязанная. Откуда она пришла, не с железной же дороги?

– Здесь вообще кто-нибудь ходит?

– Ходят. Живут даже. Вон там, под дальним мостом, матрасы лежат.

Под дальним мостом. На железной дороге, как на воде, расстояние неопределимо. Кусты теперь с обеих сторон, ничего кроме кустов не видно, и не сразу осознаешь звук – звук поезда. Что на железной дороге естественнее стука колес? Это стук колес с пока не видной нам явной железной дороги. Две дороги либо будут параллельны друг другу всегда, либо разойдутся или сольются. Можно об этом узнать, а можно и не узнать: место плоское, кусты справа слились в высокую чашу. Неожиданно из них выступает черный базальтовый полухолм-полуторс – остатки крепостной башни или бык уничтоженного моста.

– Что это?

– Сейчас увидишь.

Мы взбираемся по насыпи и действительно видим. Мы видим явную железную дорогу, закопченные дворцы заводов за ней.

Видим грузовой состав, вагонетки и копры, ржавые вагоны с надписью «Транспортная компания» на боках. Каждая пара вагонных колес стучит на стрелке сдвоенным стуком: тук-тук, здесь-там.

Вагоны идут туда, где Тайная Железная Дорога сливается с явной.

Это место, должно быть, где-то за мостом, но его отсюда не видно.

Видна только освещенная, несмотря на пасмурный день, эстакада и болтающийся под ней провод или трос.

Оттуда дует сырой ветер, и огрызок свечи на камне не хочет разгораться. Я ставлю свечу в ущербину кладки и иду собирать каменные обломки, чтобы построить вокруг свечи заборчик.

Но камней до странного мало. Вокруг высокие сухие кусты малины с мелкими сюрпризами ягод.

Я возвращаюсь. В майонезной баночке горит свеча. На камне, в чашечке термоса что-то темное. Пар.

– Что это?

– Чай с вареньем.

5. Кумир

На берегу ночной реки темно, но не совсем. Бесформенные плакучие ивы видны по трепету листьев. Неподвижно черна в дрожащей от речного ветра колющейся траве дорожка к воде. В свете далекого прожектора торчат колья сломанной беседки на том берегу. Черная тревога между берегами. Самой воды не видно. Видна только борозда на воде от прибрежной коряги. Или от железа, от водоворота, от чего там. Купаться страшно, но мы и не купаться сюда пришли. Горлышко бутылки отсвечивает зеленым. Запах вина, похожий на запах чистого погреба, поднимается, как легкий ветер от невидимой реки. стакан у нас один. Пока вино льется в стакан, не видно, сколько его налито. Поднявшись до краев, вино выпукло блестит. Я выпиваю, как будто глубоко вдыхаю. Ничего трудного. Давай, теперь ты. А через минуту – время уже сжалось – вино опять незримо растет в стакане и блестит. Пустая бутылка поло стучается о натоптанную дорожку. Мы раздеваемся, не чувствуя ветра. Вру, тело как раз чувствует ветер, как кайфово ветер освежает. Мы бросаемся в реку. Это объятие. Каждую секунду мы с течением обнимаем, сжимаем, толкаем друг друга. Плыть не только не страшно. Плыть можно сколько угодно. Руки не устают. Можно доплыть до другого берега, добежать до другой реки, переплыть и ее. Можно побежать на запад и переплыть Двину, Вислу и Рейн. Рвануть на восток и переплыть Амударью, Тигр, Инд и Ганг. Мы вылезаем на берег. Мы ищем одежду.

Я пил вино дома, когда приходили гости. Я отпивал ликер из черной фарфоровой бутылочки. Но это первая бутылка, которую мы с Козлевицем купили сами. Не помню первого поцелуя. А это помню. В Библии сказано: не сотвори себе кумира. Кумир – это эрзац-бог. Бог дает силу, смелость, счастье. Кумир тоже ненадолго может. Ни Джон Леннон, которому поклоняется Козлевич, ни Достоевский, который писал про меня, не кумиры. Они не сделают тебя счастливым, сильным, смелым. А вино на пятнадцать минут сделает. Всегда, когда захочешь. А хотеть ты будешь всегда. Вино – это и есть кумир. Мы сотворили себе кумира. В Библии сказано про вино.

6. Каждый охотник желает знать

Теплым синим днем, который оторвался от будущих летних каникул, растолкал школьные дни и встал в их серый строй, сквозь пыльное стекло в кабинет физики проникла весть: в «Московском» за шестьдесят копеек дадут сорокопятку «Битлз». Весть летала по классу зигзагом. Валера пробурчал ее Родзянко, Родзянко – Простову, Простов – Козлевицу. Я прочел весть в записке, которую, толкнув в плечо, передал мне сзади Простов.

На физике всегда было тихо. Физичка на сорок пять минут погружала нас в вату. Я выключал звук и просто спал с открытыми глазами. Но тут, встрепенувшись от записки, я услышал стук мела и прочел на доске: «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ ГДЕ СИДИТ ФАЗАН».

Я не стал думать, что это означает. Я обернулся к Козлевичу. Это он прислал записку про «Битлз». Мы в классе особо не показывали нашу дружбу, просто весть была слишком важной. Надо где-то взять шестьдесят копеек и после урока лететь в «Московский». Хорошая вещь на прилавке не залежится. Я обернулся к Козлевичу и спросил:

– У тебя есть шестьдесят копеек?

У меня сегодня не было.

– Ложкин! – крикнула физичка. – Встань! Что я написала?

– Каждый охотник желает знать где сидит фазан.

– Что это значит?!

Я молчал.

– Арсюкова! Что я написала?

– Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Формула радуги.

– Не радуги, а спектра! Садись.

После физики мы закинули портфели к Козлевичу и побежали в «Московский» через дюны. Козлевич сжимал в кулаке, в кармане, три монеты по двадцать копеек.

Пустырь между школой и улицей Орджоникидзе завален горами песка и щебня. Никто не огородил песок забором. Его просто навезли и забыли. Осенью песок превращается в грязь, зимой – в заснеженный камень, в скалы, на которые можно карабкаться, а потом спрыгивать с них, опираясь о лед ладонями. В апреле горы опята становятся дюнами.

Мы с Козлевичем шли в «Московский» универмаг через дюны не только потому, что быстрее. Дюны лучше, чем улица, подходили к синему дню, обрывку скорого лета. Из дюн не видно ни школы, ни домов, а только морское небо, особенно если вместе со струйкой песка съедешь с холма или столкнешь друг друга и лежишь на песке, как мы.

– Ну-ка быстро по двадцать копеек!

Львов в дюнах нет, но есть шакалы. Двое стоят над нами. Они, как и мы, в синей школьной форме, только какой-то вытертой, будто они ходили в ней всю жизнь и спали в ней. Не старше нас. Не выше нас. Но они стоят, а мы сидим на песке. И они давят нас, как жука сапогом, своей спокойной, властной, наработанной манерой. Манерой, показывающей их право грабить и требующей огромной, не нашей воли, чтобы начать сопротивляться, чтобы просто встать, а не протянуть им сидя, как протянул Козлевич, две монеты по двадцать копеек.

Ку-ку, «Битлз».

Шакалы скрылись за дюной, а мы сидим. Козлевич встал первый. Отряхнулся.

– Пошли!

– Чего ты отдал-то? – спрашиваю я его, будто сам бы не отдал.

– Вставай, пошли, – тянет меня Козлевич. Он хочет сорокопятку «Битлз». – Возьмем деньги и вернемся!

– Где ты возьмешь-то? В продленку пойдешь, октябрят трясти? Так они тебя сами обтрясут.

– Вставай, пошли к тебе, – Козлевич поднимает меня за руку. – Вдруг твоя мать дома. Попросишь у нее!

Мать и правда еще дома. Уже оделась и нарядилась, собирается в вечернюю смену. Говорит отстраненно:

– Ты ел? Купи докторской, молока, булки, – и протягивает бумажный рубль с оторванным кончиком

Беру бидон (спрячу за скамейкой, скажу, что молока не было). Козлевич ждет на скамейке, внизу, но он не один.

С ним Прохор и Уланенков. Уланенков плюет тягучей слюной на свой окурок. Прохор постукивает костяшками сжатого кулака по доске скамейки. «Битлз» им не нужны, куда идти, пофиг. Танцев нет, драки нет. В «Московский» так в «Московский».

Козлевич хочет идти проспектом, но я тащу всех через дюны. Вдруг шакалы еще там? На песке между холмами – тени. Я кричу:

– Суки, идите сюда быстро! Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!

– Козлевич, – вяло говорит Прохор, – твой б... друг перегрелся.

В дюнах пусто. И в «Московском», в отделе пластинок – пусто. Наверное, про «Битлз» никто не знает. Мы со всех сторон прикрываем Козлевича, когда он дает продавщице чек и говорит почти шепотом, со значением, как пароль:

– «Битлз», пожалуйста.

Пластинка тонкая, синяя, хлипкая.

– Куда пойдём-то?

– Пошли ко мне слушать. Мать уже ушла!

Я опять веду всех через дюны. В дюнах – никого. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В дюнах все понятнее, чем на улице. Есть только тишина и звук. Желтый песок и черная тень. Охотник и фазан. Либо ты трясешь, либо тебя трясут. Ты или отбираешь, или отдаешь. Я не хочу отдавать. Придется всюду ходить с Прохором и Уланенковым. Я не хочу отбирать. Придется хватать друзей за руки, когда они начнут кого-нибудь грабить.

У меня дома все снимают ботинки.

– Прохор, надевай тапки!

Адаптер Сашкиного проигрывателя прыгает, когда мы ставим сорокопятку и скачем по комнате.

– Козлевич, про что они поют?

– Что?! – Козлевич не слышит нас, он слышит только «Битлз».

– Что такое кэнбамилав лав?

– Любовь нельзя купить.

– А кто-то думает, что можно?

Скоро первое мая. Мы пойдем на демонстрацию вчетвером. И в Белый зал пойдем вчетвером. Мы теперь всюду будем ходить вчетвером или впятером, шоблой.

7. Трудоустройство

Я редко бывал в этом кафе. Кафе располагалось в самом центре. Наверное, этим оно и привлекало. Я ведь вырос и жил на окраине, все центровое казалось нам хорошим. Про кафе говори-

ли, что там собирается весь город. Я и подумал: там, где собирается весь город, найдется кто-нибудь, кто сможет мне помочь. Трудно сказать, в чем должна была заключаться эта помощь. Вряд ли то, чего мне не хватало, можно было найти за столиком в кафе. Я, например, нигде не работал и не мог устроиться, но если бы я стал просить стоявших за столиками людей устроить меня на работу, то меня, скорее всего, быстро бы забрали.

Я взял кофе и корзиночку. Здесь наливали коньяк. Но на коньяк у меня не было. Выпить я всегда смогу вечером, а в кафе специально пришел днем.

В длинный узкий зал попадали из предбанника, и каждый входивший с улицы поднимал голову и вглядывался, невольно ища знакомых, а потом либо приветственно махал рукой, либо пристыжено голову опускал. Так сделал и я, хотя какие у меня в центре могли быть знакомые.

Стоя за мраморным столиком, я исподволь оглядывался, пытаюсь отгадать, кто же все эти люди вокруг. Говорили, что здесь встречаются художники, музыканты, поэты, фарцовщики.

Но не станешь же спрашивать, а по костюму можно догадаться не всегда. И эта невозможность узнать, что за знаменитость стоит рядом с тобой с чашкой кофе в руке, усиливала одиночество. В то же время я понимал, зачем сюда приходят те, кто никого здесь не знает: почувствовать себя хоть как-то причастными к важным кругам и просто побыть двадцать минут не такими одинокими: все-таки люди в кафе чуть-чуть ближе друг другу, чем прохожие на Невском.

Полковник рядом со мной допил кофе, надел папаху и двинулся к выходу. Его место заняла женщина в платке, с красным лицом и выпученными глазами.

— Надо давление сбивать, а я кофе пью, — обратилась она к оконному стеклу, — одной тяжелее ждать. Пока внучка была со мной, я легче все переносила. Теперь эта отдала ее в санаторий «Малютка», сидит в своей комнате и курит. Сколько можно курить? Вот ты скажи: нормальная молодая женщина может не работать, ничего не делать, сдать ребенка в санаторий «Малютка», купить огромную меховую шапку, сидеть целыми днями в этой шапке и курить? Я пыталась его знакомить с интеллигентными девочками, но Лесик же другого типа, он человек искусства, интеллект ему не нужен. Ему нужно, чтобы женщина была большая, сладкая. Привел эту, ей еще восемнадцати не было. Теперь он в армии, а она продала все его вещи, купила себе огромную пыжиковую шапку, сидит в этой шапке и курит, как я догадываюсь, не только сигареты. Ты похож на Лесика, только Лесик красивый, у него ноги длинные. И ты какой-то весь красный. Ты что, пьешь? Это большая глупость. Из-за водки я потеряла второго мужа, отличного парня. Работал сменным мастером. Умер у меня на руках от цирроза печени. Лесик тоже иногда выпьет водки с приятелями, придет домой и стонет: «Ой, мама, сейчас умру», а я ему кладу на голову мокрое полотенце и говорю: «Как ты не понимаешь, что у тебя другие гены, другие?!» Теперь он в Венгрии. Еще год остался. Ты поможешь мне донести посылку до почтамта? Ну, пошли. Мне нельзя поднимать: давление. Главное, Лесик храбрый оказался: стрелял там, гранатки кидал. Я тебя могу устроить в фотолaborаторию, лаборантом. У меня

старый товарищ заведующий лабораторией на Кировском заводе. Уметь ничего не надо, всему на месте научат. Я и сына бы туда устроила, но Лесик всегда был дикий кот: либо на ударной установке стучать, либо в такси. Сегодня поговорю с Мишей, а ты завтра подъедешь к восьми прямо в проходную, позвонишь в лабораторию и попросишь Михаила Яковлевича. У него трагедия: единственный сын, десять лет, несвертываемость крови. Все, ты мне помог. Завтра можешь подъехать даже не к восьми, а к полдевятому.

Не забудь: станция метро «Кировский завод».

Я, конечно, не верил ни в какую лабораторию. Любой кадровик, заглянув в мою трудовую, послал бы меня вон, но женщина из кафе так меня загипнотизировала, что назавтра без десяти восемь я подъезжал к нужной станции. Вагон был набит добротнo одетыми людьми, которые если вчера и пили, то только хорошую водку или марочное вино. Лица у всех были в меру сонные и гладкие, если встречалась прыщавая физиономия, то и прыщи были солидные. На «Кировском» двери вагона открылись, и все монолитной струей потекли в сторону эскалатора. Встречный эскалатор был почти пуст. Спускались двое: вохра в шинели, видно, с ночной смены, и старуха-уборщица. Наш поток, в котором не было ни стариков, ни старух, поднялся, толкая двери метро, мы вышли на улицу, но и на улице никто не отделился от строя. Все шагали к подземному переходу. Из подземного перехода было несколько выходов, но строй сытых работников в пальто с меховыми воротниками, в добротных ботинках, пыжиковых шапках и богатых платках неумолимо печатал шаг к пяти высоким дверям проходной. Я осознал строевое эхо наших шагов, понял, что иду со всеми в ногу и уже не могу вырваться. Сейчас меня затянет в этот шатунно-кривошипный механизм – и привет.

В последнюю минуту я заметил, что между выходом из-под земли и заводскими воротами есть полоса тротуара. Я вывернул на нее и минут пять почти бежал не оглядываясь. Потом остановился. Остановился и увидел, что кроме завода в районе есть жизнь. Дома здесь строили пленные немцы – вот и выстроили какую-то полугерманию. Светились окна булочной, на углу стоял человек с овчаркой, а к остановке подъезжал троллейбус, в который я и вскочил.

8

Мы с Козлевичем после школы часто катались на автобусах. Тройка и пятидесятый шли через весь город, с новой окраины на старую, почтенную. На нашей остановке, всего-то третьей по счету, еще можно было занять двойное место. У тебя есть пять копеек? Один из нас бросал в кассу два пятака, другой уже сидел у окна, готовый за свой пятак к просмотру лучшего на свете часового фильма «Город». Фильм был не только объемным. Кадры после двадцати минут начинали пахнуть. От Московских ворот даже зимой, сквозь закрытые окна и жар отопления, разило жженым кофе, в середине Лиговки мыловаренный комбинат пробивал стекло страшным кулаком щелочного смрада, а на Лиговском экваторе, на рельсах, автобус, звякнув, притормаживал, открывая автономную, глубокую область железной дороги, и мы проезжали сквозь запах

поездов, не похожий на запах машин, как не похожа на блестящую финскую куртку тускло-черная железнодорожная шинель.

Проезжая мимо помпезных, с тяжелыми колоннадами, с площадями в виде звезд, сталинских кварталов, мы не видели, а только чувствовали подтекст: Муссолини, стоявшего за Сталиным, и хозяев венецианских палаццо, стоявших за Муссолини. Не дома, казалось, построены здесь вдоль проспекта, а проспект прорублен в толще домов. Все же лишнее снесено и выметено к чертовой матери.

Автобус незаметно пересекал временную границу революции. На Обводном слева виднелся уже тяжелый купол привокзального собора, напротив Фрунзенского универмага – верстовой столб. Площадь Мира, как ее ни переименовывай, оставалась Сенной: местом затрапезным, ареалом современных героев Достоевского, лежалых вещей, сдающих комнаты бабкам и низкорослых исполкомовских слесарей, которые рассказывают, выпив с вами на троих, о светлой мечте получить служебную жилплощадь. Район Московского вокзала, похожий на вора в клубном пиджаке и очках в роговой оправе, казался покрытым пылью.

На Невском все было особое, центровое: акварельные стены домов, прохожие с портфелями, склоняющие головы, полные особым центровым знанием, фонтан, высокие окна пирожковой. Даже шпанята в черных вельветовых клешах и белых клетчатых пиджаках казались не такими, как наша окраинная урла. Именно здесь, на Невском, ранняя весна писала светом на стенах домов: «Бог есть любовь».

Часто приходилось уступать место женщинам и старикам. Уступал обычно Козлевич. Тут просмотр почти кончался. Козлевич висел надо мной, и вместо просмотра шел уже какой-то рваный, из реплик, разговор.

В центре мы никогда не выходили. Но и доехать до кольца, досмотреть фильм до конца почему-то не могли. Мы доезжали до Большого проспекта, но никогда не достигали Гавани.

Мы выходили за три остановки до кольца, там, где еще можно было занять двойное место, и ехали домой.

Автобус бывал иногда набит, иногда полупуст, и разные люди ехали в нем, но нас они совершенно не интересовали. Даже те, к кому нас притискивало. Интересное было только за окном. Мы бы предпочли пустой автобус. Ну, не пустой: пустой, чего доброго, сойдет с маршрута, грубо высадит, вильнет муравьиным задом и унесется в парк. Я бы лично предпочел автобус с двумя-тремя пассажирами. Но даже в набитом автобусе ничего обычно не происходило. Пьяный какой-нибудь бубнит, а все мрачно молчат, или заснул, привалившись к стеклу, и добрый человек его безуспешно трясет, чтобы в ментах не проснулся. Только однажды: проезжали Московские ворота. Вдруг с сиденья, что за нами, раздался голос:

– Ой, смотри, еврейчик!

Голос был женский, пьяноватый. Козлевич застыл. Я обернулся. Сзади сидели две девки. Одна улыбалась, другая сказала:

– Да не ты! Я с еврейчиком хочу поговорить.

– Ой, как я люблю еврейчиков!

Козлевич сидел прямой, как спинка стула, вцепившись обеими руками в железки кресла перед собой.

– Хочу за еврейчика выйти! – продолжала девка. – Хочу пиво разливать!

Автобус был набит. Стоящие над нами покачивались плотной стеной. Их глаза неподвижно блестели. Козлевич вскочил и без всяких «простите, разрешите, выходите на следующей?» стал проминаться сквозь живую стену, зажигая недовольством глаза стиснутых, я за ним, тетка рванула у меня по животу полу своего плаща, щеку резанула молния чьей-то куртки. Как всегда в «Икарусе», открылась только одна створка двери. Мы выпали наружу, как новорожденные жирафы.

Был сухой пасмурный осенний день. Мы шли по Московскому проспекту, мимо витрин.

– С-суки, – говорил Козлевич. Он был в новых вельветовых штанах, но не смотрелся в витрины, а только все со сжатыми кулаками выплевывал: – С-суки!

– Козлевич, – сказал я ему, – что ты так волнуешься? Есть вещи, на которые не стоит обращать внимания. Сколько лысого ни называй лысым, он все равно не станет волосатым!

Мы дошли до Фрунзенской и поехали домой на метро. На автобусе Козлевич не захотел.

9

И в сказках, и в Библии старшему брату все вроде полагается, но ничего не достается, а младшему ничего не полагается, а в результате достается все. Иначе говоря, младший брат всегда у старшего выиграет. Только в нашей семье этого не заметно. Мой старший брат всегда выигрывал, а я всегда проигрывал. Может быть, потому что меня всегда сovali туда, куда и брата. Если бы младшему брату из сказки вместо кота в сапогах отцовская мельница досталась – не много бы он на ней намолот.

Брат пошел авиамодели клеить – и меня отдали авиамодели клеить. Брат на коньках – и я на коньках. Помню только морозный ветер в лицо и как ноги разъезжались. Потом зло стало брать: почему Сашка может, а я – нет. Сашка пошел борьбой заниматься – и я за ним. Ну, в секции я понял, почему брат выигрывает. Сашка хотел победить. А я хотел только, чтобы тренировка поскорей кончилась. Я был не слабее многих, но пару раз на соревнованиях умудрился принести противнику чистую победу, взлетев в воздух и приземлившись прямо на лопатки. Борьбы здесь не было. Противник при первом захвате убеждался, что прием получится, полминуты топтался и дергал, отвлекая внимание, вызывая потерю равновесия – и мгновенно проводил сотнями часов тренировки отработанный бросок.

Сашка так побеждать не умел. Сашка напрягал скулы, вцеплялся в партнера, давил его, гнул, сопел, в конце концов валился вместе с ним на маты, оскалась от напряжения, тянул на свое колено, разгибал его руку, как намертво проржавевший рычаг, и успевал-таки заболевурить – провести болевой прием.

В секции я понял, что нечего мне на Сашкиной дороге делать. Пошел я с тех пор по своей дороге, а брат – по своей. Он без пяти минут кандидат наук, а я выше грузчика не двинулся, теперь во-

обще бутылки собираю. И что же, выходит, он меня лучше? Любой скажет, что лучше. А я сам-то себя, что, хуже его считаю? Да никогда. Почему же я пишу, что я проиграл, а он выиграл? Потому, что приходит папашин друг-доцент, видит меня и говорит:

– Ну что, гегемон, все гегемонишь? Убил ты своего отца!

А иногда я думаю: может, на мне как на младшем лежит заклятие, и пока я его не сниму, ничего у меня не выйдет?

Как-то брат зашел ко мне особенно мрачный, между нашими комнатами уже железная дверь стояла. Брат был в тренировочных штанах и растянутой тельняшке. Он искал выпить.

У меня сидели Прохор и Козлевич. Прохор только что вернулся из магазина.

Я сказал брату:

– Хочешь выпить? Давай поменяемся. Я буду старший брат, а ты младший.

– Ты о...л?!

– Трудно, что ли? Только скажи: я теперь младший брат, а ты – старший. Козлевич с Прохором свидетели. Сразу нальем.

– Тебя заболевурить?!

– Попробуй.

Не прошло и тридцати секунд, как я уже лежу на грязном полу; брат сейчас грамотно проведет болевой прием, и я либо буду хлопать свободной рукой по полу, либо он мне другую руку вынесет из плеча. И вынес бы. Но тут Козлевич бросается на пол. Козлевич кричит Сашке в лицо:

– Пусти его, он пошутил.

Козлевич поднимает меня за руку. Козлевич наливает мне и Сашке, а потом, когда брат уходит, говорит:

– Ты же мне сам объяснял: сколько лысого не называй волосатым, волосатым он не станет.

Так я и остался младшим братом.

10

Мы с Козлевичем после уроков часто катались на автобусе.

Автобус полз по городской спине. Нет, это какая-то вошь выходит. Автобус полз по городской артерии, как кровяной шарик, а мы молчали и вертели головами, слушая, как некто невидимый говорит:

– На лестнице вон того сталинского дома, между пятым и шестым этажами, ты два часа прождешь Ванду, трижды с грохотом остановится лифт на шестом этаже, каждый раз, потоптавшись, ты будешь снова звонить в дверь тридцать шестой квартиры и спрашивать: «Простите, Ванда не пришла?», и когда усмешка Вандиной сестры станет откровенно злорадной, ты, наконец, зайдешь в лифт, нажмешь на кнопку «1» и по дороге вниз в тон запаху с облегчением обоссываешь лифтовую стену, поставив первую в жизни точку.

А здесь, на Алтайской, в военкомате, ты будешь, ежась, выполнять команды и сначала с жуткой неловкостью, а потом с растущим, освобождающим от собственных бед состраданием слушать горькие жалобы врачи: «Ноги на ширине плеч! Господи, как на пластинке все записано! Откройте рот! Каждый день, каждый час одно и то же! Руки в стороны! Кому охота мочить руки в чужой пот!»

Видишь аллею? На этой аллее, работая граблями, ты встретишь своего бывшего учителя математики в черном плаще, и он первый раз заговорит понятно и исчезнет, оставив в воздухе огромный вопросительный знак, какие оставляют кумиры, стоит им заговорить ясным языком.

А вон там, за студгородком, морозной зимой, под Новый год, вы будете играть на танцах в рабочем общежитии рок-н-ролл, а потом тебя пригласит танцевать пьяная мягкая женщина в черном, с размазанной по щекам тушью, и вы будете медленно, молча качаться под песню «Миллион, миллион, миллион алых роз».

Видишь дядьку в пальто с каракулем и парня? Ты и твой мастер с завода «Техприбор». Мастер машет руками: уговаривает не увольняться. Почему-то тебя любит, упрасивает. «Да болей, – говорит, – лечись хоть три месяца! Буду тебе сколько хочешь бюллетеней писать! Осенью третий разряд дадим!»

Но, как щепка, которую несло по весенней реке, зацепило было за подмытый куст и понесло дальше, – ты уже оторвался от этого чистого завода, от странной непьющей бригады и дружелюбного мастера, и несет, несет тебя дальше.

Здесь, на набережной, белой ночью, ты впервые услышишь, что отсюда нужно уезжать.

Твой институт, задний двор. С главного, взрослого входа ходят пить пиво, на главном всегда толпится разодетый народ: взрослые дела, встречи, и почти никто не знает, что на заднем дворе есть качели, на которых, глядя на шумную улицу за высокой оградой, можно спокойно качаться и по-детски бесконечно разговаривать.

В эту мороженицу ты первый раз поведешь дочку и с нежностью увидишь, что любовь к лимонному сиропу передается по наследству.

Завод электробритв. Проработав на конвейере две недели, ты почувствуешь давящее, асфальтовое желание убить и во время профсоюзного собрания, под крики худой работницы: «Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы!», – просто встанешь и навсегда уйдешь.

Хлебозавод. Когда хлебная машина врежется в троллейбус, что-то электрически зашипит, посыпятся стекла и бенгальские огни искр, а из троллейбуса, как из космического корабля, высадятся посланцы судьбы.

Варшавский вокзал. Здесь вы заключите сделку, подтвердив пословицу, что дураки не переводятся.

Белый зал. Танцплощадка. Сюда вы впервые приедете смешанной компанией; выйдя из автобуса, увидите, что окна темны и танцы отменили. Страхи сразу отпустят, и радость от первой поездки с девушками, от первой прогулки вчетвером по парку останется нетронутой.

И вдруг голос молкнет. Остается постукивание автобуса на трамвайных рельсах и люках, скрип его прорезиненной талии на поворотах, стены с колоннами, кроны деревьев, блеск воды. Голос смолк, потому что мы доехали до мест, где не произойдет никаких событий, где с нами не случится ничего и случится самое главное: здесь мы увидим на стене огромные размытые слова весны света, под этой аркой сумрачным августовским днем долго простоим,

укрываясь от ливня и дыша им, глядя из окна автобуса на набережную, подумаем: как, интересно, живут те, кто вырос в домах над водой? Влияет река или нет? Ведь ни ловить рыбу, ни купаться здесь все равно нельзя. И топятся редко, если вообще топятся. Где-то тут я повстречаю и узнаю рыжего в кепке и черном кожаном пальто до пят: его контур был выцарапан на двери ванной. А Козлевич, глядя на монументальные пыльные фасады, почувствует вкус яблочного рулета. Может, здесь жили друзья его родителей, и родители водили его, маленького, к своим друзьям, там и ел рулет? Но Козлевич говорит, что никакие их знакомые здесь не живут, а маленьким он вообще жил в Свердловске.

Жить для нас не значит делать, шустрить. Жить – значит ехать по городу, проезжать. Поэтому мы никогда не доезжаем до кольца, до того места, где город начинает расступаться, и сквозь старые, надежные кварталы, как в конце взлетной полосы, все явственней брезжит...

11

Говорят, в любой лжи, чтобы ей поверили, должна быть крупинка правды. И злу, чтобы обмануть людей, нужна хотя бы видимость добра, потому что неприкрытого злодея никто к себе не подпустит. Выходит, неприкрытое, чистое зло, такое, как Прохор, безопасно?

Когда Прохор пошел в пятый класс, его родителей на три года послали преподавать на Кубу, а Прохор остался с бабушкой. Профессор Прохоров тосковал по сыну и, возвращаясь в кресле летящего над океаном ТУ-104, перебирал в голове подарки: два блока жевательной резинки, чтобы хватило на весь класс и сыну никто не завидовал, огромный рапан, открытки с прыгающими дельфинами и стаями разноцветных рыб, коробка с толстым стеклом –: смотреть диапозитивы, а главное – прекрасный немецкий набор моделей гоночных машин. Еще жена тащила всякую дребедень: пакеты из фирменных магазинов, несколько пар шортов, пластиковые коробки в виде фруктов, как будто парню это интересно. Прохоров повернул голову и посмотрел на жену. Жена дремала. Прохоров тоже задремал и не заметил, как самолет на шесть внешних лет застрял во вневременном пузыре. В результате они приземлились в Пулково через день после того, как пьяный дембельский поезд выблевал их сына, старшего сержанта Алексея Прохорова, на перрон Московского вокзала.

Родители открыли дверь своим ключом. Мать, не снимая плаща, бросилась на слабые стоны бабушки в детскую комнату, а отец остановился в гостиной перед полированным столом, за которым сидели рыжеватый паренек, сонный верзила с татуированными пальцами и коренастый ладный брюнет в новой военной форме с блестящими сержантскими значками.

На столе, полированный блеск которого был местами скраден пятнами пепла, стояла почти пустая поллитра, лежали фуражка и полевой бинокль.

– Леша, – сказал отец, – мы тут тебе привезли, – и он протянул брюнету в военной форме пачку земляничной жевательной резинки.

– Класс, – откликнулся Прохор, разрывая зубами пачку и раздавая друзьям по пластику. – Не забудьте снять обертку! Ула, б..., не жуй с бумагой!

Отец положил на стол пачку кубинских открыток.

– Художественная фотография, – прокомментировал Прохор, тасуя открытки. – Маршал Конев! – он протянул открытки верзиле. – Этими картами будешь метить потери противника. Что там еще? Боевая техника? – Прохор взял из рук отца машинку, модель открытого Бентли. – Поставки боевой техники внесли свой вклад в победу над врагом. Давай все! – он встал и рассовал машинки по карманам галифе и гимнастерки. – Маршал Конев! Ты метишь потери врага открытками. Я – машинками. План наступления ясен?!

Верзила кивнул.

Прохор нагнулся и вытащил из стоявшей на полу сумки три черных кегли – знаменитые дембельские – резиновые, залитые свинцом бутылки.

– Я не буду, – сказал рыжеватый парень.

– Козлевич, – погрозил ему пальцем Прохор. – Ты с жидами или с нами?

– Я тебе сказал, что не буду.

– Генерал Власов предал родину. Расстрелять! Маршал Конев! Выступаем вдвоем!

Прохор и верзила взяли по бутылке. Прохор оправил гимнастерку и спросил:

– Папа, можно я пойду погуляю?

Они оставили дверь открытой. Профессор подошел к окну и увидел, как его сын перелез, а верзила просто перешагнул ограду детского сада. Рыжего с ними не было. Они с двух сторон подошли к беседке – в этой беседке всегда, еще когда Леша ходил в детский сад, сидела шпана. Через минуту из беседки выскочило человек восемь. Один упал сразу. Остальные бросились к забору, но Прохор с Уланенковым не дали им спастись и погнали вдоль ограды. Двое так перепрыгнули и убежали. Остальные падали, сбитые ударами страшных дембельских кеглей. Преследователи резко наклонялись над упавшими – как будто что-то клали им на спины – и бежали дальше.

Прохоров-отец машинально взял со стола полевой бинокль. Он не привык, не умел смотреть, окуляр занимали то крупнозернистый асфальт, то багажник машины, то купа листьев, то мелькали и исчезали ноги. Но вот он поймал лежавшего в траве и с ужасом увидел у него на плече открытку. Поодаль лежал другой. На его обтянутой бежевой курткой спине ярко краснела игрушечная машинка. Третий упавший дернулся – и машинка соскользнула с его спины в траву.

Я редко заходил к Прохору, но иногда видел его отца. Он был немного сутулый, с непроходящей, непроветренной, застарелой скорбью в глазах. Ему, конечно, бывало тяжело постоянно чинить разбитую сыном «Волгу», объясняться с коллегами по институту, где Прохор долго и позорно числился, выкупать сына у ментов – но выражение его лица при этом уже не менялось. Оно сформировалось и застыло в ту минуту, когда он стоял перед пьяным громилкой, протягивая ему игрушечную машинку.

12. Исповедь дурака

Вначале я хотел вызвать сочувствие, что ли. Хотел сказать, что хоть я и дурак, но тоже человек и достоин. И что все мы, дураки, достойные люди, и вообще, мы как все. Но после понял, что ничего из этого не выйдет и, как бы я ни жалобил и ни оправдывался, все равно скажут «дурак». Поэтому я просто расскажу как есть. Начал понимать я, что во мне что-то неладно, что-то не как у всех, уже давно. И не то чтобы я туго очень соображал – этого нет. Учился я не хуже других, но вот поведение, решения и выбор у меня что-то того... Короче, не того. Я, например, хватаюсь за какую-нибудь мысль или дело. Тороплюсь, оживляюсь, и вдруг – бац! – что-то в голове соскочило, и уже не о том думаю и не то совершенно делаю. И ни поймать нить эту, ни вспомнить никак не могу. Добро бы это в умственной сфере только происходило. Вся беда, что именно в самом деле, в самом своем поведении, в жизни совершенно то же самое. И не забудешь же тут, коли это жизнь и есть. И решения наперед знаешь. Однако вдруг хлоп – и пошел в другую сторону. Чтобы жить, ума много не надо, то есть того, что многие за ум принимают. Пошел туда, сделал это. И тебе хорошо, и всем хорошо. Я вот пошел и не дошел. И ведь знаю наперед, что хуже только будет, а вот что-то соскочило, и баста. Не пойду, да и все. Я и умом-то не вышел, но вот что меня удивляет: если я чего-то не сообразил, не помню, не понимаю, так все прощается. Что, мол, с дурака взять. Но чуть доходит до дела – держись. Вот я, например, не сделал что. Все подступают, пальцами тычут, угрожают и говорят: «Ведь ты же знал, что надо это сделать!»

Знал. Действительно, знал. Но что толку. Знать-то я знаю, но как только начинаю думать, что вот это надо сделать, тут-то мысли начинают скакать и сбиваться. Что, мол, будет, как сделаю? А как не сделаю? М-да, будет плохо... Надо бы сделать. Ну а если не так сделаю? Что тогда? М-да... Как бы чего... А может, и того. Нет... Да...

И вот смотрю, время уже подходит. Ну, думаю, теперь не успел. Что будет? А может, еще успею? В общем-то, успею, если примусь.

А ну как не примусь?

И что в итоге? В итоге приходят, видят. Как, говорят, ты же знал, что должен это сделать и что мы с тобой сделаем, если ты не сделаешь.

– Знал, – говорю.

– Ну, вот и получай.

Другой раз просто из головы выскочит. Мне, может, скажи: «В конце недели, в двенадцать часов истечет срок твоей жизни, если ты не съездишь в поликлинику».

По опыту знаю и скажу вам, что прибегу я в эту поликлинику под самое закрытие. А скорей всего и вовсе не прибегу. Это уж так.

Лень, скажете вы. Что ж, может, и лень. Но разве лень – это не глупость? Нет. Лень – это лень, а глупость – это глупость. Тут еще нерешительность и мнительность, скажете вы. Согласен.

Но, спрошу вас, разве обладание всеми этими качествами не делает человека дураком? Если он еще и соображает туго? Полнейший и чистейшей воды дурак получается.

И вот вокруг все мне говорят: возьмишься ты за ум, поставь себе задачу, перебори себя и т. д. Но позвольте, за чей ум мне взяться, если я дурак? Задач-то я миллион перед собой могу поставить, все одно не решу. А насчет того, чтобы перебороть себя, то тут я прямо и не знаю, с какого бока и подойти. При всем при том я искренне хочу действительно и за ум взяться, и перебороть себя, и т. д.

Но когда я говорю все это, ни один не верит. Все сатанеют вокруг и думают, что я издеваюсь. Они не понимают, как это можно понимать и не делать. Выгоду свою понимать – и не делать. Многие из них, если поймут, что под горой рубль лежит, то и гору свернут.

При том, что ума, то есть того, что все принимают за ум, в некоторых из них даже меньше, чем у меня. И когда эти начинают меня учить, да наставлять, да наказывать, то ведь и меня, дурака, злость берет. Она, я вам скажу, обычно дураков и берет. И берет тогда меня упрямство. А поскольку упрямство – это остановка на какой-то позиции, а позиция у меня одна, то я и вообще начинаю ничего не делать во вред себе. И выхожу еще большим дураком.

Вот скажите мне. Бомжи, что по подвалам спят, паспортов не имеют. Ходят черт знает в чем, едят что придется. Кто они? Паразиты, не желающие работать? Несчастные, искалеченные судьбой люди? Дураками их не назовет никто. Потому что это другая категория людей. А дураки всегда только среди тех, кто еще входит в нашу категорию. Я вам скажу, кто это. Это все бывшие дураки. Среди них есть свои дураки. Но для этих дураков двенадцать часов уже бьет.

Что же со мной, дураком, делать? Заставить дурака работать, под палкой, соответственно? Под палкой без пяти двенадцать? Если он, то есть я, по-иному работать не хочет, пусть потрудится в другом, не нашем месте, и когда его, то есть меня, пошлют туда, все скажут: вот дурак! Мог бы жить и т. д.

Я, может, таким, дураком то есть, и неплохо бы прожил. В смысле без притеснения меня обществом. Возьмем хоть Обломова. Его бы к нам – живо бы за тунеядство сел.

Но дело в том, что хоть и есть поговорка, что дуракам везет да счастье. Но потому-то она и есть, что обычно дураку дорога дурацкая и выпадает. А как свихнет его ветром, случайно этак на хорошую дорогу, тут есть чему удивиться да сказать: «Ну и везет дуракам!»

И вот бреду я по своей дурацкой дороге жизни, а она, жизнь-то, и не прощает, перед ней-то я и виноват.

И тут уже не оправдаться.

Я стоял в коридоре и смотрел на новую дверь. Я стоял перед этой дверью, как человек стоит перед фактом. За два дня, пока я был на даче у Козлевича, отец с Сашкой установили в коридоре, между своими комнатами и моей, входную дверь. Я повдыхал запах нового дерматина, поковырял ногтем латунный гвоздь. Не хватало только таблички с номером квартиры: квартира-то у нас одна, в смысле сортир и ванная остались общие. Пока отец с Сашкой на

своей половине новый сортир не установят или, скорее, новой стенкой меня от своего сортира не отрежут. Ничего общего, кроме мест общего пользования, между нами теперь нет. Конечно: в отцовской комнате немецкий сервант с бокалами, пуфики, на ковре рог в серебре, в холодильнике кетчуп, на столе – книга Гиннеса. А у меня? Коричневый потолок, два страшных дивана, ящики с тарой в углу и карточный стол, ободранный по краям, потому что об него открывают бутылки.

Теперь между нами дверь, типа берлинской стены.

Мне хотелось пинать эту дверь или поджечь ее. Но так я только докажу, что мои родные правы, а родные покачают головой и вместо деревянной стальную дверь поставят.

А если спросить – все скажут, что притон, который я устроил, терпеть невозможно, и я еще должен благодарить, что на улицу не выставили и прописки не лишили. Все это якобы из-за рога – из-за того, что я рог украл и пропил. А я скажу: дверью они прикрыли стыд.

В нашем кооперативе все из одной организации. Раньше отцу с Сашкой про меня объяснять приходилось, а теперь дверь все объясняет. Они сами по себе, я сам по себе.

Теперь ко мне и милицию легче вызвать. Но и общаться со мной легче. Отец, может, даже похвалит, что в туалете не пачкаю, а Сашка лишний раз зайдет по-соседски. Смотришь – и установят ся у нас, наконец, братские отношения.

И все благодаря двери. Спасибо тебе, дверь.

14

Валера тринадцать раз болел триппером. Валера всегда улыбается. Валера садится за стол в дубленке. Снимает только пыжиковую шапку. Не оставляя шапку в коридоре, чтобы не прихватил уходящий гость, Валера кладет ее на колено. На другое колено ставит набитую холщовую сумку, обмахивает рукавом столешницу и начинает выкликать и выкладывать товар:

– Наушники «Сони»! Пятнадцать! Берете? Рубашка бундес. Двадцатник! Жилетка дутая, финская. Пятьдесят. Кто берет? Веселые картинки! Руки прочь! Купи – тогда посмотришь.

Последней всегда выкликается (но никогда не вытаскивается) бейсбольная рукавица. Перед тем как складывать барахло на место, Валера лезет в сумку, и улыбка на его физиономии сменяется недоумением. Валера вынимает обломок пластинки. За ним – другой. Потом конверт – и улыбается: вспомнил.

– Что это? – спрашивает Козлевич.

– Джексон, мудака, сломал по пьяни диск Леннона. Хочешь, бери за пять. Конверт новый!

Валера никогда не носит диски в сумке. Для дисков у него есть черный дипломат. Когда Валера кладет дипломат на стол и щелкает замками, даже самые пьяные подтягиваются. Но Валера не дает лапать диски сразу. Сначала показывает всем обложку, раскрывает ее, как альбом, вынимает пластинку в нежнейшей шуршащей ночной рубашке, раздевает ее и, держа ладонями за ребра, слегка трясет, заставляя вибрировать.

– Смотрите, какая масса! Ни одного дерибаса, чистая!

– Поставь! – просит Козлевич.

– Ты что! Буду я на «Мелодии» чистый диск пилить!

Пластинка идет-таки по рукам. Валера знает: ее не уронят. Диск бережно держат между ладонями, читают по складам:

– Ат-лан-тик.

– Дай переписать, – просит Козлевич.

– Бери! Всего тридцать пять. На Галере за семьдесят идет!

– Я пленку принесу. Запишешь?

– Запишу.

По Валериной улыбке ясно, что так бы мог ответить стол, шкаф.

Пластинки возвращаются, их одевают, кладут в дипломат. Но сегодня Валера без чемодана. Ломаный Леннон в дипломатах не нуждается. Он с явной усмешкой глядит на нас узкими глазами сквозь круглые очки.

Валера протягивает Козлевичу обложку:

– Бери как плакат! Диск бесплатно!

– От мертвого осла уши, – ухмыляется Прохор.

Козлевич протягивает пятерку.

Когда все уйдут и только Козлевич останется, я спрошу:

– Что ты с этой обложкой делать собираешься? На стену повесишь?

– Ну и повешу.

– Ты понимаешь, что ты из этого Леннона бога делаешь? Хочешь, расскажу, кто он такой? Ты сам же мне читал!

– Ну?

– Он рос сиротой и тосковал по маме. Плохо учился, хулиганил, с тоски начал играть на гитаре, терроризировал товарищей по группе, и даже когда группа прославилась на весь мир, оставался злым и несчастным. Однажды он зашел в галерею и познакомился с художницей, которая стала ему мамой. Под руководством новой мамы он ушел из группы, занялся ультралево́й политикой, начал снимать на кинокамеру свой член и петь: «Женщина – это негр мира. Мы заставляем ее красить лицо и танцевать». Жить под новой мамой было сначала трудновато. Джон психовал и торчал, но потом стал домохозяйкой и совершенно успокоился. И ты такому вот молишься?!

А про хрипящую Дженис объяснить? Над ней смеялись в школе за то, что она толстая, и за то, что ее папа недостаточно ненавидит негров. В отместку она больше всего на свете полюбила негров, их песни и хотела только одного: стать негритянкой или хотя бы петь, как негритянка. Голос у нее был великолепный, но то, что для негра естественно, белому никак. Она напрягала все силы, принимала кучу наркотиков, хрипела, тряслась, скоро надорвалась и умерла. Ты на нее тоже молишься, да?

Козлевич покраснеет. Больше всего, когда разбирают на мелкие винты то, что ты любишь. Любишь ведь целое. Только такой добрый человек, как Козлевич, может стерпеть. Козлевич сморгнет и скажет:

– А ты понимаешь, что это единственное, что сейчас есть? Что кроме музыки сейчас вообще ничего нет?

15

Говорят, супруги должны подходить друг другу. Это называется «совместимость». Когда Сашка познакомился с Мариной, сразу стало ясно, что для него есть Марина, а есть все остальные. Дело было не только в том, что он тратил на Марину кучу времени, ездил ее провожать на станцию «Лесная». Когда Сашка на нее смотрел, в глазах его был какой-то обреченный свет. И где бы они ни были, куда бы вдвоем ни шли, хоть даже в магазин за картошкой, этот свет чувствовался между ними. И когда они пошли медленнее, сначала с коляской, потом с маленькой девочкой в шерстяной шапке с большим помпоном, над девочкой, не касаясь ее, висел тот же самый обреченный свет. Сначала Сашка с Мариной жили у нас. Не помню, чтобы они хоть раз ссорились или орали, как, бывало, орали друг на друга отец с покойной мамой.

Но иногда ночью у меня играли в карты, все было в дыму, и из-за дыма, пухляки и оттого, что все были уже пьяные, мы не сразу замечали, что вошел брат в тренировочных штанах и растянутой тельняшке, в которой он спал. Сашка наливал себе полстакана портвейна или водки и сидел с таким лицом, что даже Уланенков понимал, что лучше его не трогать. Минут двадцать Сашка смотрел на игру, допивал и шел к себе в спальню.

Один раз он зашел ночью, а я один писал и, увидев Сашку в дверях, сразу захлопнул тетрадку и спрятал ручку в карман. Это была странная ночь, не такая, как все. Сашка увидел, что кроме меня и дыма никого и ничего нет, но не смог закрыть дверь и уйти. Он сел напротив и, раскачиваясь, рассказал мне.

Когда узнаешь про людей такие вещи, начинаешь смотреть на них по-другому. Я понял, что Сашка с Мариной никогда не разведутся.

Если бы они подходили друг другу, то быстро наелись бы клубники и разошлись в разные стороны другие ягоды искать, а тут между ними куст. Продраться сквозь куст невозможно. Пойди сквозь малинник продерись. Тянутся друг к другу и дотянуться не могут, то один, то другой положит в рот исцарапанной рукой мелкую, костлявую, обидную ягоду, то один, то другой толкнется через куст и отступит. Другие бы отошли, отказались, но не такие, как Сашка с Мариной. Вот тебе и совместимость.

16

Только два моих гостя допускались за железную дверь, на чистую половину, где жили отец, Сашка и Марина. Один гость был Янушковский, по кличке Шковский, учившийся вместе с Сашкой в универе, другой – Валера.

Валера со своими товарами и улыбками мог влезть куда угодно, непонятно только, зачем ему надо было туда влезать.

А вот я сейчас, на нейтральной территории, в вагоне метро, где за окном черные стены с проводами и теплый стерильный ветер, а мы стоим рядом и держимся за один поручень, вот здесь я его и спрошу:

– Валера, ты что у брата ошиваешься? Марину, что ли, хочешь?

Валера улыбается. Валера улыбался всегда. Помню, в седьмом классе его не пустили на школьный огонек в джинсах: первые в школе джинсы! Учительница литературы встала в дверях, защищая школу от вражеских штанов. Валерин триумф сгорел дотла, а Валера улыбался: «Е... я ваш огонек!»

У нас, как у индейцев в резервациях, грустные и мрачные считаются умными, а кто вечно лыбится – дурак. Чему радоваться-то? Райкину с Хазановым? Но Валера не был дураком. Просто он был один против всех. Валера улыбался, когда дюжий мент конфисковывал у него пачку вишневой жевательной резинки, когда в толчее ему продавали одну джинсовую штанину, когда вместо покупателей из кустов, как древний ужас, выходили пятнадцать гопников, когда знакомый клиент Гриша убегал с Валериным диском, а на телефонные угрозы спокойно басил: «Приезжай! Да я на тебя всю улицу подниму!»

Если бы Валера не улыбался – он бы сдох.

Но Валера не просто улыбался. Он сек, что к чему, и через пару лет с улыбкой говорил лейтенанту, грозившему посадить за незаконную торговлю яйцами на Сухумском базаре: «Не посадишь! Звездочек не хватит!»

Валера уже не ошивался, как юная шлюха, в слякоть и дождь у гостиниц, а сидя дома, с улыбкой пересчитывал часы «Полет», которые его мальчишки дюжинами пихали итальянцам, и купленные у морячков банки духов.

От юности осталась сумка с барахлом, которую Валера по привычке всюду таскал с собой.

Страна, как батарея к солнцу, поворачивалась к деньгам и товарам, приговаривая: «Какой грузин без винограда? Какой еврей без жигулей?» На новых жигулях ездили монахи. Прощаясь у парадных и уклоняясь от поцелуев, девушки мрачно, глядя прямо в глаза, говорили юношам: «Ты обещал! Не достанешь джинсы – больше не приходи!» Дети секретарей райкомов одевались от валер и покупали у валер порно, духи и музыку.

Валерины коллеги шли ночью и хохотали в легкую метель. Снег скрипел под дутыми финскими чунями. Шары пыжиковых шапок были нахлобучены по самые глаза. Из круглых ртов рвался победный хохот.

Среди мажоров Валера был равным. В моей грязной комнате, играя с одноклассниками в преф по копейке, Валера чувствовал себя самым, самым, самым крутым.

Хотя у меня в комнате каждый был самым крутым в своем роде. Из нас можно было формировать правительство: Валера – финансы, Прохор – оборона, Уланенков – здравоохранение. Шковский – образование. Я – культура. Козлевичу, пока не уехал, пришлось бы доверить министерство иностранных дел.

И вот министр культуры (я) замечает, что министр финансов все время шастает за железный занавес. Командировки, конечно, разрешены. На то мы министры. Но Валера явно хочет изменить расстановку сил в современном мире, и в отсутствие моего брата залезть со своей торбой в постель к его жене Марине. Министр культуры (я) не хочет третьей мировой войны. Он спрашивает:

– Валера! Чего ты все у Сашки торчишь? В Марину влюбился?

– Ложкин, – отвечает Валера, – возьми дачный участок. Поставь теплицу, выращивай тюльпаны и продавай. Займись хоть чем-нибудь. А что ты там пишешь – это никому не нужно. Ну, может, еще пяти таким же, как ты.

И я первый раз в жизни вижу, что Валера не улыбается.

17

Прохор щелкнул колодой.

– Подожди, – сказал Шковский, – я хочу вас всех спросить.

– Опять начал...

Маленький Шковский чернотой прямых волос, круглыми очками и жестким ртом похожий на Джона Леннона – Оно, поучился на физфаке, но для физики оказался слишком шустрым и перевелся на психологию. Шковский вечно увлекался: то бубнил про революционное летоисчисление Николая Морозова, то про Гумилевскую теорию пассионарности. Самым пассионарным из нас выходил Валера. Как-то утром Шковский на пару часов принес переснятого Солженицына и, глядя, как меня корчит от чтения о пытках, задумчиво сказал, пуская дымовые кольца:

– А меня в первую очередь интересует, откуда он позаимствовал идею коллективного покаяния?

Шковский часто устраивал опросы: кто какую группу любит, у кого какие отношения с родителями. Было ясно и гадко, что он использует нас для своих исследований. Но внимание, пусть корыстное, растапливало скрытность, как долгое теплое дыхание растапливает белую изморозь на зимнем стекле. Кому мы еще интересны?

Вот и сейчас Шковский затеял опрос. Начал с Дона Корлеоне. Крестный отец якобы сказал, что у мужчины может быть только одно призвание.

– Вот у тебя, Саня, какое призвание?

– Такое же, как у тебя, – мрачным басом ответил Шковскому брат Сашка, сидевший в углу грязного дивана в тельняшке и тренировочных штанах.

– А у тебя? – обратился Шковский к Уланенкову.

– Я хочу, – сказал Уланенков дурацким торжественным голосом и затряс поднятой правой рукой, как будто держал в ней бокал шампанского и произносил новогодний тост, – я хочу стать врачом и спасти человечество от рака!

Мы уже знали: тут главное не засмеяться, потому что Уланенков может броситься, и его не удержишь впятером.

Ула не врал. Я видел у него учебник «Анатомия и физиология», а б... Коптева рассказывала, что Уланенков странно ощупывал ей ребра и при этом шевелил губами, будто считал. Он даже поступал в медучилище, а когда первый раз сел, работал на зоне санитаром.

Шковский не улыбнулся. Невидимой ручкой с золотым пером он занес признание Уланенкова в нужную графу и повернулся к Козлевицу:

– А ты, Вадик?

– Хочу собрать рок-группу... Вряд ли получится...

Прохора Шковский опрашивать не стал. Сейчас – меня.

Сказать, что я писатель? Засмеют. Но дело не в этом. Уланенков, неспособный окончить десять классов, знает, что спасет человечество от рака. Его мать часто болеет, а отец, замерзший по пьянке, когда сыну было десять лет, работал в поликлинике ухогорло-носом. Сашка знает, что родился физиком. Шковский – психолог. А я?

А вот я спрошу себя. У Шковского свои опросы, у меня – свои. Закрою глаза, отключу контроль – и пусть ОНО скажет.

Я закрываю глаза, отпускаю сторожа и, когда Шковский спрашивает меня, слышу свой голос:

– Мое призвание – пить чай и смотреть на пролетающие облака.

Голос Прохора:

– Это зачем?

– Хочу увидеть радугу.

– Щас увидишь.

Шлепанье карт. Открываю глаза. Прохор сдает.

18

Ты помрешь, все помрут, а Луна, как ни в чем не бывало, будет крутиться вокруг Земли. «Ну, нет, врешь, – скажет иной, – может, ее распилят там или на топливо пустят».

И лицо его посветлеет, и ему станет легче. С чего бы это?

19

Я – графоман.

Написав это заглавие, я решил посмешить читателя. И не только посмешить, но и порадовать. Действительно, разве не приятно посмеяться над человеком, пишущим чепуху и считающим себя при этом вторым Львом Толстым? Увы, я тоже бы рад посмеяться, но с некоторых пор мне не до смеха. Я завидую даже – как можно, оказывается, считать себя гением и не сомневаться, что только глупые и завистливые, подкупленные даже редактора виноваты в том, что его творения еще до сих пор не поразили мир. Что касается меня, то, создавая, так сказать, свои творенья, я вижу, какая это все чепуха. Чувство раскаянья в содеянном, а главное – страх и стыд, что кто-нибудь прочтет это, заставляют меня прятать и – по прошествии времени, а в основном сразу – сжигать свои произведения.

Но писательский зуд и какая-то отчаянная надежда, что из нагромождения слов, если их почаще кидать, авось что-нибудь и когда-нибудь сложится... Мысль, кстати, не лишенная научности: ведь говорят ученые, что если обезьяна будет бесконечно долго стучать на машинке, то когда-нибудь выступит и шекспировского «Гамлета». С утешающей мыслью, что я-то все же человек, я вновь и вновь принимаюсь за свои опусы. Сжигать-то я их сжигаю, а вот для чего-то дал Козлевичу целую папку почитать. Зачем? Сжег бы, да и все. Так я вам скажу: дал, потому что надеюсь, что хоть Козлевич мои сочинения перепечатает, сохранит, да еще, чего доброго, уедет в Америку и там издаст.

Но эту-то страницу надо сжечь. Теперь буду некоторые вещи помечать, чтобы не перепутать. Так и буду писать: не для Козлевича.

20. Не для Козлевича

Козлевич виноват передо мной. Из-за него я стал мечтателем. Для человека вроде Козлевича, который на каждую кассету наклеивает бумажку с именем группы, каждое утро ест на завтрак бутерброд с сыром, на обед – суп и второе, а на ужин – кашу, мечта вроде кетчупа. Отец Козлевича всегда приходил с работы в шесть, мать – в пять, а бабушка так просто никуда, кроме булочной и прачечной, не отлучалась.

А мой папаша по неделям жил на объектах, мать работала посменно и, вместо того чтобы готовить обед, давала мне шестьдесят копеек, чтобы я купил булки, докторской колбасы и кефира. От батона я отщипывал, а колбасу ел с бумажки. Козлевич завидовал моей свободе, свободе нашего дома, где сквозняк из незаклеенных окон шевелил тюлевые занавески, где взрослых либо не было, либо они спали, и вся жизнь была широкая и сонная, как мечта. Никто мне не указывал, ничего кроме Сашкиной секции борьбы меня не занимало, да и в секцию я ходил, чтобы по дороге есть мороженое «сахарная трубочка» за пятнадцать копеек. Мне бы нужен был друг, который увлек меня каким-нибудь конкретным делом. А Козлевич посмотрел на нашу жизнь и стал мечтать. И меня втянул. До Козлевича я бегал по двору, играл в футбол, я был как все и жил детской жизнью. С Козлевичем я приучился мечтать о жизни взрослых. Она-низм – это мечта. Мечта – это онанизм, розовый восход, весна света за окном автобуса. Легко начать мечтать, трудно кончить. Хорошо мечтать весной. Летом это на хер не нужно. Летом надо жить. Приходит время, когда надо завязывать с мечтами о жизни и начинать жить. И бывает, мечтатель пытается жить, но не может: ведь жизнь по сравнению с мечтой – дрянь. Он возвращается к мечте, но и мечту уже не любит, зная теперь, что мечта – не рассветная панорама его будущей прекрасной жизни, а ложь, мираж и провокация.

Козлевич поскрипел, помучился и начал жить. А я так до сих пор и мечтаю.

21. Не показывать Козлевичу

На истории Козлевич читал под партой книгу в потертой красной обложке. Жюль Верн. У нас-то дома не было никаких книг кроме учебников и модных журналов, что мать приносила из гостиницы. Мы рассматривали французенок в белье. Удивлялись, что такие тощие.

В комнате Козлевича тоже не было книг. Мама с бабушкой разрешили мальчику лепить на стены возмутительные морды певцов и певиц, кассеты которых заполняли полки.

Зато в гостиной у них темнела книжная стена. Многие корешки были старые и какие-то необычные, я не сразу понял, что они кожаные. И золотые буквы блестели не так, как на «Королеве Марго».

– Что это за твердые знаки в конце?

– Дореволюционные, – буркнул Козлевич.

Я попытался вытащить том Достоевского, но книги были стиснуты – нож не всунешь.

– Можно Достоевского почитать-то? – спросил я.

Козлевич посмотрел странно и сказал: надо спросить. Дед бы не дал, а бабушка, может, даст. Козлевич надолго зашел в комнату бабушки и вернулся с ответом, что Достоевского рано, а Жюль Верна можешь взять. Одну книгу. В ряду красных книг как раз было пустое место, видно, того тома, что Козлевич таскал в школу. Том наверняка лежал у него в портфеле. Я взял в руки соседний том. Собрание Жюль Верна и Уэллса, издательства «Земля и Фабрика». Страницы понизу были желтыми и слабо пахли, видно, предки Козлевича роняли их в бочку с селедкой, но вовремя выхватывали. Я из духа противоречия взял не Жюль Верна, а Уэллса.

Вечером я лег на диван, включил настольную лампу и раскрыл слабо пахнувшую селедкой книгу. С тех пор я всегда читал лежа.

Но я не лежал. Я был Бентоном, разорившимся и изгнанным с платформ, где жила элита будущего, я сидел с разбитой мордой у станка, переживая поражение в своей первой драке.

Я шел с Клариссой Маккелан по пустой ночной улице мимо серийных коттеджей с одинаково горящими в одинаковых гостиных телевизионными стенами, и наш преступно-нестандартный разговор заглушал рев ракетного автомобиля.

Сквозь бойницу в стене марсианского дома, держа в руке серебряную говорящую книгу, я смотрел на приближавшихся цепью, с автоматами наперевес, товарищей по экипажу, которых я не успел застрелить.

Думаю, что, читая, я шевелил ногами и руками, как собака, которая видит боевые и охотничьи сны.

Так и пошло: я клал кирпич в книжную стену Козлевичей и вынимал новый. Козлевич еще долго спрашивал у невидимой бабушки разрешения. Бабушка разрешала. В стене всегда не хватало двух кирпичей: один был у меня, другой – у Козлевича в портфеле. К тому времени, когда Козлевич перестал таскать в школу книги, я уже понял, что не ему бы родиться у книжной стены, а мне. Козлевич слушал мир. Я – читал.

Покончив с фантастикой, я продолжал читать взрослые книги, как подросток.

Куприн вместо ненависти к проституции вызывал у меня жгучие ночные мечты, Ваню из «Палаты номер шесть» было просто жаль. Я не понимал ни социального пафоса, ни философских отповедей. Я пил, стоя на четвереньках, я лакал из реки, в которой отражались страшная красота глуповского пожара, блестящая точка, пожиравшая пьяного Степана Головлева, кладбище, по которому бродил Ионыч.

Но когда я, наконец, вытащил из книжной стены и открыл тот самый тускло блестящий кожаный том Достоевского, который мне когда-то не дала бабушка Козлевича, после первой же повести, еще до «Записок из подполья», я понял: это про меня.

Вот я. Я ведь таракан и вошь. И ведь нет, по-моему, ничего злее таракана и вши. И я зол. На кого и на что? Да на всех и на всё, а больше всего, конечно, на тех людей, которых уж никак за вошь не примешь. На людей-то больше всего. Я, положим, подлец, трус,

алкоголик и т. д. и т. п. А он, эдак, совсем наоборот. Я, положим, уверен, что он меня не только презирает (если он опускается до ненависти ко мне, это еще куда ни шло), но и вообще почитает за вещь не только ненужную, а вредную и подлежащую изъятию, изоляции и всяческому сокращению и умалению. И самое главное, я знаю, что он эдакое в себе чувство не только правым считает, а даже за нечто неотъемлемое и лучшее из своих достижений принимает. Это меня больше всего и злит в людях. Что, видя меня во всей моей подлости, никчемности, ненужности, он, этот человек, на моих же костях свой дворец строит. Воспаряет прямо на небеси. Уж это всегда так. Потому что на чем же все ихнее хорошее, великое, высокое и чистое стоит? Да на нас же и стоит, на ползучих.

Но они никогда и не поверят в это. У них и взгляда такого быть не может. Они там все и всё, а мы – это так, выбросы, отбросы. Если храма ихняя крепко стоит, то еще могут и жалость, так сказать, проявить. Но уж тех, кто потрусливее и не очень у них крепко, – берегись: хуже клопов заморят. Впрочем, и так морят, для назидания и профилактики.

Вот скажите: что надо делать с вредными насекомыми? Их надо уничтожать. Это, как говорится, аксиома. Далее. Всех ли насекомых надо уничтожать? Нет, полезных насекомых уничтожать ни в коем случае не надо. Чем же отличаются вредные насекомые от невредных? Да вы что?! Как тут не знать? Вредные приносят вред, а полезные пользу. Теперь главный вопрос: кому? Нам. Вот так вот. Нам. Это значит, мы и решаем, что вредно, а что полезно. А поскольку МЫ видим множество всяческих отбросов и подонков, которые НАМ не полезны, а даже вредны, мы и решаем, что НАМ с ними делать. И вот, значит, я среди отбросов, подлецов и вредных людей. А ОНИ с высоты непогрешимости знания, что вредно, а что полезно, вершат надо мной суд правый и справедливый.

Замечу вкратце, что ОНИ – это просто те, кто имеет силу и средства для суда над вредными, по их мнению, людьми. И, большей частью, судимые ими тоже имеют свое, то есть уже их, судимых, мнение о вредности и полезности и ни в коей мере не являются вредными и, тем паче, подлыми и ненужными людьми. Я говорю не только про себя.

Вот я таракан и вошь. Я настолько таракан и вошь и, может быть, именно потому таракан и вошь, что не разделяю полезное от вредного. Для себя самого не разделяю. Ведь что бы я ни делал и что бы ни делали со мной, я вижу, что приношу лишь один вред и себе, и всем, и все приносят вред и мне, и себе.

И я зол и завистлив. Отчего? Да оттого и зол, что завистлив. А завидую я огромной массе людей. Завидую тому, что в их головах твердо сидит знание, что есть вред, а что польза, что добро, а что зло, что справедливо, а что несправедливо. И все, борясь за справедливость, пользу и добро, мстя за попорченную справедливость и причиненный вред, давят, калечат и убивают друг друга, при этом никто из них не считает себя за таракана и вошь. А я, выглядывая из своего ползучего болота, хотя и меня планомерно, а иногда и ненароком давят и калечат для искоренения меня как вредного или выжимания из меня полезного, не могу даже уверовать, что это несправедливо, поскольку никакой справедливости за собой и в себе не вижу.

Или же, наоборот, что сие справедливо, поскольку справедливости за ними также не нахожу. Я лишь зол, бесконечно зол на них, и только лишь за то, что они проделывают это с полным сознанием принесенного добра и пользы. И проживают в храминах непогрешимости своих мыслей и дел. В сознании единственности как бы закрепленной за ними способности отделять вредное от полезного и, служа безусловно полезному, вершить суд правый и справедливый.

23. Быть как все

Раздевалка пахла пропитанной потом одеждой. До нас физкультура была у старших. Десятый «А» переодевался тут же, и мы старались натягивать тренировочные побыстрее, а места занимать поменьше. Все-таки они поймали Скобаря, раскатали за руки и за ноги и подбросили в воздух. Скобарь лежал на полу, захлебываясь, когда в раздевалку зашел Белов из десятого «Б».

Белов вынул узкую железную расческу, чесанул набок белый чуб, посмотрел сквозь расческу на свет, продул ее, убрал в нагрудный карман и сказал:

– Все, кому дорога честь улицы Ленсовета, сегодня в восемь выходите на Аллею махаться с эсэсовцами.

Нет, Белов сказал «драться»: это же было официальное сообщение. Эсэсовцы жили за Алтайской. Они не ходили в нашу школу на танцы, и наши не ходили к ним. Лично я ни одного эсэсовца никогда не видел. А Сия, друг Белова, увидел. 8 марта Сия пошел к Вере-обезьяне. Это в 216-м доме, на нашей стороне Алтайской. До Вериной квартиры Сия не дошел: в ее парадной сидели на перилах четверо эсэсовцев. Сия выполз из парадной на четвереньках.

На физкультуре не было обычной возни, стеба и шлепков.

Все бежали по периметру спортзала и прыгали через козла с такими озабоченными рожами, будто Белов объявил по радио войну. Хотя заботиться было не о чем. Пять человек из класса знали, что пойдут драться. Остальные знали, что не пойдут, потому что они не хотят получить по башке колом или кастетом, то есть трусы, или потому, что они нормальные ребята, слушают рок, собираются в институт и не полезут с прыщавыми гопниками в их массовую драку.

Но никто из трусов и нормальных ребят не признался бы, что не пойдет. Выходило, что все пойдут махаться с эсэсовцами, а некоторые не пойдут. Быть как все – значило быть как те пятеро, что выйдут сегодня в нейлоновых куртках, со свинчатками в карманах вельветовых штанов на темную Аллею защищать свою школу, свою деревню, свою улицу.

Мы с Козлевичем хотели быть как все, потому что мечтатели всегда хотят невозможного.

24

Мы встретились у моего дома, в семь. Была ранняя весна. Я чувствовал, как мои клеши тянет книзу тяжесть мокрой грязи, которая летела из-под колес машин и автобусов.

– Пошли, посмотрим? – коротко спросил Козлевич.

– Пошли!

Мы нырнули, как будто с мостков прыгнули, во дворы. Через район Красной школы мы никогда не ходили: боялись. Пришлось обогнуть его и двинуть между хрущевскими домами.

В тенистых дворах между хрущевками было темновато, наверху стоял неподвижный розоватый закат, похожий на широкое спокойное русское лицо, и тонкие черные ветки деревьев казались его морщинками. Дворы кончались. Сейчас мы выйдем на Аллею, где наши и эсэсовцы махаются цепями и кастетами.

– Пойдем драться, что ли? Убьют!

– Посмотрим вон оттуда!

Мы вышли было на улицу, но остановились и в просвете между домами сразу увидели, как по Алтайской к Аллее медленно едет шеренга милицейских газиков.

Мы шмыгнули обратно во двор – ментовская машина ползла по дорожке, прямо на нас.

– Сека! – я чуть не упал.

Листья и грязь летели на бегу из-под ног.

Назавтра, на первом уроке, завуч просунул в класс голову и вызвал к директору Уланенкова и Простова.

В туалете Уланенков, возвышаясь над всеми на две головы, рассматривал хабарик.

– Ну, Ула, чего тебя вызывали, за драку?

– Ну.

– Как там было-то?

– Да х... Менты устроили облаву. Пригнали на Аллею двадцать ПМГ.

Все наши и побежали от них через дворы. А во дворах только двух ментов поставили. Из одного там вообще г... сделали. Пистолет отняли.

– А мы, – бодро встрял Козлевич, – шли к вам, уже дошли до Аллеи, а тут ПМГ едут. Драка-то была?

Уланенков не ответил. Он пристально посмотрел в угол и громко, прицельно плюнул через голову Козлевича в дальний унитаз.

– Драка-то была? – не отставал Козлевич.

– Да ни х... не было. Пришло наших человек восемьдесят и эсэсовцев человек двадцать.

– Ну и что?

– Да ни х... Стояли между скамейками. А потом менты приехали.

Через восемь лет, ранним вечером ранней весны, я вышел из бара. Меня тошнило. Бар чебуречной блистал, когда открылся. Бармен ставил Элиса Купера и даже варил кофе в песке. Теперь музыка стала дешевой, а коктейли разбавляли, как пиво в ларьке. Сидячих мест не было, все курили. Положив голову на столик, спал Уланенков. Он недавно освободился. Козлевич почему-то тоже вышел из бара. Мы двинули к Фонтанке и свернули в парадную. Козлевич вытащил из сумки бутылку «Эрети» и дернул краем пластмассовой пробки о край чугунных перил. Пробка отскочила без чпока, только явственно в старой, пыльной тишине парадной стукнула о каменную ступеньку. Кислое вино отогнало тошноту, но на мосту мы страшно запьянели и пошли к метро не по проспекту, а через пустой парк, качаясь и держась друг за друга.

– Сынки! – прокричала нам в лицо, как вещая птица, низкая бабка с черной сумочкой. – Бегите скорей, милиция едет!

Мы послушались, но бежать пришлось в густой воде, тормозя друг друга. Гул мотора приближался. Мы бежали от него в этом страшном сне, мы гребли против течения, пока нас не вынесло на боковую аллею и не стукнуло о белую скамейку с черными чугунными ногами и боками, нерушимую, как сталинский дом.

Мы страшным усилием нашей несуществующей воли выпрямились, типа сидим прилично. Выпрямились и увидели неподвижный розовый закат, черные, чем выше, тем тоньше, линии стволов и веток и медленно проползавший мимо нас по главной аллее, то скрываясь за деревьями, то показываясь, как иголка, прошивающая мешок, патрульно-милицейский грузовик. Опять была весна. Нас опять не поймали. Только теперь мы вроде и правда были как все.

25. Мои ворота

Что бы ни случилось, горе иль беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота мои, мои, деревянные. Мои ворота – два дерева на пустыре, между моим домом и домом Козлевича, ближе к моему дому. Раньше там была целая роща, но когда ровняли землю под стройку, которую так и не начали, уцелели только эти два дерева. Одно дерево ранили – оно растет теперь криво, почти касаясь верхушкой другого дерева, а летом их жидкие кроны сливаются. Это и есть мои ворота. И когда я возвращаюсь домой, я прыгаю между деревьями на одной ножке и пою: «Что бы ни случилось, горе иль беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота мои, мои, деревянные». Не знаю, зачем я это делаю, может, на счастье, я просто чувствую, что должен. Ничего здесь такого нет, но я не хочу, чтобы кто-нибудь видел, как я прыгаю между деревьями и пою. Если с Козлевичем гуляем вечером и все не можем расстаться, я провожаю его последним, чтобы вернуться одному и по дороге пропрыгать между деревьями и спеть: «Что бы ни случилось, горе иль беда...»

Летней ночью, когда торчат в парадной незачем, мы сидели у моего подъезда на скамейке. В рассеянном зеленом свете фонарей стучали об их скрытые листвою колпаки то ли слепни, то ли стрекозы. Перед домом остановилось, замолкло и зажгло, отъезжая, зеленый огонек такси. «Пошли, я тебя провожу». Мы шли мимо ограды моего детского сада. Фонарь как раз напротив входа.

Над дверью (я раньше не замечал) изображены слон, гусь, собака и петух. Каждый лист – зеленый абажур. Подъезд у Козлевича неуютный. Мы стоим у его парадной: скамейки нет.

– Ну что, когда, наконец, будем команду делать?

– Ты на чем?

– На гитаре. А ты?

– Я на ударных.

– А на басу кто?

– Возьмем Валеру.

– Валера не умеет.

– Научится.

Эту теплую зеленую ночь, это мечтание хочется и можно продолжать бесконечно, как пиво или пляж. Я помню, что должен

пройти сквозь ворота, но никак не останусь один: Козлевич опять провожает меня.

– Давай, – говорю я ему, – сделаем лучше рок-театр. Поставим рок-оперу «Дом». Одна песня у меня уже есть. Про ворота. Не вся песня, только припев. Слова вместе допишем. Я тебе покажу.

Видишь, – объясняю я, – поставим на сцене ворота, как эти два дерева. – Я прыгаю между деревьями и пою: – Что бы ни случилось, горе иль беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота. Мои, мои, деревянные. Ну, как тебе?

Козлевич молчит. Видно, ему не нравится песня. Но главное – я сделал то, что должен был сделать, прошел сквозь ворота. И никто, даже Козлевич, не узнал моей тайны.

26

Я не понимал слов любви «диод, триод, переменное сопротивление», которыми обменивались отец с Сашкой, но любил смотреть, как они паяют. Как нож в легкой Сашкиной руке прорезает желто-зеленую изоляцию провода, не повредив ни одной медной жилки. Я любил смоляной дым канифоли, любил смотреть, как из капли припоя уходит жидкий блеск, как припой становится матовым, навсегда зажимая конец провода. Провод, если был припаян к схеме с двух концов, казался в своей толстой желто-зеленой коже нерушимым. Глядя на короткий намертво припаянный с двух концов провод, я думал о дружбе, о нас с Козлевичем. Я вспоминал наши ссоры.

Очередь в сельмаг толстая, кривая и неподвижная, как зимний дым. Подростки такую очередь не выстоят. Мы и не стоим. Стоит мать Козлевича, а мы ждем ее, чтобы помочь нести покупки на дачу. Ей нельзя носить – сердце. У толстой косоглазой матери Козлевича из-под платка торчат черные кудряшки. Козлевич совсем не похож на мать. Мы маячим у забора сельмага: привязанная Жучка, я, Козлевич и парень, типа хулиган, но не местный. Познакомиться подошел.

– Вы с какого района? А я с Выборгской. Спросите у Финляндского – все Аленушку знают.

Действительно, Аленушка – похож и на добра молодца, и на красну девицу. Кудри длинные, белые, ногти длинные, грязные. Кличку бы такую не надо приبلатненному, ой, смени кличку...

– Как тут, танцы-то есть?

– Что на танцах топтаться! – бойко отвечает Аленушка. – Я в воскресенье Ленку встретил. Говорю: тебе письмо! Зашли ко мне. Сиски-письки – и на диван. Х... вы здесь торчите? В Заречном яблочное по руль тридцать дают!

– Да ждем.

Тут мать Козлевича улыбается нам и делает жест рукой с бидоном.

– Что это за еврейка? – кивает на нее Аленушка, убирая со лба белую прядь.

– Тетка с нашей дачи, – буркает Козлевич.

– Ну, давайте! – Аленушка уходит.

Очередь вдруг тронулась, мать Козлевича уже в магазине.

Я спрашиваю:

– Ты чего, ее стесняешься?

– Пошел ты на ...! – отвечает внезапно отвердевший и ставший похожим на мать Козлевич.

Злость, как старость, обостряет в человеке родовые черты. Злость Козлевича выстреливает мной. Я иду по корням через лес, к станции, покупаю билет, стою на платформе и жду, что если эта сука, которая отрекается от собственной матери и еще смеет ругаться, прибежит просить прощения, я не обернусь. Проходят платформы с сосновыми бревнами. Я стою, пока электричка не увозит меня в город. А через месяц слышу в трубке его голос:

– Вова, извини. Пошли гулять?

Мы идем гулять и гуляем бесконечно долго, мы даже не едем на автобусе, потому что в автобусе не поговоришь, а надо рассказать друг другу все, что случилось за этот месяц.

Назавтра мы едем в Павловск, катаемся на лодке, пьем шесть бутылок яблочного, попадаем в менты, идем на демонстрацию, лезем на крышу, пьем две бутылки водки, идем на танцы в училище Уланенкова, где Козлевич чуть не погибает, просыпаемся и снова идем гулять.

Как-то поздней осенью к нам пристаёт Накрайников из третьего подъезда и начинает ныть, что хочет познакомиться с женщиной. Все хотят, но сколько можно ныть? Мы смотримся в забрызганные холодным дождем витрины – у Козлевича новая куртка, у меня ботинки на платформе. А Накрайников все ноет.

– Слушай, – говорит Козлевич, – у Вовы есть тетя. Хочешь, он тебя с ней познакомит?

– Пошел ты на ... – кричу я Козлевичу.

Мне обидно за любимую тетю. Козлевич оборачивается и уходит. А через две недели я звоню ему и говорю:

– Вадик, извини. Пошли гулять?

Наступает студенческое время, и Козлевич в аудитории с толстыми стенами гробит нашу с ним мечту.

Электрогитара с ухом его не слушается, усилитель фонит, ударник Фауст, завешанный волосами до пупа, рубит песню в капусту.

Приходится кричать, надсаживаясь, и я визжу:

– Ты не умеешь работать с музыкантами! Объясни ему, что он должен играть!

– Что ты лезешь?! Ты-то вообще ни на чем не играешь! – кричит мне Козлевич, а Фауст продолжает избивать барабаны, будто не о нем речь.

– Как будто ты играешь!

– Да пошел ты!!! – орет Козлевич в отчаянии, покрывая грохот.

Я хлопаю дверью и выхожу в тишину. Я свободен на месяц, на две недели, на неделю. Пока он не позвонит и не скажет:

– Вова, извини. Пошли гулять?

И наша дружба – как проволока в проводе, который сгибали и разгибали, пока проволока не сломалась и не повисла на изоляции, но изоляция еще держится, и все, с кем мы пьем: студенты из козлевического института, мои грузики, одноклассники – видят этот провод между нами: желто-зеленый, как летний день в городе.

27

Способности человеческого организма стремятся к уравниванию недостатков за счет достоинств.

Так, у слепого развивается слух, у безногих – руки. Но помимо этих способностей, у людей искалеченных, травмированных или обездоленных развивается способность замечать в окружающих их реакцию на свой недостаток, свою особенность.

Здесь и деревенский житель, попавший в город. Здесь и еврей, постоянно сознающий, что он еврей, и отгадывающий к себе отношение. Здесь и заики, косоглазые, несостоявшиеся ученые и спортсмены, болезненно реагирующие на все, что имеет отношение к их «больному месту».

А теперь перехожу к человеческому достоинству, вещи реальной и довольно щекотливой. Так вот. Когда вступаешь в контакт с одним из таких людей и замечаешь его «травму», то невольно преувеличиваешь чувство зависти, которое вызывает твоя «полноценность». И ощущаешь свое превосходство. Зачастую даже не надо ни одного слова, чтобы болезненная чувствительность травмированного человека определила это, и даже в еще большей мере, чем есть.

Соседство двух людей, каждый из которых знает, что другой про него думает, это соседство затрагивает вопрос человеческого достоинства. И оно в конечном счете объясняет такие факты, как хулиганство, беспричинные поступки, склоки и т. д. и т. п.

28

Очередь к окошку приемщика длинная, темная, тихая. Уксусный холодный запах. Передо мной бабка с авоськой. В авоське – три пивных бутылки. Перед бабкой – два веселых друга, кудлатый и нестриженный, с выцветшим, распертым стеклотарой рюкзаком. Перед ними – человек то ли двадцать, то ли тридцать. Да хоть три. В любую минуту приемщик может закрыть и вообще уйти: бывало. Бутылки идут в окошко, звякают о дерево. Бутылки, не прошедшие экзамена, приемщик аккуратно (себе) спускает под прилавок. Падая в опилки, они издают слабый прощальный звук. Баночки в сетке звенят друг о друга, как висюльки плебейской люстры. Счастливцев у окошка никогда не кончит строить свои фуфыри в ряды. Стоп. Теперь ловит петелькой пробку. Дома не мог.

Окошко закрывается.

Вместо розоватой серьезной очкастой рожи приемщика, похожей на отражение в бутылке, – лист фанеры.

– Что там?

– Тару принимают.

– Ну, еще на час.

Никто не уходит. Будут ждать и час, и год. Каждый верит и не верит, что и он отойдет от окошка налегке, размазывая по рублям на ладони горстку серебра.

Фанера отодвигается. Приемщик абсолютно нетороплив и негромок.

– Что? Что он сказал?

- Ноль семь не принимают?
- От вермута не будут принимать.
- Водочные сегодня не берут.

Все в очереди уверены, что приемщик – вор, что он мог бы работать быстрее и не тянуть зря наше время, но все, и я тоже, уверены, что так нужно. А еще мне интересно, как этот человек попал в приемщики? Кем он был раньше? Как ладит с властями? Ведь в любом важном человеке чудится тайна.

В один прекрасный вечерок открываю на звонок, и Шковский представляет очкастого в дубленке:

– Коля!

Коля кажется мне очень-очень знакомым, но я не верю, что такая фигура, как приемщик посуды, вместо того, чтобы есть с мясниками икру палехской ложкой и заказывать оркестру «Боже, царя храни», решил угробить вечер в моей хавире. Пялюсь на него, как на девицу. Коля усмехается, трогает дужку очков.

– Узнал? В приемном пункте работаю.

Разного народу за столом много, но я все смотрю на Колю. Приди ко мне Достоевский, я бы так не удивился. Да и что толку с покойного гения: ты будешь его благодарить, а он только моргать мертвыми глазами. Живой приемщик лучше, что Коля и доказал, уходя. Уходил он (раз я еще что-то помню) не поздно и сказал мне:

– Придешь тару сдавать – не стой в очереди. Позвони со двора. Я приму.

Весь вечер Коля помалкивал, шлепал картами, прихлебывал из стакана коньячок, что сам принес, поправлял очки и посматривал. И не только не приоткрыл своей тайны, но оставил мне еще два вопроса:

1. Зачем приходил?
2. Что за странная пара: Коля и Шковский?

29. Ягоды морозко

Давишь бусы белых ягод, за год не узнав их имени. Белые ягоды висят на кустах долго, с июля до снега, может, и под снегом висят, но коротко время, когда они громко и упруго щелкают под ногой. Сейчас как раз такое время. И, если сорвать горсть белых ягод, кидать по одной на серые плиты, которыми вымощена площадка перед библиотекой, шагать и давить их, так чтобы на одну плиту приходился один шаг и одна ягода, может быть, удастся расположить на плитах по одной мысли, удастся понять, как все это случилось: троллейбус, джинсы и карты. Как мы разбили троллейбус. Откуда взялся долг чести. За что я должен Коле-приемщику.

Давлю первую белую ягоду. Появляется Саня. Но Саня трезвый. Поэтому свою фамилию он может выговорить только с третьей попытки:

- Бастов!
- Что?
- Астров.
- Как?
- Быстров!

Саня грузчик на хлебозаводе, не в отделе снабжения, где я, а на мешках. Саня – большая, с жемчужным отливом, туча. Он рвется рассказать, но не находит слов. Его руки двигаются, как белье на ветру, молнии в глазах не могут освободиться. И голос у трезвого Сани как мышь. Саня просит, будто по мешку скребет:

– Сходи, возьми перцовки. Пока не разгрузим – не могу отойти.

Приношу. Пью свои полстакана. Остальное грузчики выпивают из горла, а бутылку бросают за мешки. Моя смена кончается, Санина – нет.

– Слушай, возьми еще одну.

– Пополам.

Саня с напарником успевают разгрузить еще машину. Я жду с бутылкой.

Сумерки. Жизнь на рампе к вечеру беднеет. Хлеб пекут днем и ночью, но на рампе после пяти пусто. Ушел черноглазый, черноусый, в белой куртке и колпаке, что целый день, сладко улыбаясь, посиживал на табуретке, чпокал – вскрывал банки сладкого болгарского компота и сыпал вишни на решето.

Дворник по кличке Полковник бросил до завтра загонять в помойную ограду пружинистые коробки, снял прорезиненный фартук, переоделся и ушел, уродливый, как все работяги в нерабочей одежде.

Гордый маленький армянин, что развозит по спецраспределителям спецторты, бросил посреди двора свой пикапчик, как аристократ испачканную перчатку.

Даже вонь миллиона яичных скорлупок притихла.

На рампе скучно. Не только день кончился. Лето кончилось. Веселое лето, когда едешь с шофером за коробками, а он кричит каждой проходящей: «Эй, красивая! Телефончик дашь?» Каждый вечер – в гости, или ребята приводят ко мне кого-нибудь нового, какого-нибудь бизона Никиту, и по пьянке на правах хозяев хлопают его по плечу, кричат: «Никитушка! Детушка!» – и хохочут. Утром на работу с легкого, как газировка, юного похмелья. Зарплата. Идем с Саней Быстровым после рюмочной, из кустов – блеск и тихий стон. Это наш начальник, Александр Сергеевич, лежит, как жук, на спине, ножками дрыгает, мяучет жалобно и очками блестит. Подняли, довели до метро, он обнимает, целует: «Спасли! Не забуду!»

И неважно, что Сергеич вороватый партийный снабженец, Саня природный работяга, а я интель. Стоит лето свободы, равенства и братства, которое козлы-французы при помощи гильотин хотели растянуть на всю человеческую жизнь. Гильотина-то режет, а не растягивает.

Наше лето прошло, как поезд. В воздухе осень. Под спецовку нужно поддевать свитер.

Грузчик Серега, что все лето шустрил, воровал, хвастал, что скоро купит с новой худощавой женой румынскую мебель, развелся, все пропил и не здоровается.

Нужно двигать отсюда: не зимовать же на рампе. Но двигать некуда. Я не уйду, пока туча вроде Быстрова не треснет молнией по бетону и железу.

Пьем стоя, Саня рассказывает еще тихо, но молнии из его глаз уже сверкают.

– Сидел я со своей, и Лелик из подъезда со своей. Ну, я забалдел, прилег, чувствую, моя меня тянет, поехали! Ну, поехали. Проехали. Открываю глаза: а это не моя, а Лехина!

– И что было?

– Ничего. А что моя скажет? Сама с соседом ушла! Сколько времени?

– Без пятнадцати закрыто!

– Беги, возьми еще одну!

– Не успею.

– Успеем. А ну, поехали!

Хлебная машина у рампы. Ключ в зажигании. Сколько я отъездил с шоферами на таких машинах. Я сижу рядом с Саней, как будто он шофер. Как будто у него есть права. Как будто он умеет водить. Саня выкруливает к проходной, машет рукой, кричит вахтеру. Мы за воротами. Мы в переулке. Винный блестит витриной за проспектом. Рывок. Удар. Звук стекол. Искры с вилки троллейбуса, в который мы въехали. Троллейбус вроде был темный, пустой. Без пассажиров.

30

Саня левой держится за руль, правой вытирает нос. Непорядок: сопли красные, вокруг гудят, машина не едет. Саня думает, а я прыгаю на хрустящий троллейбусными стеклами асфальт. Троллейбус странный, типа учебного. Еще страннее, что водитель даже не интересуется вылезти: ведь не убили же мы его. Открывается задняя дверь, и вместо шофера по ступеням сходят наш начальник Александр Сергеевич, Прохор и Коля из приемного пункта. Они держатся как представители разных ведомств, зачисленные в ревизионную комиссию. Ехала комиссия ревизовать мою душу – и вот приехала. Прохор, Коля и Александр Сергеевич становятся вокруг меня, как римская публика вокруг арены.

Я уже понимаю, что водителя у троллейбуса нет. Вернее, у этого водителя целый парк троллейбусов, и управляет он ими дистанционно.

Первым выступает, холодно блестя очками, Александр Сергеевич:

– Слушай, Ложкин. С Быстровым все ясно. С тобой – пока нет. Почини мне грузовик и гуляй на все четыре стороны.

– Сколько это?

– Четыре сотни, – он показывает четыре пальца.

– Что вы, Александр Сергеич, откуда у меня?

Вступает Прохор:

– Вписывайся! Тут сдают партию, тридцать пар мальтийских джинсов по восемьдесят рублей. Джинсы отличные, я видел, уйдут по двести. Продавец иногородний, хочет быстро спихнуть. Мы с Козлевичем берем двадцать пар. Ищем третьего. Скинешь десять штук – и за троллейбус отдашь, и на всю зиму хватит.

– Ты что, Прохор? Где я восемьсот рублей возьму?

От двери разбитого троллейбуса отделяется Коля и молча кладет, будто впечатывает мне в руку, странно тяжелый конверт.

31. Вокзал

Мы стоим перед фасадом вокзала, у входа в метро, и смотрим, как текут, не смешиваясь, два пассажирских потока: в метро и на вокзал. Пассажиров вокзальных, отъезжающих, видно не только по чемоданам, которые они торжественно и неумело прут, отставив от тела, чтобы не помять отглаженные дорожные одежды. Лица отъезжающих серьезны, собраны и экстерриториальны, как экстерриториален вокзал. Глядя на его классический фасад, не верится, что за этими полуколоннами, за стрельчатыми окнами спят на скамейках деревенские в пиджаках, а в буфете за мраморными столиками стоит цыганская семья, мужчины и дети в растянутых тренировочных штанах, с лицами в разводах загара и грязи, лупят о мрамор крутые яйца, и странного в них только абсолютная естественность, с которой они живут в вокзальном буфете. Изредка проходит железнодорожник в черной шинели, с пухлым белым лицом, в котором служивое сочетается с блатным. Железная дорога, как прожилка другой, не городской породы, протиснулась в самый центр города и основала здесь свою колонию, со своим временем и своими людьми. Вокзальные, железнодорожные ходят в город, но осторожно и ненадолго.

У пассажиров метро тоже есть общее выражение. Я пытаюсь понять его, а Прохор и Козлевич вертятся во все стороны: человека с джинсами все нет. Уланенков, которого прихватили для солидности, мрачно возвышается и иногда сплевывает на асфальт, отсчитывая свое внутреннее время.

Мы не заметили, как подошел продавец. Может, он так и стоял рядом с нами, в странной согнутой и свободной позе, поставив ногу в кожаной сандалиии на скамейку. Он в черных очках на широком лице, с узким горбатым деревенским носом и широким тонкогубым ртом, похожим на нарисованную улыбку. В рубашке и тех самых мальтийских джинсах. Он, глядя в сторону проспекта, пожал руки Козлевичу и Прохору.

– Бабки при вас? – спросил он тихо и абсолютно внятно. – Спустимся в метро. Я пересчитаю, выйду и позвоню человеку. Он встретит вас на Пушкинской, отведет на квартиру. Там отдадите бабки и возьмете товар.

Продавец распрямился и пошел к метро, а мы, как котят за кошкой, повлеклись за его широкой прямой спиной.

Сейчас эскалатор довезет нас, наконец, донизу, человек в мальтийских джинсах уже пересчитал деньги и сейчас свернет направо и по соседнему эскалатору поедет наверх, звонить, а мы двинем налево, к поезду на Пушкинскую. Но эскалатор все не кончается, заторможено проплывают бронзовые факелы фонарей в белых колпаках. Что не так, что жалит меня? То, что фарцовщики – мальчишки, а наш продавец – мужик? Нет. Что когда он считал на колене наши деньги, нога его на секунду соскочила со ступеньки, рука с пачкой сторублевых съехала с колена и на секунду ушла вниз? Да нет, не это.

А вот что: фарцовщики – ребята городские. Они встречаются на Галере, у Казанского собора, в барах. Фарцовщики никогда не назначают встреч на вокзалах. На вокзалах встречаются совсем другие люди.

32

– Граждане, не бегите по эскалатору!

– Не бегите по эскалатору!

Мы молоды. Мы можем. Бешеным бегом вверх по эскалатору мы не просто разбудили, растолкали похожую на картофельное пюре в мундире дежурную. Мы ее разозлили.

– Вызываю милицию!

Куда тебе! Мы уже наверху. Впереди Прохор. В руке у Прохора сэндвич: между двумя сторублевыми – пачка белой бумаги. Восемь минут назад, по дороге вниз, человек в мальтийских джинсах сунул ему пачку со словами:

– В порядке. Убери и не светись.

Прохор подчинился гипнозу. Гипноза хватило на пять минут. На Владимирской, только выйдя из поезда, он вытащил пачку, щелкнул ей, как колодой, и сразу бросился, и мы за ним, в закрывавшиеся двери поезда, шедшего назад, на Пушкинскую. Десять минут назад мы сошли в метро вслед за продавцом. Он вел нас. Теперь нас ведет Прохор. Мы выбегаем из метро. Перед нами проспект. Слева и справа – перекрестки. За нами – вокзал. Гада в мальтийских джинсах можно с равным успехом искать где угодно. Прохор бежит мимо вокзала, к путям, мы за ним. Проскакиваем через камеру хранения. От перрона медленно отходит поезд. В дверях последнего вагона стоит проводница с тяжелым, как осеннее ленинградское небо, взглядом. Мы догоняем предпоследний вагон. В дверях его, держась за поручень, проводница с лицом бледным и сырым, как ком вагонных простыней.

– Спроси ее, – кричит Прохору Козлевич, – спроси, человек в джинсах не сажился?

Но Прохор пробегает мимо проводницы предпоследнего вагона, догоняет уже третий вагон, и Козлевич кричит проводнице третьего вагона, маленькой живой брюнетке, которая единственная на нас смотрит:

– К вам не сажился в джинсах, в черных очках, высокий?!

Проводница кричит что-то в ответ, морщит лоб, спрашивает, но поезд пошел рывком, третий вагон уносит вперед, предпоследний, последний безнадежно обгоняют нас. Виляя кормой, уходит последний вагон. Мы бежим за его дрожащим задом с дверью.

Мы еще бежим. Все. Отдышаться. Мы на перроне одни. Отдышаться бы. Нет, мы не одни. Навстречу малорослый чурка в кепке, с огромными сумками: одну еле волочит по перрону, другую тащит на плече. Прохор сбивает с чурки кепку. Чурка, вскрикнув, понимает, что сейчас будет. Уланенков кидает сумки с перрона. Чурка прыгает за ними. Только бы отдышаться. Вокзал – далеко. Дома за путями, за деревьями, настоящие старые городские дома далеко. Мы не на вокзале. Мы не в городе. Мы на железной дороге. Мазутный воздух в аэродинамической трубе. Болит, колет в боку.

С другой стороны перрона стоит одинокий какой-то старый вагон. Мужик в дверях передает мужику на перроне ящики с бутылками. Мужик на перроне ставит их на тележку. Тот, что в дверях, поднимает на нас взгляд. Взгляд оживает. Это Коля, приемщик бутылок.

– Какие люди! – немного театрально восклицает Коля. – Заходите! Толик тару отвезет, а вы пока заходите. Пулю распишем.

Прохор лезет в вагон. Уланенков, пригнувшись, лезет в вагон. Козлевич поднимается в вагон.

– Стой! – говорит мне голос, – не ходи!

Я берусь за холодную железную ручку и поднимаюсь в вагон.

33

– Вы что, кросс бежали? – спрашивает Коля.

Мы в странном вагоне. Видно, что вагон был купейный, но перегородки всех купе, кроме последнего, разобраны. Кажется, если уж построили вагон купейным, то и на свалке он останется купейным. То, что человек может пользоваться купейным вагоном как своим складом – нормально, но когда он возьмет и разберет перегородки – это поражает и даже возмущает, кажется наглостью.

У окошек – ящики с бутылками.

– Заходите! – Коля ведет нас в единственное уцелевшее купе.

На полу вытертый ковер. У окна – приставной столик. Коля вносит, держа веером, горлышки между пальцами, четыре уже открытые бутылки пива. Над горлышками легкий дымок.

Голос стремительного Толика из коридора:

– Ну, не начали без меня? Кто пулю пишет?

– Да видишь, они сегодня и писать-то не могут. Подрались, что ли.

– Шестерки не изымать, значит? Тогда давайте в покер!

Мы садимся за приставной столик вчетвером: я – рядом с Колей, напротив нас Толик и Прохор.

Козлевич все не переварит шок, для Улы покер сложноват. Он и в очко-то путается.

– По рублю?

В покере деньги на столе. У меня есть чудом не пропитая пятерка.

Разменять.

Коля достает лопатник и уверенной рукой человека, в кошельке которого всегда есть деньги, точным движением человека, с деньгами работающего, мгновенно извлекает пять рублевых.

На одной блестит кусочек изоленты.

– Колода новая, – говорю я своей внутренней сигнализации, которая пронзительно свистит, а я все пытаюсь ее отключить.

– Эй, ты себе шестую сдаешь! Точно, дрались с кем-то.

Все взяли прикуп. У всех серенько. Только в черных глазах Прохора мелькнули два туза и джокер. Я – пас. Коля – пас. Толик – пас. Единственный рубль Прохора учетверился.

Вторая раздача. Прохор ставит четыре. Теоретик Шковский, никогда не игравший больше полтинника, с умным видом открыл мне закон покера: выигрывает тот, кто играет с учетом карт противников.

Коля ставит шесть. Толик ставит восемь.

Я никогда не учитывал карт противников, потому что в покере их не видно, но всегда смотрел, с кем играю.

– Вадик, одолжишь пятерку?

Козлевич дает пятерку. Я беру банк и ставлю двадцать.

Прохор больше не играет: не на что. Он только сжимает и разжимает кулаки.

Я играю с Колей и Толей. У меня тройка. Беру прикуп. Фуль.

Толик очень похож на Колю, но пружинистей, суше и принципиально проще. Он зачем-то взвинтил ставку и вышиб из игры Прохора, но азарта в нем нет.

Коля – пас. Толик – пас. Беру шестьдесят. Ставлю шестьдесят.

– Восемьдесят, – говорит Коля.

У Коли есть азарт. Нет, скорее интерес. Я чувствую: если выпустить из Коли этот интерес – от Коли останется Толик.

– Пас, – говорит Толик, – открываемся.

Я взял двести. Раздача. Прикуп. У меня тройка. Я сгребая выигранные бумажки, чтобы снова бросить на стол, на кон. Прохор наступает мне на ногу. Да пошел ты.

Коля – пас. Толик прибавляет: двести пятьдесят. Открываемся. Я проиграл все. Толик по-хозяйски прихлопывает деньги, двигает ими по столу, но почему-то не забирает. Он ждет. А Коля довольный, мягкий, будто не двести просадил, а коньячку выпил:

– Все, ребята, с меня на сегодня хватит. Вы продолжайте, если хотите. Толюнчик, сыграешь с Вовой на запись?

– Как скажешь, – отвечает Толик.

Прохор резко жмет мне на ногу, как на тормоз отцовской «Волги».

– Иди ты на! – кричу я ему, в первый раз чувствуя то, что чувствовали сидевшие у меня вечерами картежники.

Знаю, Прохор: выигрывает тот, кому наплевать. Я всегда выигрывал, потому что играл холодно. У меня десятирублевую игру тянули полночи. Мне было плевать, кто возьмет десятку, которую мы потом пропьем. А сейчас я сам стою на кону. У тебя-то краб в мальтийских джинсах откусил восемьсот папиных. За Козлевица долги отдаст его семья. А за меня – никто. Я обязан выиграть – значит, шансов у меня нет. Хочешь спасти – сделай скандал, дай мне по морде! Я же тебя послал!

Поздно. Раздача. На столе – ворох денег и обрывок газеты. Пятьсот рублей Толика и край газеты с чернильной цифрой «500», написанной моей рукой. Прикуп. Ура! Стрит!

– Шестьсот! – кричу я, но Толик сухо качает головой.

– Стоп, – говорит Толик, – открываемся.

У него покер.

34

Я не помню, как я попал в проходную комнату. Это странная комната: в ней нет ни дивана, ни стула, ни стола, а только четыре закрытых двери. Правая дверь открывается, и входит Толик.

– Слушай, я в Гурзуф еду, – говорит он. – Ты когда отдать сможешь? Я месяц жду.

– Да видишь, у меня сейчас нету.

– Как это нету? – смеется Толик. – Про долг чести не говорят «нету». Я в аварию попал, лежал в палате с одним татаринном, который карточный долг не отдал. Его так сделали, что теперь милостыню просить может: с палочкой ходит и на ходу ссытся. А ты «нету». У меня билет на пятое. Когда отдашь-то?

Я киваю Толику и открываю левую дверь, но прямо за ней, безлично блестя очками, стоит начальник отдела снабжения Александр Сергеевич. В руках у него маленькая грифельная доска. На доске крупно написана мелом цифра «400». Четыре сотни, которые я должен сунуть Александру Сергеевичу, чтобы не пойти по делу о хлебной машине и троллейбусе. Александр Сергеевич молчит, выставляя руки с протянутой доской. Для того чтобы его не видеть, достаточно просто захлопнуть левую дверь. Что я делаю – и опять попадаю в проходную комнату, где ждет моего ответа Толик.

Распахиваю третью дверь. Кабинет. Брыластый мент взглядом поверх очков в тяжелой оправе ставит на мне галочку и медленно, по бумаге, читает: «Ложкин Владимир Сергеевич. 1958 г. рождения. Беспартийный. Среднее. Тунеядствует (статья 158 УК РСФСР, до трех лет ИТР). Содержит игорный притон (статья 234 УК РСФСР, до пяти лет ИТР). Поддерживает связи с неоднократно судимым Уланенковым и подследственным Овчинниковым. В случае отказа помочь следствию, – мент поднимает на меня глаза, – пойдет по двум статьям».

Ломлюсь назад. Осталась последняя дверь. Узнаю ее по новой дерматиновой, с не потускневшими еще гвоздиками обивке.

Это дверь между моей половиной и половиной отца и брата. Я звоню. Тихо. Ни отец, ни брат не помогут, но, может быть, поможет сам наш дом. Я прижимаюсь ухом к новому, еще пахучему дерматину. В глубине слышен голос радио и как будто звук льющейся воды. Я еще раз звоню. Шаги. Дверь открывается. За ней не отец и не Сашка. За дверью – Сашкина жена, Марина.

35

Степени родства в русском языке обозначаются какими-то полужверинными словами: деверь, свекровь, теща, сноха, свояченица. В голову лезут рогатины, ухваты и семейная дедовщина. Родное вообще все какое-то утробное, кишковое и для человека деликатного, человека со вкусами, ценящего свои вкусы, крайне неудобное и нежелательное. Человек деликатный, интеллигентный ищет родства по душе, а не по кишкам. Ну и что, что наши родители нас родили? Это люди не нашего выбора и не на наш вкус. У человека тонкого, не уверенного в том, кто он есть, личность, как бакенами, очерчена предпочтениями, и часто, чтобы напомнить себе, кто я, приходится вспоминать, что, мол, люблю я Моцарта и рассказы Бунина. Это я. А родителей мы не выбирали. Не будь они нашими родителями – они бы не стали нашими друзьями. И Марину я не выбирал. Но когда я вижу Марину, я вижу радугу. Мир кажется домом, как мой внутренний островок. Но стоит сойти с этого островка, стоит случиться хотя бы маленькой неудаче, и я проваливаюсь в холодное черное болото. А в болоте согревает только спирт.

36

– Может, тебе уехать? – спрашивает Марина.

Мы одни. Марина всегда накрывает на стол, даже если гости собираются попить воды. Она постелила под чашки салфетки,

пачку «Стюардессы» вынула из сумочки и сумочку зачем-то положила на стол. И эту сумочку, сильно похожую на женскую душу, все время застегивает и расстегивает.

— Мы бы с Сашкой тебе дали, но мы только что первый взнос выплатили. Ничего не осталось, — Марина расстегивает сумочку, как будто хочет показать, что там не лежат три тысячи рублей, и я вижу блестящий край шелковой подкладки. — И отец, боюсь, не даст. Он тебе просто после всего не поверит. Но должен же быть выход! — Марина достает зажигалку. — Что же, сидеть и ждать, пока тебя убьют или посадят?

Марина застегивает сумочку, и все секреты ее души, в существование которых я так верю, а именно: кошелек, косметичка и пропуск — остаются в темноте, внутри.

Хорошо, Марина, я уезжаю. Я беру билет не от Витебского вокзала, а от станции «Воздухоплавательный парк». Я еду туда на автобусе, жду поезда на платформе и вхожу в третий от хвоста вагон. Больше никто на этой платформе не садится. Маленькая черненькая живая проводница показывает мне мое купе. В купе за столиком двое: Уланенков и человек с широким узкогубым ртом и деревенским носом. Он по-прежнему в темных очках и мальтийских джинсах.

Я присаживаюсь на край нижней полки, а двое, как будто не замечая меня, по очереди отпивают из банки, которая стоит на столике.

— А первую ходку где ты был? — спрашивает Уланенков.

— В Токсово, на общем.

— Я тоже там был.

— Потом раскрутился, стал сидеть — класс. Ну-ка, ты, студент, — Узкогубый поворачивает ко мне танковую башню своей физиономии со страшными черными стеклами, щелью рта и орудием носа. — Пойди возьми у проводницы таз и кипяточку. Щас жопу тебе будем парить, очко рвать на фашистские знаки!

Уланенков ухмыляется и делает глоток из банки, а я на дрожащих ножках выхожу из купе, воробыным летом из тамбура возвращаюсь домой и говорю Марине:

— Нет, Марина, лучше мне не уезжать.

— Вспомнила! — Марина опять расстегивает сумочку. — У меня дядя геолог. Хочешь, он тебя устроит в партию, на север? Он работал и с бичами, и с бывшими зеками. Говорит, люди как люди, только спиртного им давать нельзя. Так у них в партии сухой закон.

— Нам с Сухим Законом в одной партии тесно будет. Не уживемся.

— Ну ладно, не можешь в партию, беги в будущее! Переждешь — вернешься.

— Знаешь, Марина, в мое будущее лучше не соваться.

— Ну, в прошлое, в детство. Ты же можешь! Я-то, кроме страшилок из пионерлагеря и манной каши насильно за бабушку, за дедушку, вообще ничего не помню, но ты помнишь, по глазам вижу.

И в детство, Марина, я не хочу, но есть одно место, куда я попробую уйти. Это мое место. Место это недалеко, в пяти автобусных остановках.

Тайная Железная Дорога начинается за гаражами, такими старыми и страшными, что, когда их ворота закрыты, непонятно, что за машины могут там стоять. Но сегодня ржавые двери крайнего гаража распахнуты и дядька в ватнике, в темно-серой кепке навис над открытым капотом «Москвича». На улице легче работать, лучше ходить вокруг машины с ключом в руке, брать другой ключ, поглядывать и примериваться. Звякает о капот торцевик. Я прохожу мимо. Мужик смотрит косо: куда это ты идешь, зачем лезешь в наши кусты? А ты сам-то, дядя, чего не на работе? Чего устроил гаражную медитацию в рабочий день, когда все на производстве? Дядя, как бы оправдываясь, делает несколько ныряющих шагов в сторону гаражной коробки, и я вижу его страшную протезную хромоту. Лезу в кусты, раздвигаю их. Вот они, рельсы. Шпалы поймали меня, я иду по шпалам, расстояние между ними уже моего природного шага, и назойливый, навязанный ритм шагов отгоняет тяжелые мысли. Пространство вокруг освобождается, стена вырастает справа, за насыпью, из разбитых окон завода медленно поднимается белый пар.

Оп-па! У задней проходной стоит, держа на животе сумочку, Инна. Инна смотрит на часы. Она во всегдашнем своем круглом вязаном берете. У нее широкое моложавое лицо. Уже десять минут как обеденный перерыв, Инна ждет, что я выйду из проходной, и мы, абсолютно одинокие на этом заводе, пойдем в пирожковую. Я буду жевать большой вкусный печеный пирожок с мясом, слушать рассказы Инны про ее сына, красавца с волнистыми кудрями, наркомана и вора, и чувствовать себя уверенно: есть на свете пропащие и похуже меня!

Я не хочу подходить к Инне, я хочу быть один. Но и прятаться некуда. Я иду по шпалам сквозь Иннин взгляд. Она не видит меня. Она еще раз смотрит на часы и, жалко склонив большую голову в большом берете, идет в сторону пирожковой по дорожке, параллельной рельсам. Мы доходим до проходной «Техприбора» и видим, то есть я вижу сладкую парочку, коротконого Юру и дылду Виталика. Виталик несет покрыва от «Жигулей». Мои товарищи направляются в пивной зал. Сейчас они меня заметят и потащат с собой. Но меня как будто нет, и Виталик продолжает, наклоняясь к Юре, на ходу ему втолковывать, а Юра говорит: «Ты покрыва по полу волочишь». Вот проходная хладокомбината выбросила порцию грузчиков, которые, разгрузив вагон, валят в гастронорм, а нарядчик кричит: «Одного на бочки! Не хватает одного на бочки!» Сейчас он поймает меня и завернет – ворочать бочки. Я пригибаюсь и подныриваю под взгляд нарядчика.

Толпа знакомых и полужнакомых вокруг меня растет. И, хотя я один иду по шпалам, а все они – по полузаросшим асфальтовым дорожкам вдоль рельсов, я не один и вместо покоя Тайной Железной Дороги я чувствую нарастающий страх. Я боюсь, что меня, наконец, заметят, остановят и уведут. Только бы дойти до Лиговки. Лиговку не перейдет никто из них. И вот я на Лиговке, у стен завода «Союз». Поработав здесь, я первый раз в жизни захотел убить. Окна цеха открыты, в цеху идет профсобрание, работница, не пе-

реставая, кричит: «Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы!»

Там, где Лиговку пересекают рельсы, нет пешеходного перехода, но машины притормаживают. Два подростка, две щенячьих физиономии смотрят на меня сквозь мутноватое окно «Икаруса». Один – Козлевич. Другой – да это же я.

За Лиговкой я, наконец, один. Кусты. Шум явной железной дороги справа. А оттуда, куда я иду, сжимая надежду в кулаке, нарастает другой шум. Это шум экскаваторов, бульдозеров, шум поворачивающейся механической лопаты. Но я иду. Я все понял, но не бросаю надежду на землю, как пустой кулек из-под карамели. Вот и холм. На холм уже нельзя залезть. Можно только подойти и посмотреть, как бульдозеры превращают место, где я в детстве зажигал и надеялся сейчас зажечь свечу, место, где я думал спрятаться, в платную автостоянку.

38

Я опять сижу за столом напротив Марины.

– Я не смог, – отчитываюсь я, – зажечь свечу.

– Какую свечу?

– Ну, – не стану же я рассказать Марине про Тайную Железную Дорогу, – я думал спрятаться в одном месте, но этого места больше нет. Его разрушили.

– Слушай, – спрашивает вдруг Марина, – а правда, что ты пишешь?

– ...

– Дал бы почитать.

– Ты мой почерк не разберешь.

– Неужели у тебя напечатанного нет?

Нет у меня ничего напечатанного и не будет. Марина, однако, не отстает.

– Ну, сходи, принеси, почитай мне что-нибудь. Или, – Марина видит, что я боюсь выйти из комнаты, – или давай я принесу! Где у тебя?

– Картонная папка. В столе, в верхнем ящике. Только сама не открывай!

И вот я развязываю тесемки и читаю:

Радикуль

Вы знаете, что такое радикуль? Я не знаю. Но радикуль-то я знаю. Хоть и не знаю, что означает это слово. Мне ничего от радикуля не надо. И он ничего не требует, хоть и живет во мне. Я почти люблю его, радикуль. За то, что он живет и ничего не означает. Он никакой. Он нуль, но он есть. Иначе я бы не знал его. А еще я рад, что даже знать не хочу, кто он. Я рад, что мне наплевать и все равно. Я одного хочу: чтобы все стало радикулем. Чтобы было много-много радикулей и ничего больше. Я сам хочу быть радикулем и ничего не означать, но все-таки жить. Потому что умирать-то страшновато, а радикулем – в самый раз. И живешь, и ничего тебе не надо, и от тебя ничего не требуют. Знаешь, что радикуль – и все. И не подкапываешься под ме-

ня. Я радикуль – и все. А больше ни-ни. Я сам по себе. Вот так-то. Живите, как знаете, а я радикуль.

Марина закуривает сигарету, причем ее цель – не закурить, а произвести серию действий, оттеняющих мысль, дать себе время подумать и не выглядеть размышляющей.

– Почитай еще что-нибудь!

– Хорошо. Вот:

Окно

В палате было только одно окно. Белое старое окно. Теперь такие не делают. Двойное окно с форточкой. И нянечка, когда открывала ее, залезала на подоконник. За окном со своей кровати я видел только небо. Небо бывало разное. Но почти всегда серое, затянутое тучами. А если прояснялось, то становилось еще хуже. Не хотелось смотреть в холодную голубизну сентябрьского неба. И все-таки я смотрел и смотрел. Я болел долго и знал уже каждую трещинку в потолке, каждую царапину на стенах. Но наконец меня выписали.

Я вышел, качаясь на слабых ногах, пьянея от сырого свежего воздуха. Я широко раскрытыми глазами заново видел улицу, прохожих. Я оглянулся напоследок, ища взглядом свое окно. Но больничный дом был старый и большой, и очень много окон, старых и белых. Которых уже не делают.

Кто-то в них смотрит сейчас?

– Слушай, а ты молодец, – произносит Марина, глядя на меня по-новому, как человек, который вдруг понял, что проглядел что-то важное. – А ты пробовал кому-нибудь показывать?

– Кому?

– Ну, есть же литобъединения молодых писателей?

– Был я в таком объединении. Сидят пятнадцать ворон, смотрят в пол. Никому начинать неохота, потому что начавшего будут драть. Наконец залетный попугай читает: «И вроде зарплата двести, и вроде себе господин, и вроде со всеми вместе, а только совсем один».

Старший, что рядом с гуру, открывает клюв и каркает: «Первая рифма слишком ожидаема...» И налетает на бедного попугая стая ворон, и рвет из него цветные перья...

– Ну, Шковского же напечатали. А Шковский хуже тебя пишет, какие-то статьи, опросы.

– Понимаешь, Марина, писатели делятся на нормальных и подпольных. Конечно, и нормальные писатели не те люди, что покоряют север, взрывают мосты и в темных комнатах полуразрушенных домов обнимают дрожащих балерин. Они это описывают в надежде получить за свою писанину весь мир и иногда получают похвалу в журнале, блондинку-машинистку и продуктовый набор с сервелатом. Нормальный писатель живет в мире и радуется, когда мир его заметит.

А подпольный писатель существует в мире своей мечты и, даже если в его комнате столпятся журналисты, фотографы и члены Нобелевского комитета, будет моргать и недоверчиво щуриться на них, как на загробные тени, будет жаться к стене и при первой возможности выскользнет в дверь и убежит. Потому что в своем

мире он и так давно лауреат, а гости извне только мешают. Так вот я – подпольный писатель.

– Но есть же еще, – Марина понижает голос, – самиздат!

– Ты думаешь, в самиздате другое?! То же самое. Смотрят на тебя, как на вошь. Да вообще на тебя не смотрят. Он Бердяева не читал! Он Коку не знает!

– Ну слушай, нельзя же так сидеть! Пробиваются же люди. Если у тебя талант, ты не должен его зарывать в землю!

– Кому это я должен?! Это вы должны меня искать, а не я вас! Но всем насрать! Вам на меня насрать!

– Не ругайся!

– Да тебе же первой насрать! – кричу я и с радостью вижу, что это неправда. – Вы все хорошенькие, а я сволочь! – выходит неуверенно, как у ребенка, у которого мотор истерики понастоящему еще не завелся.

Я завожу мотор истерики, как заводят бензопилу. Я кричу, что все любят Валеру за фирменные трусы. Это правда. Я ору, что все любят Сашку – это неправда. Сашку скорее уважают.

– Построили железный занавес: вы здесь – я там!

Это правда.

– Хотите только, чтоб я сдох и комната освободилась!

Похоже, увы, на правду.

– С тех пор как матери нет, я вообще один!

Марина оставляет, наконец, в покое свою сумочку. Правда и неправда моих воплей сливаются в ее широко открытых глазах, как явная и Тайная железные дороги. Они сливаются, как реки, и ветка в месте их слияния становится шире. Потому что отсюда идет поезд любви, а поезду любви нужны особые рельсы. Марина встает. Сейчас она войдет в вагон. Она гладит мои волосы. Я обнимаю ее, еще сидя, я встаю, обнимаю ее и чуть не отшатываюсь от неожиданной улыбки счастья, от света счастья на ее лице с закрытыми глазами. Это счастье женщины, которая после работы пришла с сумками на вокзал, чтобы, стоя в набитой электричке, два часа ехать на дачу, где недовольная свекровь в клеенчатом фартуке варит детям щавелевый суп, и вдруг увидела ясноглазый, свежавыкрашенный сине-зеленым, дрогнувший, чтобы тронуться, поезд в Сочи и почему-то спросила у проводницы, нет ли свободных мест, а проводница возьми и скажи: есть, во втором вагоне. И женщина бежит со своими сумками к вагону, в котором еду я. Сейчас она войдет в мой вагон – и я стану, наконец, старшим братом. Поезд отходит, Марина, задыхаясь, бежит по перрону, я различаю в ее дыхании слова, она произносит что-то на границе между дыханием и голосом, два слова, как милый, дорогой, невнятно, дыхание, вздымаясь, рвет концы слов, они повторяются, и я вдруг ловлю:

– Телефон звонит!

Пусть звонит.

– Телефон звонит!

– Да хрен с ним, пусть звонит!

– Телефон звонит! Пусти!!

И уже из другой комнаты:

– Подойди. Это тебя.

39

– Тебя, – Марина протягивает мне трубку.

– Привет, – говорит трубка, – это Коля из приемного пункта. Зайди ко мне. Поговорить.

– Сейчас?

– А чего тянуть? Через полчаса смену кончаем. Знаешь, где служебный вход? Черная дверь со двора.

Я иду через пустырь. Вот мои деревянные, точнее, древесные ворота. Что бы ни случилось, горе или беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота мои, мои деревянные. Хорошо бы пропрыгать через ворота на счастье, но я сейчас не могу прыгать на одной ножке: ведь я не иду, меня тащат. Меня тащат сквозь всю мою жизнь: вот гусь, слон, собака и петух над входом в мой детский сад, серый фасад нашей школы с профилями бородатых людей. Вот парадная Козлевича.

Газон перед его домом засажен в основном кленами, а возле шестерки, где приемный пункт – одни березы, как проливной дождь. Почему я иду? Я понимаю, почему миллионы людей явились по повестке. Я не могу понять тех, кто не явился, кто, услышав стук милиции в дверь, вышел черным ходом. Тех, кто сопротивлялся, порвал смертельную повестку, уехал, бежал. Я чувствую удавку, которая тащит меня в приемный пункт. Убивать сегодня не будут. Убивать бы к себе не позвали. Сегодня поучат. Могут поучить бутылкой в жопу, могут монтировкой. И дадут неделю. Так чего тянуть? Сам Коля так сказал. Вот дверь. Черная.

Я не раз был в подсобке приемного пункта, но не могу ее описать. Помню только, что всё там из ящиков, запах какой-то зеленый, со стороны окошка слышен постук – это Колин подручный ставит бутылки.

– Садись, – Коля сидит за канцелярским столом с клеенкой.

Сейчас скажет: «Закуривай!»

– Я заплатил Толику твой долг, – говорит вместо этого Коля, – и на хлебозаводе заплатил. Этому, в очках. И про мои восемьсот забудь. Ты свободен. Но только на год. Я просто поспорил с одним твоим другом о возможностях социальной адаптации интровертов с нарциссоидальным типом личности. Я психфак кончал. Твой друг считает, что шансов на адаптацию у тебя нет. А я говорю, есть. Спор, собственно, не об этом, а о значении погрешностей при статистической обработке данных эксперимента. Ладно, короче: поработаешь год, все равно где, и ни во что не влипнешь – свободен. Не будешь работать или влипнешь – я твой долг передам людям. Тогда с тобой разберутся. Понял?

40

Успокойся, Шковский: ты выиграл. Ни на какую работу я устраиваться не буду. Вот ты говоришь: зачем Бог? Почему человек сам не может стать Богом? Ты, Шковский, не можешь, потому что Бог строит, а ты только препарлируешь. Я не могу из-за задачи. Для Бога сложного нет, он всемогущ, а передо мной – задача. Сейчас расскажу. Выпьем – и скажу. Ну, давай.

Бог, Шковский, живет вне времени, ему легко знать, что будет, для него все – сейчас. Я из-за ваших экспериментов теперь тоже вне времени. Коля сказал: если я не устроюсь на работу, жизни моей остался год. Мне бы бегать, считать дни, у отца просить прощения, чтобы лаборантом устроил, а я – сам видишь... Во-первых, ясно: куда бы я ни устроился, год не проработаю. Так нечего и суетиться. Во-вторых, может, Коля за этот год сам помрет или попадет в больницу, и будет ему через год не до меня. Но главное, вчера я знал, что меня сейчас убьют, а сегодня я знаю, что сейчас меня не убьют – и просто живу. А будущего никакого нет. Будущее, горизонты, новые хорошие товарищи – бред. Нет другой судьбы. Нет другой железной дороги. Нет других друзей. Мои друзья – моя радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Пока я вижу только грязные цвета. Потому что Козлевич – размазня, Прохор – сволочь, Валера – торгаш, ты, Шковский, просто скальпель, насекомое с микроскопом.

А я должен видеть чистые цвета. Ведь Козлевич добрый, Прохор – сильный, Валера – жизнерадостный, Сашка – честный и верный. И ты, Шковский, по-своему человек.

Я не хотел бы быть Богом, потому что если б я стал Богом, радуга стояла бы передо мной всегда. И главная моя задача – увидеть ее чистые цвета – уже не была бы моей. И, увидев чистые цвета – понимаешь? – я бы не мог радоваться, как я радуюсь сейчас, когда я выхожу из времени и ясно вижу, как Уланенкову дают диплом врача, как Коля, проиграв пари, отменяет мой смертный приговор, как Козлевич, лысоватый и пухлый, в бежевом заграничном плаще, дочитывает нашу с ним рукопись, встает со скамейки и медленно, мимо детского сада и школы, мимо своего дома, идет к автобусной остановке.

* * *

Постояв у могилы деда-эстонца на окраине лютеранского кладбища, Козлевич идет к другим дедушке и бабушке, на соседнее еврейское. Тащится через все лютеранское кладбище. Мимо стоячих и лежащих советских плит, безликих и уже обветшавших, как хрущевские пятиэтажки, мимо надгробий прошлого века, возле которых останавливаешься рассмотреть пальмовые ветви, крыльями расходящиеся от креста, или прочитать в строгом и соразмерном прямоугольнике имена семьи Фрезер, через век XVIII, где на прекрасных ноздреватых, в завитках, плитах хочется распить бутылку домашнего вина или зачать новую жизнь. Город мертвых лютеран запущен: немцы-то тоже уехали.

Выйдя из одних ворот, Козлевич долго-долго бредет вдоль высокого и глухого забора до других ворот, до черных столбов кладбищенской синагоги. Окруженная пыльными лесами синагога похожа и на раскопки, и на современную некоммерческую стройку, которая периодически замирает, потому что министерский бюджет кончается или разоряется банк спонсора. Огибая леса, Козлевич, стыдясь своих мыслей, думает, что даже если стены синагоги позолотить и инкрустировать слоновой костью, синагога все равно останется

бывшей и вкладывать в ее украшение деньги – все равно что вкладывать их в расширение и украшение могильного памятника.

Судя по надгробьям – места у самой синагоги считаются лучшими. «Яков Малкин. Человек добрый и скромный» – написано на трехметровом постаменте из невиданного мрамора. Слева целое надгробное поместье. Мощенная черным гранитом дорожка с фонарями ведет к черным чугунным воротам. Мать Козлевича видела похороны: провожавшие приехали на длинных черных машинах, и все были одеты в длинные черные пальто. А вот огромный старый склеп вида мавританского. Все уцелело: ограда, колонны, витой полосатый купол. Только имени не осталось ни на воротах, ни под куполом – нигде.

Козлевич идет от синагоги в глубь могильного лиственного парка, не помня, а скорее чувствуя дорогу. Иногда он читает надписи на могилах – обычно там, где ему показывала мать. «Заславский Я. М. 1920–1941 Заславский Н. М. 1922–1942 Заславский Г. М. 1918–1943».

«Смотри, – слышит Козлевич пресекающийся от нервных слез голос матери, – три сына, три мальчика. Все трое – солдаты. Все дети погибли». Но рядом могила отца и матери Заславских, умерших в шестидесятые, с надписью: «От детей и внуков». Значит, кто-то из детей пережил войну: дочь, может быть? Козлевич ищет на плите имя дочери – и не находит. Дальше надо пробираться, почти протискиваться между оград. Вот здесь. Участок семьи Козлевича на самом краю, недалеко от забора, от железной дороги, разделяющей еврейское и лютеранское кладбища. Между могилами дедов – метров сто, и двадцать минут назад, стоя на лютеранском и глядя на забор, Козлевич подумал было: а не перелезть ли? Но не только чувство, что по кладбищам надо передвигаться приличным образом, а через заборы лазают исключительно церковные воры из рассказов, не только страх безнадежно испачкать бежевый туристский плащ остановил его. В неживых серых столбах, в грязной сетке разделявших кладбища заборов, в полосе отчуждения между ними было то, чем с годами обрастают, становясь непреодолимыми препятствия. Если бы что-нибудь мелькнуло между заборами. Если бы по рельсам простучал состав. Но и рельсы неживые. Козлевич подходит к могильной ограде. Надо стряхнуть с плиты листья, а у него нет ни граблей, ни рукавиц. Начинает идти редкий твердый снег – и иссякает.

Козлевич отгребает кленовые листья ладонью, читает надписи. Предки лежат под одной плитой, у всех одна фамилия, имена обозначены инициалами, и Козлевич не может вспомнить, кто такой (такая) Ц. М. Шмулевич. Он считает предков, загибая мокрые и грязные пальцы: дедушка, бабушка, тетя Соня, но не находит в памяти Ц. М.

Козлевич пытается прочесть на память псалом. Порыв рыданий, короткий и косой, как порыв снега, схватывает его – и отпускает. Козлевич пережидает, держась за ограду. Пережидает, держась за ограду, и бредет к выходу. До выхода далеко. Все пространство, до самой высоты голубого теперь неба, заштриховано стволами и ветками. Присесть. Вот и скамейка со стариком в резиновых сапогах и ватнике. Старик беззубый и на первый взгляд дряхлый, но прижившийся к кладбищу, как ящерица к траве, как горлица к скалам.

– Могу оградку покрасить, замок сменить, траву скосить, выполоть, – начинает старик естественно, как дождь или снег.

– И есть работа? Евреи ведь уехали?

– Да, поуезжали. А те, что остались, не заказывают. Видно, маловато им платят на производстве.

– А что это за железная дорога между кладбищами? – спрашивает Козлевич, которому хорошо разговаривать со стариком. – Она куда ведет?

– Там раньше не было никакой дороги. Заборчик стоял – и все. Потом, до войны еще, один инженер, Кениг его фамилия, провел ветку. Ему говорили – не берись, не трогай могилы. А он взялся, конечно. Ветку проложил – и сразу же сам лег. У ветки и похоронили.

– Так на каком он кладбище-то, – спрашивает Козлевич, – на еврейском или на немецком? Кениг – это вроде еврейская фамилия? Или немецкая?

– Не знаю.

– «Кениг» по-немецки – король.

– Да я сам в войну в Германии был, на работах, но подзабыл слова. Ничего не помню.

Мимо скамейки проплывает, как ветка в медленной реке, пара: здоровенный лысый парень лет сорока и невысокая, сухого профессорского вида, немка: немецкий, как тихо на нем ни говори, бьет издаലെка. Видно, немка – подруга этого в прошлом питерского человека, у которого здесь похоронены родители или дедушка.

– Простите, – спрашивает ее по-английски Козлевич, – мы тут поспорили: Кениг – это немецкая или еврейская фамилия?

– Кениг, – произносит, останавливаясь и хмурясь, немка и опять пробует слово на слух: – Кениг – конечно, немецкая.

Козлевич медленно идет к синагоге. За воротами, наверное, остановился автобус: как будто невидимая рука просунулась в ворота и бросила в вязкое пространство кладбища горсть людей, а люди медленно, как семена одуванчика, только не поодиночке, а парами, разлетаются по аллеям, похожие на воскресных садоводов. Из сумок их торчат черенки тяпок и граблей, ручки веников. Люди немолоды, никакой особой нацпринадлежности в их лицах не видно.

Козлевич, собравшийся было уходить, опять садится на скамейку. Он не может уйти. Козлевич думает, что надо было бы, наверное, чтобы и его похоронили здесь, что правильно было бы и ему лежать с родными, на родовом месте, между молчаливой непреодолимой железной дорогой и невидимым шумным шоссе. Но ясно, что быть этого не может. Хоронят дети, а его дети родились и живут в другой стране.

Да и самому, чтобы быть похороненным в этом чужом уже городе, надо дожить в нем до смерти, а об этом нечего и думать. Родители здесь, дети там, сознание Козлевича, шагнувшего отсюда туда, представляет собой что-то вроде понтонного моста, один конец которого – белый, жаркий, сплясывающий город, другой – тенистое кладбище.

Сейчас Козлевич выйдет за ворота и поймает такси. Будет ехать, разговаривать с шофером и думать, чувствует ли шофер его акцент.

А вечером они встретятся с Ложкиным.

Михаил Яснoв

ОТЧАСТИ

* * *

Под говорок еврейского квартала,
где мир звучит гортанно и картаво,

под говорок цыганского квартала,
где всё на свете речь перемешала,

под говорок арабского квартала –
его-то нам как раз и не хватало! –

проходит жизнь под этот говорок,
порою смерть пуская на порог:

смерть безъязыка, но в любом квартале
её всегда и всюду понимали,

и перед ней склоняет микрофон
синхронный переводчик при ООН.

* * *

Всё, что было желанным, становится жёванным
забивает гортань отцветающий пух.
И когда пожелают красавицу в жёны вам,
поглядите вокруг на окрестных старух.

Я и сам из породы набивших оскомину,
не другим – так себе, не в себе – так в другом,
и в попытках прожить эту жизнь по-достойному
забиваю гортань, как пустующий дом.

* * *

Покуда свято место не пустует,
не отдадим историю векам.
Россия спит. Германия бастует.
Пол-Франции сидит по кабакам.

Я пил, как все, – но был мой тост нестоящ.
Кричал, как все, – но не ступал за грань.
А сон страны, рождающий чудовищ,
проник мне в жабы и забил гортань.

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ В ТОЙЛЕ. ЭСТОНИЯ

На могилах алфавита
дремлют буквы и растенья.
Спят кресты, надгробья, плиты,
спят неведомые тени.

Им теперь куда спокойней
под травой, уже несмятой,
тем, кого блазнили бойней
бесноватый и усатый.

Спят обугленные трубки,
дремлет прах – письмо ли, карта,
а под ними спят обрубки
давних войн Петра и Карла,

а под ними – просто бездна,
вся засыпана костями,
а под ними всё неизвестно,
прах да прах – черпай горстями.

Нет земли – одна могила,
все мы здесь родня и гости...

А кому-то хватит силы
стать травинкой на погосте.

* * *

Сначала немного вина,
потом разговоры о главном –
и эта шальная волна
весь ужас приносит стремглав нам.

Ты¹ плачешь, ты губы кривишь,
горишь, как горит целлулоид.
Каких небывалых кровийц
душе эта музыка стоит?

И всё: не дышать и не жить,
и лишь в неизбежности лютой
губами лицо осушить,
как древнюю чашу с цикутой.

И больше не слушать, не сметь,
но слиться друг с другом, как паззлы,
покуда любовь, словно смерть,
готовит последние спазмы.

* * *

Один доживает до старости,
другой умирает в юности.
Остались одни печалести,
а были одни сумбурности.

А были одни весёлости,
но вот ведь как обернулось:
старость на дикой скорости
переехала юность.

Подите теперь проверьте:
юности нет, как не было,
а старость до самой смерти
платит за эти небыли.

* * *

О как мне доставалось!
О как меня вело!..
Страсть переходит в старость
посредством буквы О.

Ну что нам буквы дали,
зачем они дались?
Молчи, от них подале
скрывайся и таись.

ИЗ ДЕТСТВА

Ко мне старичок подошёл у дверей.
Спросил:
– Ты еврейчик?
Я тоже еврей!..
И грустный какой-то, неловкий,
погладил меня по головке.

За что, не пойму, он меня пожалел,
чужой старичок с бородою, как мел,
и в шляпе с большими полями –
живущий на пятом, над нами?

Я вышел из дома. Скамейки. Цветник.
Но шёл старичок, приподняв воротник,
и, словно споткнуться боялся,
всё время к стене прижимался.

* * *

Ну и досталась родня:
хлещут вино, как коня,
с гиком и посвистом! Я не
тот, что иные цыгане.

Сяду, в себя углублён,
тихо возьму поллитровку,
к рюмке подвешу лимон,
словно над дверью подковку.

* * *

Я не видел Берестова грустным –
я запомнил Берестова устным,
с песенкой да байкою о том,
как Чуковский спорил с Маршаком.

Что даётся детскому поэту?
Если повёзет – запомнить эту
заповедь, важней иных наук,
что в стихах всего дороже звук.

От того и не был он печален,
этот звонкий голос дяди Валин,
тенорок, переходящий в смех,
звук держал – за них, за нас, за всех!

* * *

Между временем и временем застрянув,
я внезапно ощущаю всей судьбой
сладкий запах облетающих платанов,
словно зябкую облатку под губой.

Ствол звенит, как будто сделан из металла,
и восходит ломкий шорох от земли:
то ли осень эти листья разметала,
то ли птицы их на крыльях разнесли.

И останутся у ветра на примете
эти символы привычной новизны:
изваяния лесного Джакометти –
корневища, утолщения, узлы.

Всё живое, всё действительно живое,
облетаю, улетаю и живу,
как ребёнок, зарываюсь головою,
зарываюсь в невозвратную листву.

* * *

Девочка, не знающая жалости
к телу, созидателю наград,
не кружись без удержу, пожалуйста,
не садись так бойко на канат.

Эти ножки, жаждущие зрелости, —
ты им не противься, не перечь.
Станешь ли, при всей своей умелости,
узеньких держательницей плеч?

Нет, не выйдет! Слишком ноша тяжкая
для таких напористых, как ты.
Вот и бьёшься безымянной пташкою
о тупые прутья пустоты.

* * *

Считаю поутру жучков и паучков,
пока окрестный мир туманами застелен.
Горошек разбросав, трещит поэт Стручков.
В античном забытии цветёт поэт Камелин.

Я фауной объят и флорой окружен,
ещё б живой воды — хоть капельку, хоть слово...
Но Рейн сошёл с ума — кричит: «Я — Донн! Я — Дон...»
И, русло изменив, спешит на зов Азова.

* * *

Что было предназначено,
назначено не мне.
Жизнь, начатая начерно,
кончается вчерне.

Рассыпались тетради, чьи
страницы — размело,
и только ты, не глядячи,
случилась набело.

Разобранные волосы,
в глазах темным-темно,
и снегом, словно с полюса,
лицо замечено,

расстёгнутые пуговицы,
приспущенный чулок...
Нет, ни единой буковки
я б изменить не мог!

ЗАКЛИНАНИЕ

Усни на моём плече посреди зимы,
которую так давно торопили мы,
чтоб снег невидимкой сделал укромный дом –
усни поскорей, я счастлив твоим теплом.

Усни на моём плече посреди страны,
в которой мы все заложники той шпаны,
что напрочь забыла про детскую боль и грусть –
усни поскорей, я так за тебя боюсь.

Усни на моём плече посреди беды,
в которой мы так бесславны и так тверды,
что только вдвоём сумеем её прожить –
усни поскорей, нам утром опять тужить.

Усни на моём плече посреди любви,
которой так мало надо: одной любви,
любви при одной звезде, при одной свече –
усни поскорей, усни на моём плече.

* * *

Про древний Родос всё наврали карты,
но камень солон, а песок горяч,
и так ветрит, что если не Икар ты –
то крылья отстегни и тут же спрячь.

Куда лететь, куда нам плыть? Не знаю.
Всё это происходит не со мной.
Но жизнь прочна, как ниточка сквозная
между воздушным змеем и землёй.

* * *

Время отлежится, точно силос,
всё удобрит горечью своей.
Вдруг ты позвонишь мне, как грозилась,
и возникнешь около дверей?

Брошусь ли навстречу, расцелую,
сердцем чуя прожитый провал,
или разгляжу в тебе другую,
ту, что до сих пор ещё не знал?

И в преддверье будущей удачи –
или неудачи, кто решит? –
я сейчас сию один и плачу,
как ребёнок, горько и навзрыд.

* * *

Ну кто ещё решится на такое?
Пожалуй, только мы с тобой рискнём:
тебе чуть-чуть любви, а мне – покоя,
а воля остается за окном.

Я выгляну, а там, внизу, отчасти
распутица, отчасти – гололёд.
А впрочем, разговор идет о счастье.
– О чём, о чём?
– О том, что снег идёт.

* * *

Плоть отчасти, отчасти – душа,
что из нашего прошлого выйдет?
Оттого-то и жизнь хороша,
что границ между ними не видит.

Я невольно часы тороплю
и дневные мешаю с ночными.
Оттого-то тебя и люблю,
что не вижу границ между ними.

* * *

О чём кричите вы, старинные чернила?
Разлука – сблизила, а близость – разлучила.
Тоскою выцветшей заполнена тетрадь.
Разлука – сблизила. Но слов не разобрать.

А вот машинопись, уже давно слепая,
здесь жмутся буквы, друг на друга наступая,
и так издёрган шрифт, и так его знобит...
Разлука – сблизила. Но дальше текст забит.

А ты, мой верный друг, заложник лёгких клавиш,
какому будущему тень от нас оставишь?
Разлука – сблизила. Так в чём же тут беда?
А близость – разлучи...

Всё стерто навсегда.

Эля Сухова

УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ

Улица как улица... Одним концом упирается в линию железной дороги. Вернее – в железнодорожный барак, который на эту линию практически залез. А вторым концом – в лес. Ну, не то чтоб лес – так, соснячок-переплюйка, но маслят набрать можно.

Сразу после войны здесь давали землю рабочим кирпичного завода. Вот и строили, без слёз не взглянешь – как правило, из шлака или некондиционного кирпича. Корявого, пережжённого, с иссиня-чёрными пузырями непропёков. А потом достраивали, латали, добавляли без склада и ладу, тут – террасочку, там – пристроечку, сбоку курятник. И с тех пор такого понастроили, что даже хочется поблагодарить того великого мыслителя, который придумал профильное железо высотой в три метра. Теперь тут половина заборов из него сделана.

А там, за заборами, – своя жизнь. Своя смерть.

БАРАК БЕЗ НОМЕРА

Ольга Ивановна сидит у меня на кухне и плачет. Плачет давно и старательно, лицо опухшее, всё в бурых пятнах, толстые пальцы, жестоко пережатые массивными золотыми кольцами, мнут люрексую косынку. Косынка колючая, нос ей вытирать неудобно, но она всё равно вытирает.

«Нет, ты подумай – это она мне, мне сказала!!! Да я для неё всё! Вот поверишь, уже пять лет только об ней пекусь, а она... Она – мне!!! Уезжай, говорит, не хочу тебя видеть!!!»

И новая порция слёз и соплей. Я поддакиваю, сокрушаюсь, пою чаем. Ольга Ивановна уже два раза отвлекалась от своего горя – сперва осудила мои помидоры, дескать, не так взошли, потом – кошку, которая влезла на стол.

Я уж понадеялась, что она переключилась, – ан нет... Видать, крепко обиделась, теперь её обиды недели на две хватит. Пока по всем соседям не пройдёт, всем о «неблагодарной» не поведает – не успокоится. А потом к своей «неблагодарной» вернётся, уж мне ль не знать. Не в первый раз она тут плачет...

«Неблагодарная» – это внучка, жирненькая пятилетняя пупсёна с бледно-голубыми навывкате глазами, не понимающая слова «нельзя». Её время от времени отправляют к бабушке погостить, так что я её неоднократно наблюдала, что называется, в быту. А Толика, Ольги Иванниного сына, автора внучки, видела всего пару раз. Не любит он тут бывать, барака мамино стесняется. Он с семьёй теперь в коттеджике площадью метров шестьсот обитает, о бараках ему и вспоминать-то не хочется...

Кстати, он тоже железнодорожник, как и маменька. Она всю жизнь в кассе дальнего следования оттрубила, а он – начальник

участка. Невелика должность, официально тыщ на сорок, но на ежегодный отдых на Лазурном берегу, скромный домик в восемнадцать комнат да новый джип хватает помаленьку...

Толя – раздражительный, вечно вздрыченный и вечно на диете. Никак со ста пятидесяти кг хотя бы до ста двадцати сбуться не может. Трудно ему, конечно. Жена сроду не работала, теща-инвалид на шее, да ещё ребёнок никак не получался. Они его лет десять вымучивали, сплошные искусственные оплодотворения да выкидыши... А теперь вот она, доченька! Так что они на свою Дашеньку всей семьёй молятся. И если та в магазине падает на пол и начинает визжать, требуя что-нибудь этакое, всё ей тут же предоставляется. А Ольга Ивановна – женщина нравов строгих, рука у неё тяжёлая, и при таких фортелях у неё ответ один: а по толстой заднице не хочешь? И летит Дашенька впереди собственного визга...

Ну, наподдала она малой разок, подумаешь! Ведь было за что! А на следующий день поехала с внученькой сидеть, та с порога верещит – видеть бабу не хочет, да невестка с претензиями: «Как вы могли на Дашеньку руку поднять?! Валите в свой барак и не приезжайте больше!»

Провожая её – грузную бой-бабу, разведёнку, до самого барака. Она вроде и успокоилась, а перед своим крыльцом опять начинает всхлипывать. «Ольга Иванна, да что вы, не берите в голову, это она по малолетству, по недомыслию».

«А-а-а, молодая ты, не понимаешь! Ведь я уже жизнь прожила, а кроме этого грёбаного барака и вправду ничего своего нет!!!» – и снова утирается засморканной косынкой. Мимо грохочет товарняк, дребезжат стекла, дрожит земля под ногами. Ольга Ивановна ещё что-то говорит, да только ничего не слышно... Я стучу пальцем по уху и пожимаю плечами. Она в ответ машет рукой, жалко улыбается и закрывает за собой дверь.

Товарняк какой-то бесконечный...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 1

Дядя Паня был чудак, каких мало. Чудак в людском представлении – он какой? Благодушный, блаженный, светлый... А дядя Паня был чудак упёртый, агрессивный и хамоватый. И как его тётя Маня столько лет выдерживала? В последний год его жизни, когда я за ним присматривала, он был уже слабенький совсем, полупарализованный, да и то я порой от него залезала на чердак, сидела там часами и думала – не выдержу! Либо сама сейчас повешусь, либо его придушу, благо никто не прикопается – кто там станет разбираться, от чего человек в девяносто один год помер?

Причём странности его отнюдь не от старости – он всегда такой был, сколько его помню. Я ведь маленькая, лет до пяти, тут жила. Потом уехала, с отцом по гарнизонам моталась. А теперь, выходит, домой вернулась...

Так вот – от дяди Пани и в те годы повеситься можно было. Вся беда в том, что он, во-первых, очень ценил своё здоровье, а во-вторых – свято верил печатному слову. А изобретателей в сфере здоровья всегда хватает.

Напишет какой-нибудь талант, что помидоры удивительно полезны – и дядя Паня начинает жить на одних помидорах. Потом какой-нибудь другой талант откроет, что они, напротив, ужас как вредны. И – абзац: из рациона дяди Пани помидоры и всё, что с ними связано, уходят как класс. Мы так пережили период питания одними яйцами и их полного отрицания, сыроедения, когда, возвращаясь с работы, он лихо зажёвывал полкочна капусты, пару реп и сырую свёклину, а я с ужасом смотрела на его раздувшееся пузо и ждала, когда он лопнет. Дальше последовали овощи, запечённые вместе с кожурой в духовке, это было ещё терпимо. А вот с мёдом, которого, как написал кто-то умный, человеку надо непременно съедать столовую ложку в день, у меня оказались проблемы. Это когда дядя Паня, кушая вечером кислые щи, вдруг вспомнил, что не съел дежурную ложку мёда, и спокойно плюхнул её прямо в щи. И употребил со словами: «Да какая разница, всё равно в животе перемешается». А меня стошнило...

Меня и потом не раз тошнило – он последние лет двадцать увлекался уринотерапией. Вот уж утопить бы изобретателя этой гадости в его любимом продукте! И как вам картина: полупарализованный старик утром первым делом – цоп стакан со стола, насыт туда три мне да и выпьет... А потом мне этот стакан суёт – давай, мол, кофе сюда же!

Не стало его – я откровенно обрадовалась.

А потом запечалилась – одиноко как-то...

И тут же это дело поправила – хорошую ничейную бабушку подобрала, собаку добрые люди подкинули, а две кошки сами пришли. Вот теперь совсем другое дело... И жизнь радует!

Варю варенье на летней кухоньке, на крыльце собака лежит – блаженствует, бабушка на огороде копается – любит она это дело, кошки у ног мурчат... Эх, хорошо!

А в голову мыслишка лезет – вот я помру, и кто-нибудь обо мне станет рассказывать – мол, жила тут одна дурочка, весь год босиком ходила и подбирала всех подряд...

Да ладно, пусть что хотят говорят!

Мне-то уже всё равно будет...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 2 И Д. 3

Может, кто-то по утрам просыпается с петухами, а я просыпаюсь с коровой. Она начинает истошно орать ровно в семь утра. Никогда не могла понять, чего ей, дуре, надо – то ли жрать, то ли пить, то ли доиться... Когда эта сирена включается, слышно за километр. А если вот так, под самым ухом... Я аж в кровати подпрыгиваю!

Да ладно, пусть орёт – мне всё равно на работу вставать, так что можно считать, она вместо будильника. И вообще, если разобраться, корову эту надо ценить и уважать. И пусть делает что хочет, поскольку она у нас реликтовая – самая последняя в деревне. Пасёт свою бурёнку Ленка Чернецова возле моего дома – на горелом участке, где раньше Васька жил. И сам Васька, и вся его семья были страшные баламуты. Папаша пил, как бочка, пёр, что под руку попадёт, и по пьяному делу попал под поезд. Давно уже.

Мамаша пила, как две бочки, и её хватил инсульт. А Васька её бросил, запер дом и уехал к любовнице в соседнюю деревню. И больше месяца, пока мамаша не померла, к ней ходили по очереди кормить и мыть Ленка, Галина Кирилловна и Ольга Ивановна.

Хоть и дерьмовая была баба, а всё ж живой человек – жалко...

Похоронили её тоже вскладчину, а Васька даже на похороны не пришёл. И жить тут не стал, сдал дом.

Да только и жильцы здесь недолго продержались. Мы-то, помню, радовались – семья тихая, работающая, узбек с женой и двумя детишками. Уважительный такой. Особенно после Васьки – на контрасте.

Осенью они вселились, а в феврале среди ночи ка-а-к полыхнет! Проснулись мы, выбежали – грохот страшный, шифер взрывается и летит во все стороны, ветер какие-то горящие куски крутит, несёт, зарево такое – жуть...

Узбека самого дома не было, а жена его в халате, босая, выскочила, воет, мечется. Русский с перепугу напрочь забыла – по-своему верещит, а мы понять не можем, дети-то где? То ли она их вытаскила, то ли они там заживо горят?

Одного нашли вскоре – ко мне под крыльцо забился. А второго нет! Я уж пальто старое водой облила, с головой в него замоталась да совсем было в огонь полезла – искать. Хорошо Ольга Ивановна вспомнила – нету там детёныша, его в больницу днём раньше забрали...

Часа через три, уж когда угольки дотлевали, пожарная прибыла. Без воды, конечно... Посоветовали нам пожарище снегом присыпать, чтоб не дай бог огонь не раздуло, да и отчалили...

А Ваську в ту же зиму убили где-то, так что участок теперь ничей.

Трава после пожара растёт высокая, сочная, есть что покушать. Корова жирная, чистая, удойная... Молоко вку-усное, за ним дачники чуть не в драку. Сколько цену ни скажешь – всё возьмут! Но и трудов с коровой... Не позавидуешь Ленкиному достатку.

Вчера собралась я на работу, калитку запираю, гляжу – Ленка семенит, успела уже спозаранок травы накосить. Велосипед из-под копны почти не видно, так навьючила...

– Как, – говорю, – ребята твои? Сынок, дочка?

Личико у Ленки красное, маленькое, морщинистое, платок намотан кое-как, халат синий, рабочий, и резиновые сапоги на босу ногу. Улыбается, кивает, половины зубов нет... Ух, хороша, кикиморка!

– Спасибо, спасибо, радуют детки. Серёжа на третий курс перешёл, на повышенную стипендию. А Кате в этом году диплом защищать, её уже в аспирантуру позвали. Умочки мои!

Смотрит на меня в упор – глазки водянистые, поблёскивают, как у мыши. И вдруг спрашивает:

– А знаешь, о чём я мечтаю? Как только детей выучу – в тот самый день, как они первую зарплату принесут, – угадай, что сделаю? А корову зарежу! Вот те крест – зарежу! Как же я её, тварь удойную, ненавижу! Вся жизнь моя говном коровьим провоняла!

В корове включается сирена.

«Уй ты лапочка, уй ты милочка, – сюсюкающе заводит Ленка. – Пить захотела, хорошая моя... Сейчас, сейчас...» И, не прощаясь, припускает к своему дому.

Корова орёт обречённо...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 4

Шла сегодня из магазина, а навстречу Лариса Николаевна. И главное, спрятаться некуда – с одной стороны забор, с другой – канава. Мимо пройти, сделать вид, что не заметила? Никак – дорожка-то узкая... Пришлось поздороваться. А с ней только поздоровайся – и всё, не вырвешься! Оправдания типа «не могу, тороплюсь, меня ждут» не прокатывают. Она вцепляется, как клещ, и говорит, говорит, говорит...

В основном о своём здоровье – мол, врачи взятку ждут, не дают ей первую группу инвалидности, даже вторую едва выбила, а у неё и там болит, и тут стучит, и ещё вот здесь ёкает... Да со всеми подробностями, с результатами анализов...

Ещё – о деньгах. Как она что-нибудь выгодно сделала, купила, продала, построила. Как с неё хотели взять больше, а она им кукиш, и как можно было ещё выгоднее, да не получилось.

О своей гениальности и красоте. Сколько у неё изобретений, как на её достижениях до сих пор целая отрасль работает. Как её сватали и тот, и этот, а ещё вон те двое. Тот с деньгами, этот с положением, а те вообще от любви хотели с собой покончить. И какие ей стихи посвящали. И какая народная артистка на неё ну удивительно похожа!

И, наконец, о матери.

Катерина Алексеевна – это Ларис-Николавнина боль, страдание и крест... Мать ей всю жизнь заела, именно из-за матери она не вышла замуж ни за первого, ни за второго, а так и осталась женой одноглазого прораба с кирпичного завода, с пристрастием к пиву, тяжёлыми кулаками, и к тому же совершенно без культурных запросов.

Да если б не мать, Лариса Николаевна блистала бы в высшем свете, получала госпремии и была звездой первой величины!

Увы – Катерина Алексеевна какая-то вечная. Вот Ларисе Николаевне уже семьдесят пять, другие, порядочные матери, давным-давно все померли и освободили детей от груза своей никчёмной старости, а эта всё живёт и живёт, чего-то ей постоянно надо, и у несчастной дочери из-за этого никакой личной жизни.

А сегодня Лариса Николаевна сияет на всю улицу. «Радость, – говорит, – какая! Я добила, что мать в дом престарелых возьмут! Сегодня позвонили – документы подписаны!»

У меня аж внутри что-то оборвалось. Не выдержала – хоть и знаю по опыту, что возражать Ларисе Николаевне – всё равно что против ветра плевать, а само вырвалось:

– Что вы делаете?! Она тут всю жизнь прожила, а её заберут невесть куда, она же помрёт там от силы через неделю! Она же вам мама...

– Оно, конечно, не ко времени... – соглашается Лариса Николаевна. – Я сейчас новые кольца для колодца заказала, да чтоб их поставить, надо денег отложить... Ты как думаешь, сколько узбеки за колодец возьмут? Тысяч пять или больше?

С другой стороны, я поминки устраивать и не собиралась. А на девять дней самых близких позовём – вот тебя, Галину Кирилловну да материну подругу, бабу Машу со Школьной улицы.

И хватит...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 5

Куры у Наташки ручные невероятно. Втыкаешь в грядку лопату – они тут же под неё суются, выклёвывают что-то деловито... Ещё и на меня ругаются, вкочут с большим осуждением, мол, уйди, противная, что с лопатой зависла – не видишь, червяк из-за твоей нерасторопности уполз! И не вздумай их шугнуть – Наташка сразу губы поджимает, обижается. Правда, вслух не скажет, но всё равно видно.

Вот ведь – двести метров расстояния, а земля у неё совсем другая... Лёгкая, пушистая, копать – одно удовольствие. А у меня глина – от лопаты не отдерёшь... Зато у меня всегда вода есть, даже в самую засуху, а у неё в колодце с ранней весны почти пусто.

Поэтому и пришли мы с Галиной Кирилловной к Наташке помидоры сажать каждая со своей лейкой. И экономненько так – под корешочек, помаленьку... Ничего – Наташка потом ещё сама польёт. До меня дойдёт, наберёт. Я всегда шланг с краником сквозь забор на горелый участок просовываю. И Ленке удобно корову поить – не надо от себя воду таскать. С пустым ведром пришла да тут набрала. И Наташке на пользу.

Потом мы с Галиной Кирилловной и Наташкой ещё парник закрыли – плёнка на ветру бьётся, из рук вырывается, едва справились. Кирпичами её, заразу такую, прижали, вокруг бечёвкой обвязали, чтобы не сорвалась, не улетела, и кур наружу с большим почтением препроводили...

Хорошо получилось, красиво...

Наташка звала посидеть, чаю попить, да я отказалась – у меня бабушка и собака с утра не кормленные, а уж десятый час, пора бы. И Галина Кирилловна за компанию к нам пошла, у неё с моей бабушкой вечные сельскохозяйственные диспуты – вот уж родственные души оказались!

Вскоре гляжу – Наташка с двумя баллонами за водой идёт. И тут мой кобель как начал на забор кидаться! От ярости просто захлёбывается – клокочет весь. Он у меня, вообще-то, умный мужик, хоть специально его ничему не учили. Это в нём порода своё берёт – папа у него восточно-европейский, очень племенной, милицкий. Весь медалями обвешан, серьёзная зверюга. А мама немецкая – с рахитом, выбраковка, а всё равно предки служивые, как говорится, происхождение в карман не спрячешь. Так что на людей мой Гурий реагирует очень правильно – просто голос подаёт, что кто-то пришёл. Если свой – хвостиком повиляет вежливо и пропустит. Если чужой – так и будет возле меня топтаться, пока я общаюсь, – контролировать. Но молча!

А вот на Наташку каждый раз выверяется по полной. Уж пора бы успокоиться – мало того что соседка, так и по работе тут целыми днями шастает, почтальонша она... Но у Гурия на неё каждый раз такая вот истерика.

Я его раз попросила заткнуться, два – реакции никакой.

«Что ты, Наташ, – кричу, – ему сделала, что он тебя так не любит?» Она воду набирает, смеётся: «Ему, – говорит, – так от бога положено – все собаки терпеть не могут почтальонов и убогих, а тут всё в одном флаконе!»

Наташка ловко подхватывает верёвку, связывающую две бутылки, правой рукой, хоть и совсем коротенькой, зато с пальцами, перекидывает через плечо и, придерживая левой – более длинной, но заканчивающейся чем-то вроде ласты, не кисть, а загнутая внутрь култышка, – отдуваясь, ковыляет к себе. Гурий замолкает, но от забора не отходит, подозрительно глядит ей вслед.

«А знаешь, – грустно говорит Галина Кирилловна, – я ведь с её мамой в одном классе училась...»

У неё только двух пальчиков на одной руке не хватало...»

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 6

Гурий знает дни недели. Точно отсчитывает – бывает, и я собьюсь, а он – никогда. Это потому, что мы с ним по субботам и воскресеньям в лес гулять ходим – часа на два. Носится он там – свободный, летящий. Время от времени вынырнет на тропу, проверить – как я? Никто не покусился? Толкнёт носом под руку и снова исчезнет. Здоровенный, а бесшумный.

Вообще-то, лес узкий – с этой стороны поле, дачи, деревня – и с той то же самое... Поэтому по тропинкам не только мы с собаком бродим – ещё всякие бабушки встречаются. По двое, по трое, чтоб поболтать можно было. Это теперь они к Гурию привыкли, сюсюкают хором: «Пёсик, собаченька, красавец...» – а поначалу пугались. И правда – возникнет внезапно что-то массивное и явно хищное, перелетит через тропу и скроется. Что хочешь, то и думай, особенно сослепу...

Из-за этих прогулок и ждёт Гурий выходных. По-моему, в субботу и воскресенье он вообще в свои апартаменты ночевать не уходит. (У дяди Пани козлятник был, а у меня «собачатник» получился, там даже диван стоит!) И чтобы меня утром не пропустить, прямо на крыльце и спит, дверь подпирает.

А сегодня я вышла – его нет... Одно из двух – либо я просчиталась и нынче не суббота, либо Гурий заболел. Впрочем, ещё вариант имеется. Может, гости к нему пришли, заигрался?

Выглянула осторожненько за угол, на задний двор... Ну так и есть, морозовский Эрлик снова у нас!

Ох как круги наяривают! Ростом они одинаковые, но наш массивный, мохнатый, а Эрлик худощавый, гладкошёрстный, шустрый. Поэтому он ловчее в крутые повороты входит. Зато уж если наш догонит – тому не удержаться. Катятся кубарем, трава во все стороны... Я вчера косила, такую хорошую копёшку подгрести... И вон она вся – летает! Аж по яблоням развешана...

Меня не видят. Оба – сплошная страсть и погоня. Но молчком, всё молчком... Нашему-то просто в радость, вот и не гавкает. А Эрлику побегать – наслаждение редкостное, уникальное, не дай-то бог лаем к себе ненужное внимание привлечь... Такая удача – с дружкой погоняться, поиграть – может, раз в полгода выпадает. Чаще с цепи срываться у него не получается.

А цепь-то короткая... Будка кривая-косая, из обломков шифера кое-как сляпана, и не знаю, как он там в холода выживает? Площадка перед ней вся засранная.

Зато уж если вывернулся Эрлик, убежал – весь мир открыт. Забора-то у морозовского дома нет.

Мы с моей бабушкой Витьку Морозова зовём «дяденька Недодел». Лет пять назад, помнится, взялся он свой дом красить. Угу... Та сторона, что на дорогу глядит, почти покрашена. Ну, процентов на семьдесят. А вторая – почти от старой краски ободрана. Тоже процентов на семьдесят.

Прежний забор он лихо сломал. Помню, ещё говорил, что новые столбы поставить – ему раз плюнуть, а железо прикрутить – так это вообще одной левой! Вот столбы и стоят. Поржавели, правда, некоторые покосились, но в основном пока держатся...

Прошлой весной взялся мотоблоком под картошку пахать. Так рога бедного мотоблока всю зиму из-под снега посреди огорода и торчали, словно там козёл утоп...

Машка, дочка его, – баба разумная, деловая, в городе работает, квартиру снимает. А сыну – Морозову-младшему – на хозяйство плевать. У него в жизни великая цель – обращение людей к богу.

Бог у него, правда, какой-то сектантский. Так что он с женой и двумя сыновьями вечно по окрестным деревням топчется, проповедует. Не знаю, как кого, а меня своей религиозной литературой уже замумукал. Вот – опять забыла, чего же это он «свидетель»? То ли Иисуса, то ли Иеговы?

К сожалению, «дядя Недодел» уже знает, где свою пропажу искать. Недолго думал – вон он, лёгок на помине, орёт... Гурия я за загривок придержала. Эрлик бочком-бочком, в щёлку калитки, увернулся от пинка – и к себе, на цепь.

А мы с Гурием всё же гулять пошли. Он ещё к Эрлику кратенько завернул – посочувствовать, наверно... И в лес полетел. А я плетусь нога за ногу – тут посматривать нужно, я ж босая, а битых стёкол до чёрта... Мимо столбов этих ржавых...

Какая у морозовского деда, Кирилла Антипыча, малина была! Как я, малая, вдоль его забора шустрила – выглядывала, где ягодка свесится... И где она теперь, та малина?

Бурьян по пояс, крапива.

Кажись, что-то красненькое? Цапнула, обстрекалась вся...

Ну, ягодка. В лесу дикие и то крупнее.

Разломила.

Заглянула.

С червяком!

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 7

Утром бабушка посуду мыла, а я бельё из стиральной машины доставать пошла. Постельное нынче стирала – с отбеливателем, с кондиционером... Аж нюхать приятно! Люблю... И пока пододеяльники расправляла да принимчивалась – оно и случилось...

Фонтаны грязи забили одновременно – из раковины, стока душевой кабины и из-под стиральной машины. Чёрными хлопьями, мерзостью какой-то...

Я бабушке кричу: «Воду выключайте! Быстрее!!» А она и так-то глуховата, да ещё посуда звенит и телек на полную катушку орёт...

Не слышит! А всё, что она там льёт, мне тут, в ванной, уже на два пальца пол залило и прибывает на глазах...

Кинулась к двери – а пол-то кафельный, скользкий, нога поехала, я и села в эту лужу, да копчиком – ужас как больно. А всё бельё сверху шмякнулось. Постирала, называется...

И началось...

Бабулечка у меня слабосильная – сухонькая, хроменькая, востроносенькая. Она только воду включать-выключать может, да шланг поддержать, если что. А уж я намахалась... То тросом в стоке шурую, то шлангом – авось пробьёт... И всё, что я туда вливаю, обратно так и прёт. Да ещё то я, то бабушка на конец участка к сливной яме бегаем, посмотреть, идёт вода хоть чуточку или нет. И землю на ногах сюда же, в дом, приносим. Мы с ней обе на чистоте слегка повёрнутые, так что всё это видеть – просто сердце разрывается. И вот в разгар этого безобразия – как раз, когда я шланг в очередной раз в слив записывала, – в кармане телефон заверещал.

Бабушка, как верный адъютант, его выхватила, к уху моему прижала.

– Алё!

– Это я, Рая...

Вот уж кого век бы не слышать. А тем более в такой момент...

Шешеры нам слегка сродни. Раин покойный муж – двоюродный брат моего папы. А их сын, Вовка, соответственно, мне троюродный. Хороший он был мужик – добродушный, спокойный, домовитый. Умер молодым, нелепо как-то. Почти не пил – может, рюмочку за компанию, не больше. От одной рюмочки его и не стало... Водка палёная оказалась. А Морозов, который всю эту бутылку практически в одно рыло оприходовал – вон, как ни в чём не бывало...

Дом у Раи солидный, основательный. Сама она там и невестка, а две внучки, два их мужа и четверо правнуков наезжают время от времени из города.

Голос у Раи страдальческий, плачущий...

– Чего, – говорю, – случилось-то? Извините, тетя Рай, говорите побыстрее – у меня авария, пока болтаю, затопит на фиг!

– Ой, как не стало Вовки, и некому мне помочь-то... Надо насос в колодец опустить, ведь без воды сидим. Да ещё правнуков мне подкинули... Господи, как же быть – на тебя одна надежда была, кого ж ещё попросить...

– Ладно, – отвечаю, – подождите только, со своей бедой справлюсь, так и быть – приду, помогу...

И бабушка кивает: «Непременно надо помочь! С детьми без воды никак. Сходим.»

С канализацией мы разобрались часам к трём. Ещё почти час грязь возили – ну, хотя бы маленько порядок навести! Сели на кухне, пот утёрли, переглянулись. Ох, устали... А ещё к Рае идти...

Но делать нечего – и так сколько уже ждёт...

Рая и правда сидит, нас выглядывает. «Ну, что так долго? Пойдём, пойдём!»

Насос громоздкий, шланг к нему толстый, как удав, да самой мне всё это из кладовки выволочь...

Полезла в колодец. Глубоко... Скобы узенькие, склизкие, бабулечка и Рая сверху заглядывают – маленькие такие!

Едва с этим насосом справилась. Опустила, привязала. Вылезла. Впряглись мы с бабулечкой в шланг – к дому тянем, а Рая покрикивает – чтобы цветы ей не помяли. Тут я и спохватилась:

– Тётъ Рай, а чего это мы вокруг-то тянем, не напрямки?

– Так мне к парнику надо, а он сзади! У меня редиска пропадет без полива! А в доме вода и так есть!

Как я её этим шлангом не пришибла? Однако сдержалась.

Она нас ещё пустила руки помыть. Слышу – голоса с кухни. Заглянула. А там внучка Раина, Ксанка, с мужем сидят, кушают, чай пьют, телевизор смотрят. К столу не зовут. Мне кивнули. Гладкие такие оба, вальяжные...

Рая нас быстренько, быстренько – и до калиточки...

– Неужто, – говорю, – у вас в доме народу мало, что нас звали? Вон Ксанкин мужик какую будку отъел, он бы этот насос одной левой, а я чуть ёжика не родила!

– Что ты, что ты! Он у нас не по этой части, он – по денежной. К нему с таким вопросом и подходить неуместно!

И побыстрее калиточку за нами закрывает.

Тащимся мы к себе. Я молчу, а то слов кроме матерных всё равно припомнить не могу. Сзади бабушка носом хлюпает, бубнит:

– Ох, мы ж с тобой обед не готовили... И есть как хочется...

А у них на столе пироги были, я видела...

С мясом...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 8

Забор у Люськи кирпичный, высокий – метра три. Дорога перед ним заасфальтирована, кусты пострижены, бордюр покрашен. Солидно всё так. Я, как возле прохожу, непременно рукой машу и улыбаюсь. Если кто дома есть – сама Люська или муж её, Герка, – увидят, что здороваюсь. У них везде видеокamеры понатыканы. Ну точно: ещё до конца забора не дошла, а уже в кармане телефон трясётся: «Ты что мимо топаешь? Давай ко мне на пять минут – покажу что!»

У Люськи всегда есть что показать. Любит она что-нибудь этакое выискать и опытом поделиться. То кормушку для кур новейшей конструкции по каталогу выпишет – удивительная вещь, не даёт зерно разбрасывать, экономия кормов выходит чуть не в половину. То стабилизатор электричества установит какой-нибудь этакий. Газонокосилка у неё самоходная. Сама едет, сама косит, сама траву в мешки пакует. Чудо! А какие цветы! Как в раю...

И ведь не скажешь, что человек с жиру бесится, деньги направо-налево кидает. Всё с расчётом сделано, лишней копейки не потратит. Наверно, она на весь район единственная, кто ни газовому хозяйству, ни администрации, ни БТИ гроша на себе заработать не дала. Они ей голову мутили-мутили, мол, это нельзя, то не положено, а вот это за очень отдельные деньги и по двойному тарифу! Ну, руки же чешутся хоть что с бизнесменов стянуть, тем более у нас тут таких раз, два – и обчёлся. Но Люся встала в позу: «Вы, – говорит, – не глядите, что я из глухой деревни! Чай не лаптём щи хлебаем! И пока вы мне с законом в руках не докажете, что

я вам что-то должна, ничего и не получите!» А уж законы она знает куда круче, чем все местные юристы, проверено...

В калитку шагнула – навстречу кошек штук десять, четыре собаки. Едва с ног не сшибли. Все приبلудные, кем-то выброшенные, в авариях побывавшие. Подобранные, вылеченные. Это ещё та малая часть, кого она пристроить в добрые руки не смогла. Клубятся вокруг, носами тыкаются, ласкаться лезут.

– Ох, Люсь, как тебя Герка со всей этой живностью терпит?

– Вот-вот, – смеётся она, – а теперь я сама себя превзошла! Идём!

Заворачиваем за дом, а там...

М-да...

Вместо картофельных грядок ограда из горбыля, а в ней – прыгает на трёх ногах вороной жеребчик. Правая передняя – в лубке, но настроение весёлое. Нас увидел – навстречу заковылял, тут же к Люське в карман полез – сахар ищет.

– От, фигня какая, – кивает она на лошадь. – И не думала, и не гадала, по соседней деревне ехала, а там его в машину грузят. Молодой, племенной, красавец, да ногу сломал. Хозяин его на колбасу и пристроил. Ну, ты ж понимаешь, нельзя было бросить... Вот и купила по мясной цене. Ветеринар уже был, снимки сделал, лекарств тысяч на двадцать навывисывал. Прогноз так себе – ходить будет, конечно, но ездить на нём нельзя. Никогда... Что ж – пусть живёт. Прокормим...

Стоим с ней, на солнышко щуримся, смотрим на ещё одну спасённую жизнь.

– Мне сегодня сон был, – вдруг говорит Люся. – Будто забираюсь я по веткам огромного-преогромного дерева, а на самой вершине сидят две маленькие девочки. Одна хорошенькая, как Мальвина, – кудряшечки, рюшечки, бантики... А вторая толстая, косоглазая, рыжая. И кричат: «Тётя, тётя, сними нас отсюда, мы твои дочки!» Я и подхватила ту, что хорошенькая, вниз полезла. А толстая как завоет басом: «Почему меня не берёшь?!» А когда я внизу оказалась – Мальвина моя куда-то пропала. Сажу на земле, плачу и думаю: что ж я, дура, вторую-то не взяла? Пусть толстая, ничего, что косая, – зато ребёночек бы у меня был...

Она быстро и нервно встряхивает головой и тянет меня на кухню – хлеб пробовать, сама испекла...

Оборачиваюсь. Там, в ослепительном закатном пламени, качает ветками яблоня, а на ветвях сидит девчонка.

Рыжая, толстая, нерождённая...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 9

Бабушка моя так и говорит: «Слёт колхозных старух». Но когда на нашей скамейке у ворот кто-нибудь из соседей отдохнуть пристраивается, всё же присоединяется – побалакать, в слёте поучаствовать.

Нынче вот Галина Кирилловна в магазине с Ниной Трофимовой с соседней улицы встретилась, я вышла, бабушка за компанию рядышком присела...

Сидим, общаемся.

А Нина Трофимовна вдруг как подхватится: «Ой, девочки, побежала я, пока меня Клава не заметила – вон она идёт!»

Галина Кирилловна Нину Трофимовну едва успела за подол ухватить: «Успокойся, теперь тебе её бояться уже незачем, ты ж на пенсии!» Та смеётся: «Привычка – вторая натура». И Галина Кирилловна смеётся. А нам с бабушкой любопытно.

Ну, они и объяснили.

Нина Трофимовна-то нашей врачихой участковой работала, всего год как на пенсию вышла. А у Клавки – сын-алкаш был. И как он в запой уйдёт, работу прогуляет – Клавка прётся прямо к Нине Трофимовне на приём, влезает без очереди и начинает требовать для него больничный. Учитывая, что Клава изрядно глуховата, очередь может шуметь сколько ей угодно и Нина Трофимовна отказывать в больничном тоже хоть до посинения – пока та своё не выцыганит, нипочём кабинет не освободит, не отцепится!

Я уж давно за ней эту особенность заметила – особенно плохо у Клавки со слухом, когда ей что-то слышать невыгодно. Она у меня пятьсот рублей в долг взяла и не вернула. А как мимо шла – я к ней. О природе, о погоде, да между прочим так – когда должок-то вернёшь? Так о природе и погоде она прекрасно со мной пообщалась. А как про денежки разговор зашёл: «Ой, чегой-то совсем не понимаю, чего ты говоришь-то? Ну, извини, до свидания, до свидания...»

А Клава, пока мы ей косточки перемывали, уже подошла, тоже к компании присоседилась.

– Вот, – говорит, – к сыночку иду... Полгода сегодня, как моей кровиночки на свете нету... Ох, как мне тяжело-то без него...

– Ага, – тихонько в сторону бормочет Галина Кирилловна, – выпить не с кем, компании нету...

– Ну да, как же не с кем? – так же вполголоса отзывается Нина Трофимовна. – А разве Колька-татарин не у ней живет последнее время?

«Господи, – думаю я, – Колька-то мужик какой справный, хоть и пьющий. Как же можно было на такое польститься? Это ж сколько выпить надо?»

Ну да Клавка нас не слышит. Всё о своём – как могилку обустроила, сколько кому за оградку отдала... А у самой в руках пакет большой-большой.

– Чего это у тебя, Клав, в пакете-то? – спрашивает её Галина Кирилловна.

– Так мусор нес, бутылок всяких набралось. По дороге в посадке кину, – охотно объясняет она.

Галина Кирилловна впадает в гнев. В общем, можно её понять – мы за вывоз мусора по двести рэ в месяц платим, а по весне общими усилиями проходим по ближним окрестностям, всё, что разные уроды за зиму накидали, подчищаем, чтоб порядочек был. А тут эта грязнуха, да так в открытую!

– Как тебе не совестно, – вещает Галина Кирилловна, – в то время как все мы... Из-за таких, как ты... Да если у тебя двухсот рублей нету – в конце концов, приноси свой мусор ко мне, мешком больше, мешком меньше – кто проверит, мне не жалко! Только прекрати гадить!

– Я учту, – внезапно на полуслове перебивает проповедь за чистоту Клава. И, чапая войлочными ботами, удаляется со своим мешком в сторону посадки...

Галина Кирилловна шумно выдыхает набранный воздух, не потраченный на оборванную посередине фразу, и спрашивает Нину Трофимовну:

– Как ты думаешь, она меня хоть слышала?

– Сомневаюсь! – хором отвечаем мы...

ЛИНЕЙНАЯ, Д. 10

Сидели мы с Галиной Кирилловной, чаёк попивали да выступление нашего президента слушали. О демографии он говорил. Обычно всё, что он говорит, встречает у Галины Кирилловны глубокое одобрение. Я, вообще, заметила: если ей человек понравится, то и все его высказывания она непременно сочтёт правильными. А президент Галине Кирилловне нравится очень... Спокойный он, вежливый, красивый... Просто идеал мужчины!

Так вот – в этот раз слушала она его, слушала, а потом очень веско заявила:

– У президента плохие советники. Сам он, конечно, потрясающий человек и такой умница, но не может же он всё знать? А этим явно кто-то пользуется. Неверную информацию ему подсовывает! Надо бы об этом на телевидение написать, пусть проверят!

Я немножко удивилась:

– С чего это у вас, Галина Кирилловна, такое мнение сложилось?

– А ты сама посуди, – возражает она и начинает быстро-быстро что-то подсчитывать на бумажке.

Она, вообще, столбиком, вручную, считает быстрее, чем я на калькуляторе. Инженерное образование сказывается. «На-ка – любуйся!» – и подсовывает мне свои расчёты. А по ним выходит, что за последние десять лет на нашей улице умер двадцать один житель, а родилось два. Средний возраст проживающих – шестьдесят два года. (Это нам Катерина Алексеевна статистику усугубила, ведь ей в том месяце девяносто восемь стукнуло! Без неё по-оптимистичней чуток было бы.)

– Кому тут демографию-то поправлять? Мне, что ли, с Катериной Алексеевной?

Эх ты, улица Линейная...

Линия твоа непутевая!

Мария Фаликман
ДЛИННОЮ В ОДНО СОМНЕНИЕ

* * *

Всю осень хочется тянуть строку.
Тянуть строку, пока хватает вдоха.
Выходит плохо.

Затюканной кукушкой на суку
взамен буколики или эклоги
роняешь слоги.

Роняешь слоги, словно клён листву, и думаешь себе: пока живу,
за слогом слог, по капле, по стежку
однажды всё же вытяну строку,
часы нанизывая, дни листая, где пятая стопа – там и шестая,
а вдруг не рухнет, навесным мостом дотянется до рифмы,
а потом

до первых заморозков, до снегов,
до отпечатанных в снегу шагов,
до заметающей следы метели, до оттепели...
Да и в самом деле,
кого интересуют эти сроки?
Но рвутся строки.

* * *

От белого снега до чёрного снега не больше недели.
От чёрного снега до черной земли дуновенье циклона.
А дальше до зелени без промедления дни полетели,
а дальше черемуха, дальше сирень, и в пол-улицы крона
у старого клёна, а что нам до клёна, когда до каштана
от силы неделя, но дни, словно дворники в полуподвале,
толкнутся на месте, бранятся, и голубь им вторит гортанно,
достанешь печенья ему из кармана – заметит едва ли.

Среди зацелованных этим циклоном в почёте беспечность,
в ходу неприкаянная простота, беспардонное счастье.
А дальше, как в детстве, когда так мучительно рвутся беречь нас,
чуть-чуть заиграешься, сразу – смотри, дотемна возвращайся.
И ты возвращаешься. Морось внезапная сыплется с неба.
Отвергнута голубем, в недрах кармана крошится галета.
И вновь мимо зелени до тополиного белого снега.
До белого снега, до чёрной земли, до зелёного лета.

Марине Бородинской

В Таврическом саду под липой,
в Измайловском – опять под липой.
А вы ноктюрн сыграть смогли бы?
И мы ноктюрн сыграть смогли бы.
Но мы ноктюрн играть не станем,
теперь не время для ноктюрна,
хоть мы играем со старанием
и, говорят, весьма недурно,
но нынче утро, нынче солнце,
и в водостоках слишком сухо,
над нами облако несётся,
свистит себе, не застя слуха,
а мы – к ступеням Эрмитажа,
а вы – куда-нибудь поближе.
Мы встретимся? Не знаю даже.
Мы встретимся. Я вас увижу

в Таврическом саду под дубом,
в Измайловском и всяких прочих.
Кивнув скульптурам большегубым,
стремительные, словно почерк
излишне рьяного юнкора,
дойдём до самых до окраин.
Но верю: мы вернёмся скоро,
и мы ноктюрн ещё сыграем.
И засверкает эта вера
как новенькая фоторамка
вокруг Румянцевского сквера,
вокруг Михайловского замка,
и с набережной хлынет воздух,
и взмоет в небо зонтик чей-то.
А вот и дождь. Зарница. Отзвук.
Пора, пожалуй.
Где там флейта?

* * *

Ночью город раскачивается не потому, что ветер,
Не потому, что его евреи молятся по ночам.
И даже не потому, что кто-то кого-то приветил,
Вновь задавая работы акушерам и прочим врачам.

Город точат сомнения, точно вода из краника,
И если мы невзначай заворочаемся во сне,
Он начинает раскачиваться почище, чем ванька-встанька
Особенно в полнолуние, особенно по весне.

Городу сносит крыши, крыши летят и качаются,
Стены сносит правительство – чего им стоять без крыш?
Так вот и получается, что города кончаются,
Стоит лишь усомниться, засомневаться лишь.

Так начинаются люди, со всем своим *эрго* и *когито*,
Быть им или не быть, ломать или не ломать.
И начинают раскачиваться, и проелозят сколько-то,
Прежде чем приспособятся подушку во сне обнимать.

Но, отучившись ворочаться более или менее,
Всё равно не минуешь, сколько себя ни мурыжь,
Пути от рене до ваньки длиною в одно сомнение,
Через разрушенный город, под стаяй порхающих крыш.

* * *

Попав под этот снегопад, припомню тот.
Небесный свод над головой и тусклый свет
пятиэтажных типовых московских сот,
пустыми окнами глядевших нам вослед.
Залеплен снегом от макушки и до пят,
шагал под снегом запоздалый пешеход.
Быть может, с небом он поспорить был и рад,
да только с небом спорь, не спорь – один исход.
Один итог, один и тот же липкий снег,
обрубок тополя – и тот как будто сник.
А с неба хлопьями валил двадцатый век
на тех, кто мечен им. И ты – один из них.
И ты, не сняв его шинели, вышел вон.
Его метелью заметён, его не сдал.
А снег валил, валил, валил со всех сторон,
и век на лавочку бессильно оседал.
Но даже в самых безысходных зимних снах
тебе не виделась такую смена вех,
тебя не сковывал такой дурацкий страх,
что он, двадцатый, уходя, засыплет всех.
Засыплет снегом, а не пеплом и песком,
в ином столетии желая всяких благ,
а дальше пользуй кипятком, ползи ползком,
над снежной крепостью вздымай свой белый флаг.
А снегопад стирал следы, глаза слепил.
И спал мальчонка на четвертом этаже,
который крепость эту снежную слепил.
Да только он про снегопад забыл уже.

* * *

Как чайник, по вечерам гудит голова. С утра мельтешат
снежинки в оконной раме. Поди ещё отыщи своего волхва,
который к тебе решится прийти с дарами. Поди догадайся,
что он имел в виду, даря тебе небо-чашу, луну-камею,
твердя у дверей: куда ж я такой войду, вы лучше дары
возьмите, а я не смею. И ты на него глядишь, распахнув
глаза, и он на тебя, и как-то мрачнеет сразу. Сказал же
пастух: над домом висит гроза. Так нет бы прислушаться,
что ли, к его рассказу.

И вот он глядит и видит, что дело швах. Но он ведь не скажет,
он не за тем явился, и плащ его не за тем протёрся
на швах, и дым в ночи не за тем над кострами вился.

Но дело швах, это ясно, как ни крути. А он-то считал, отметится – и обратно. И вот безмятежные две недели пути тускнеют неотвратно и безотрадно. А он всё стоит, скрывая в душе разлад, кукушка в часах прилежно печали множит, тоскуют жёны его, и пустеет сад, а он тут с тобой застрял и уйти не может.

Но всё же уйдёт. И будет идти, пока твои всего ничего и его полвека не станут точкой, не видной издалека, монеткою, что зажмёт в кулаке калека. Он думает: ладно, я свой век доживу, но если и правда время наступит вскоре, где каждому полагается по волхву, то боже их упаси от таких историй.

* * *

В городе евангелиста Марка,
в соборе евангелиста Луки,
неожиданно выросшем
среди каналов и переулков,
было пусто.

Воскресная месса уже закончилась,
но что органисту до окончания мессы,
он играл себе и играл
во славу Святого Луки,
и Святого Марка,
и того,
кто восславлен обоими,
и во славу
Духа, который пронёсся над этими водами
в первый из дней,
осенняя место,
где возведут собор во имя Луки,
где поставят на сваях город
апостола Марка,
куда приплывут в корзине
святые мощи,
как близнецы из совсем другого сюжета.

Толкая по трубам
затхлый воздух кампо и калле
и соседнего гетто,
где такие же кампо и калле,
находя на ощупь педали,

переключая регистры,
он исполнил финал,
и ещё один,
и ещё.
И умолк.
И снова коснулся клавиш.
Мол, не споткнись, дружок, выходя к каналу.

* * *

Камень с дырочкой, но не сквозной,
недоделанный куриный бог,
не морочь меня своей казной,
пёстрой россыпью у самых ног.

Наклоняйся, мол, ищи, смотри,
выбирай любой, пока светло:
хочешь – этот, с искоркой внутри,
хочешь – тот, прозрачный, как стекло.

Выбирай, покуда выбор есть,
солнце сядет – сгинул без следа
искорка, внезапная, как весть,
и тростник, и камни, и вода.

Свет янтарный, предзакатный свет.
Гул морской, начало всех начал.
У меня к тебе вопросов нет,
ты мне ничего не обещал.

Ты и сам пока что не насквозь,
значит, и меня бы не сберёг.
Но найдёшь тебя – попробуй брось,
бог береговой, куриный бог.

Даже и не бог ещё, а так,
чей-то недосмотр и недочёт,
медный грошик, ломаный пятак,
сквозь который боль не утечёт.

Утекает солнце в облака,
горизонты снова не ясны,
но не переводится пока
в сумке мелочь из твоей казны.

Владимир Жаботинский

*ДЕСЯТЬ КНИГ**

Разговор

Мы собрались как-то на даче небольшой компанией на прогулку и там, полулежа на траве и грызя бутерброды, повели разговоры о разных легких предметах. Между прочим один из нас, адвокат, задал вопрос:

– Если бы нам было объявлено, что решено сжечь дотла все решительно книги и будет оставлено миру всего только десять книг, по нашему выбору, – какие десять книг выбрали бы мы?

И стали мы думать и гадать, какие имена следовало бы внести в список этих десяти.

– Прежде всего, я думаю, Ветхий и Новый завет, – сказала вопросительно одна дама.

Адвокат кивнул головою и тоже вопросительно оглядел всех: не возразит ли кто против этого выбора? Но все тоже утвердительно кивнули головами, и адвокат загнул один палец и заявил:

– Первая.

– Потом предлагаю Гомера, – сказал один из собеседников.

Послышались неопределенные протесты: слушающие как будто и соглашались, но приличия ради, а в глубине души как будто и не понимали необходимости. Был между нами студент-медик, которому после реального училища пришлось вы зубрить всю классическую премудрость, и он за то ненавидел ее смертельно. Он казался откровеннее других и вознегодовал:

– Не желаю Гомера. Да и не думаю, чтобы вы его искренно желали. Я считаю вообще это почтительное преклонение перед старыми книгами, которых уже никто теперь не в состоянии с интересом прочесть, одним из проявлений того, что за границей называют *snobbisme*. Охотно признаю, что «Илиада» и «Одиссея» произведения замечательные, что они дают богатый материал для истории времен царя Гороха и для истории литературы. Но волновать они нас уже не могут. Мы читаем их совершенно равнодушно, а то даже и зевая. Никаких поучений для себя мы из них не выносим. Когда я слышу, как интеллигентный человек вслух восторгается красотами Гомера, я не верю в его чистосердечие. По-моему, в числе десяти Гомеру никак не место. Надо выбрать только такие вещи, которые способны вечно задевать живые струны человеческого духа.

* Статья, опубликованная впервые в ежедневной петербургской газете «Русь» (6, 15 и 30 августа и 27 сентября 1904 года), планируется к публикации в первой книге четвертого тома «Полного собрания сочинений» Владимира (Зезва) Жаботинского, который выйдет в свет осенью 2012 года. Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора.

– Это правда, – слышались голоса.

Адвокат, выжидавший с протянутым безымянным пальцем, сказал:

– Слово принадлежит предложившему Гомера для защиты оногo, причем я просил бы его принять, если угодно, к руководству следующеe замечание. Каждый из нас, конечно, вправе мотивировать свой выбор одним личным вкусом, но было бы желательнее приводить и объективные доводы. Мы здесь хотим спасти от сожжения десять книг в интересах всего человечества; значит, надо в каждом отдельном случае доказать, что данная книга в том или ином отношении представляет собою вечную ценность для человеческого духа.

– Совершенно верно, – ответил тот из нас, который предложил Гомера, – я исхожу из той же точки зрения. Поэтому я разделяю свою защиту на две части: во-первых, выскажу вам мое субъективное впечатление от Гомера, во-вторых, мое объективное мнение о его ценности для всего человечества и во все времена. Позволите?

– Говорите, говорите.

– Я человек искренний и не заражен снобизмом, а Гомера все-таки душевно люблю и читаю всегда с непосредственным наслаждением. «Идей», в русском смысле этого слова, я в нем, конечно, не нахожу, а фабула, сама по себе, меня тоже не особенно восхищает; люблю я Гомера за его типы. Люди у него великолепные, монументальные. Когда им смешно, они хохочут так, что своды мира трясутся; когда им больно или грустно, они ложатся на землю и кричат так, что за версту слышно. Читая о том, как эти люди даже ели и пили, я вижу ясно, что ни у одного из них не было ни гнилых зубов, ни катара в желудке, и мне это приятно, как приятно и в жизни встретиться с человеком, у которого приятный цвет лица. Читая Гомера, я всегда вспоминаю о том, что нынешний человек очень редко умеет красиво делать две вещи: есть и смеяться. Мы жуем неловко и неизящно, потому что половина коренных зубов уже не имеет себе пары для растирания пищи, и со стороны, человеку не ядущему, часто противно смотреть. А смеемся мы еще хуже: давясь, захлебываясь, икая, со спазмами в горле. Почти никогда не слышно хорошего, настоящего, ровного смеха колокольчиком, когда человек закидывает голову и хохочет легко и звонко. Я был когда-то влюблен в одну барышню, которая умела красиво смеяться, и с тех пор меня коробит, когда слышу неприятно заикающийся смех других людей, и мой в том числе. А у Гомера я вижу людей, которые все делали важно, звучно и красиво: и ели так, и хохотали так, и плакали, и сражались, и умирали так. Люди, словом, великолепные и великолепно функционирующие. Вот что мне нравится в Гомере, и отсюда я вывожу его объективную ценность. Я спрашиваю себя: почему меня так восхищают и трогают Гомеровы герои? Тут нельзя отделаться пустой фразой: таков мой вкус. Вкус должен быть обусловлен чем-нибудь глубоким и органическим. И я говорю себе: нет никакого сомнения, что идеальный человек должен быть так же великолепен во всех своих проявлениях, как эти первоначальные образчики человеческой породы. Тысячелетия борьбы за существование чересчур изошрили нас в одних отношениях и ослабили в других; получилась дисгармония, потеря равновесия, получился нынешний уродливый и искалеченный человек.

Но я верю, что мы идем шаг за шагом к осуществлению такого дня, когда борьба за существование будет введена в железные рамки нового общественного строя и тяжесть будет почти незаметна отдельной личности. Это даст личности новый простор. Она сможет опять развиваться гармонично и нормально; возродится до прежнего великолепия во всех своих функциях ее тело, и уравновесится и утомонится наболевший дух. Это не будет копия гомеровского типа: будущий человек будет бесконечно сложнее, многостороннее, богаче, глубже и зорче первобытного, но одно будет в них общее: то великолепие безупречной здоровой природы, которым насквозь светится Гомер. Еще много воды утечет, пока вернется былое стихийное звериное здоровье человека, и до тех пор часто лучшие люди будут с ужасом оглядываться в физическое вырождение и нравственную недужность современных поколений и будут грозить и призывать к сближению с природой, как Руссо, как Лев Толстой. Но у меня есть Гомер, а с ним на что мне Руссо и Толстой? Они только призывают и проповедуют, тогда как он сразу рисует передо мною во всем великолепии то самое, к чему они зовут меня; они оба во многом неправы и несправедливы, тогда как он – сама правда и простота. И они оба, и он творят одно и то же святое дело – не дают человеку забыть, «что он был и что стал»; но Гомер в этом воспитательном отношении во столько же раз действительнее и сильнее, во сколько вообще в воспитании живой пример сильнее самой блестящей нотации. Я поддерживаю кандидатуру Гомера.

– Два, – сказал адвокат и пригнул безымянный палец.

– Виноват, – продолжал защитник Гомера, – я прибавлю еще несколько слов. Нападки на Гомера нашего милого медика ничуть меня не удивили: мне хорошо знакомо это настроение. Знаю, что есть очень много вполне интеллигентных людей, которые в глубине души не понимают, чем, собственно, восторгаться в Шекспире, Данте и Гете. Они признают в этих авторах и талант или даже гений, и глубокий ум, и огромное значение для того времени, когда каждый из них жил и действовал; но непосредственно волновать читателя сегодня, в 1904 году, ни Данте, ни Гете, ни даже Шекспир, по мнению этих людей, уже не могут. И те из них, кто похрабрее, сознаются вам, пожалуй, что им на «Гамлете» скучно. Я слышал такие признания сплошь и рядом от самых интеллигентных людей и долго не мог себе объяснить такое падение вкуса. Но теперь мне кажется, что я понимаю причину.

Обратите внимание, кто у нас читает классиков мировой литературы: молодежь, и только молодежь, начиная от подростков лет пятнадцати (часто раньше) и кончая не позже лет двадцати двух – двадцати трех. И это вполне понятно: когда ум пробуждается, он прежде всего набрасывается на те имена, которые санкцией всего мира признаны за лучшие. Против этого нельзя даже восставать, ибо чем же лучше развить и воспитать вкус, как не чтением классиков? Но с другой стороны, получается нечто весьма невеселое. Ведь классик в день создания своего шедевра был человек зрелый, много повидавший, много пострадавший; создавая свой шедевр, он пользовался опытом более или менее долгой жизни, и понять его как следует, волноваться

над его страницами может только тот, кто тоже много испытал и много страдал. Гений был человек зрелый и писал для зрелых людей; но именно с того момента, когда он стал общепризнанным гением, он переходит в исключительное ведение самой юной молодежи. Она очень симпатична и чутка, но все-таки она еще не была в Саксонии и не может полно понять и пережить настроение человека, уже побывавшего в Саксонии, да еще гениального человека. Потому особенно сильного впечатления он, гений, на эту молодежь не производит, особенно с третьего или четвертого поколения, когда устареют некоторые обороты языка и приемы изложения; а между тем классик уже прочтен, дело сделано, и вряд ли юноша впоследствии, когда сам станет зрелым мужем, успеет или вспомнит перечитать его: жизнь так быстра, так много новинок, что мы вообще не охотники до перечитывания прочитанных книг. Я говорю не об одном Гомере: он находится в особенно невыгодном положении, потому что его официально изучают в гимназиях. Когда вам читают художественное произведение по пятнадцать строчек в день, пережевывая притом эти пятнадцать строк со всеми аористами и желательными наклонениями, то уже вы, конечно, никогда не найдете в этом произведении красоты. Но и те классики, которых Бог упас от этой участи, тоже роковым образом подчинены общему трагическому процессу: с момента признания их гениальности они читаются исключительно молодежью, которая не в силах воспринять и пережить их творения во всей полноте; иными словами – именно с того дня, когда классик попадает в руки воспитывающихся поколений, он перестает быть в истинном смысле воспитателем поколений. Он похоронен, и только немногие люди еще способны понять и прочувствовать его до глубины.

– Что же вы прикажете? – спросил его обидчиво студент. – Иметь родителям наблюдение, дабы сыны и дочери ничего не читали, кроме Жюль Верна?

– Совсем не то, – сказал защитник Гомера. – Я, прежде всего, сам не был послушным сыном, да и не люблю, признаться, типа благонаправленного дитяти, а особенно подростка. Уж по этому по одному не могу я быть сторонником «изъятия» той или другой книги из отроческих рук: сам я в свое детское время никогда не подчинялся этим «изъятиям» и вполне уверен, что мой сын тоже не подчинится, ибо ведь и он не лыком шит. Но кроме того, какой смысл запрещать? Ведь и самый яркий поклонник неограниченной родительской власти тоже не станет запрещать сыну позже восемнадцати-девятнадцатилетнего возраста; а я вам говорю, что Данте писал свою «комедию» в пожилых годах, много пережив и испытав, и двадцатипятилетний юноша, прочитавший «Ад» хотя бы даже в подлиннике, почти столь же мало проникнет в глубь его настроений, как и подросток пятнадцати или шестнадцати лет. Тут ничем не поможешь, и я не для того заговорил об этом, чтобы предложить спасительное мероприятие. Я просто констатировал факт, и больше ничего. Если хотите, в другой раз вместе подумаем, как бы вернуть классикам понимание читающей публики. А сейчас у нас задача другая: назвать третье имя...

– Я назову, – отозвалась молодая дама, – предлагаю «Декамерон».

Поднялись энергичные протесты. Адвокат постучал тростью о пень, на котором сидел, и сказал:

– Слово принадлежит вам для защиты интересов Боккаччо. Мы ждем.

– Прошу внимания, – сказала молодая дама, – но я раньше расскажу вам один посторонний случай. Зимой был в Петербурге бал художников. Я приехала поздно, и меня прежде всего спросили: «А видали вы барышню в носовом платочке?» – «Это что такое?» – «Это? Самый эффектный костюм на вечер». И показали мне эту барышню: довольно хорошо сложенная блондинка в тонком и туго обтянутом белом плаще до колен, а под плащом, очевидно, ничего, и плечи, и руки голые. Было действительно очень эффектно. Барышня в носовом платочке получила первый приз от публики и вообще имела успех. Когда вечер кончился, и она со своими кавалерами уходила, остатки публики стояли по дороге и провожали ее комплиментами. Я сидела немного поодаль, а возле меня были две чужие барышни, кажется, дурнушки и уже не молоденькие. Они смотрели на уходившую блондинку очень несочувственно, и я расслышала, как одна сказала другой со злостью в голосе: «В первый раз в жизни вижу!» И мне тут невольно захотелось рассмеяться – так комично показалось мне то положение, в которое блондинка поставила этих двух барышень. Не в том дело, что она их затмила, а в том, что она так легко и грациозно вышибла их из их идейной позиции. Вы вникните: они «в первый раз в жизни» увидели такое неприличие. Они до сих пор думали, что являться на людях в носовом платке нельзя. Вы могли бы целый час спорить с ними, приводя тысячи доводов, а они все-таки остались бы при твердом убеждении, что нельзя. И вдруг им наглядно показали, что можно. Вот захотела, и можно. И тогда я поняла это смешное растерянное положение, в котором оказались мои барышни по милости смелой блондинки. Мне пришло в голову, что ведь и кроме них должно было быть немало на этом балу таких людей, которые до сих пор были уверены, будто нельзя. И вдруг им всем тут показали, что можно. Двух барышень это открытие разозлило, но ведь были, несомненно, и такие, которых это открытие привело в восторг. Например, меня. Не потому, чтобы я тоже собиралась надеть к балу носовой платок *ohne weiteres*¹: я к этому не привыкла, мне было бы неловко, и я этого не сделаю. Но я обрадовалась открытию потому, что до сих пор по привычке считала лицемерие и *pruderie*² факторами очень сильными, пойти против которых невозможно, и вдруг увидела, что это неверно, что через лицемерие и *pruderie* можно преспокойно перешагнуть и никакого грома и молнии от этого не будет. Как не обрадоваться, когда враг, которого считаешь сильным, оказывается неспособным постоять за себя? А для того чтобы обнаружить это его бессилие, недостаточно спорить и доказывать словами: гораздо легче и скорее доказать это наяву неопровержимым фактом. Повторю слова моего предшественника о Гомере: живой пример действительно всякой нотации.

¹ Ohne weiteres (нем.) – прямо, просто, без затруднений

² Pruderie (франц.) – показная добродетель, преувеличенная стыдливость.

– А «Декамерон»? – вежливо напомнил адвокат.

– Да я и говорю о «Декамероне», – сказала дама.

– В средние века над христианским миром тяготел клерикальный гнет. Он убивал всякое свободное развитие жизни. Для того чтобы оправдать и освятить свой образ действий, он создал теорию греховности жизни. Он проповедовал, что всякое проявление жизни само по себе преступно и благочестивый человек должен с ним бороться. И чем ярче было данное проявление жизни, тем больше ненавидели его мракобесы. Больше всего пугало и возмущало их именно то, что могло дать человеку наибольшую *joie de vivre*: смех, веселье, пляска, песни, любовь. Поэтому, когда началось возрождение народов, прежде всего перед ними встала задача: оправдать оклеветанную жизнь. Опровергнуть предрассудок, будто радость жизни греховна, и внушить людям веру в то, что жизнь есть благо и всякий лепесток ее прекрасен и дорог. Только такая проповедь могла вырвать опору у клерикальной тирании и лишить ее идейной почвы. И чем гуще и мрачнее был прежде гнет над жизнью и презрение к ней, тем ярче и смелее надо было теперь прославлять жизнь, рискуя даже впасть в крайность, потому что на крайности и отвечают крайностью. Это и сделал Боккаччо. Не умствуя, не приводя никаких доводов, он просто и грациозно, с самой очаровательной наглостью рассказал сто веселых сказок о веселых людях, которые живут себе поживают, хохочут во все горло, поют песни, целуются, даже до чрезмерности, и, что называется, даже в ус себе не дуют, как будто и не бывало на свете кодекса об умерщвлении плоти, а если на минуту и вспоминают об этом кодексе и его глашатаях, то поднимают и кодекс, и глашатаев на смех так заразительно, что читатель берется за бока. Лучшего средства нельзя было придумать, чтобы на место мрачной ненависти к солнцу, здоровью, веселью и хохоту выдвинуть новое мировоззрение, полное эллинской любви ко всему, что есть жизнь. Именно своей беззастенчивой и полнокровной игривостью Боккаччо из всех гуманистов нанес самый тяжелый удар престижу клерикализма, и это надо помнить. Когда при мне почтенные люди говорят о «Декамероне», я всегда злюсь. Они стараются оправдать Боккаччо, уверяют друг друга, что у него «таких» новелл вовсе не очень много и что не в них ценность «Декамерона», а в сатире на нравы духовенства... Какая чепуха! Сатира на католическое духовенство и в то время не могла бы иметь особенно оглушительного успеха, ибо кто же не знал, что патеры далеко не постники? Это было всегда общим местом. Да и с какой точки зрения мог бы именно Боккаччо обрушиться на них за эту скромную жизнь? Ведь уж он-то, наверное, не видел в ней греха! Для него, напротив, грешки патеров служили козырем и доводом в пользу веселого житья. Надо быть искренними, и одно из двух: или совсем предать Боккаччо анафеме, или признать, что именно в «таких» его новеллах весь его гражданский смысл и заслуга, и даже не в их содержании, а в тоне, в той ненависти к духу постничества и в той полнокровной любви к радостям жизни, которая звучит в каждой его шутке. В этом его ценность не только историческая, но и современная и вечная. Правда, теперь дух постничества, дух ненависти ко все-

му, что есть жизнь, не играет уже такой огромной роли, не воплощает в себе всех многообразных сторон современного гнета над человечеством; но он все-таки жив и дает себя знать и плодит немало лицемерия, лжи, неискренности и горя, сплошь и рядом отравляя нам радости жизни. Во времена Боккаччо все предрассудки, задерживавшие рост и развитие общества, основывались на этом духе постничества и им прикрывались. В наше время уже, конечно, не все, но добрая четверть из числа предрассудков, которые теперь тормозят освобождение человечества и личности, все еще растет именно из этого корня отвращения к здоровой жизни, и еще не скоро мы их истребим. Поэтому и теперь, и еще долго нужна будет книга, в которой ярко и смело выражен протест против насилия над полнотою и свободой здоровой жизни. Согласны?

Адвокат оглядел присутствующих и сказал, загибая средний палец:

– Три. Предлагаю назвать четвертую.

– Я за Шекспира, – сказал старичок с лысиной до воротничка. – Вы все напираете на то, что Гомер или Боккаччо подчеркнули одну какую-нибудь сторону: или красоту цельной непосредственной человеческой натуры, или протест во имя права на жизнь. Это хорошо, но односторонне. Я люблю Шекспира за то, что он всесторонен, как энциклопедический словарь. У него все сказано. У него есть и юноша Ромео, весь – беззаветное увлечение одной страстью, и Гамлет, неспособный отдаться ни идее, ни женщине иначе как только в полдуши. У него есть король Лир, который прошел дорогу от престола до низенького шалаша и понял, чего стоит величие властителя и подбострастие рабов. У него есть Отелло – потрясающая повесть о честной, наивной и великой душе, для которой доверие было кислородом, единственной естественной атмосферой, и когда ее вырвали из этой атмосферы и напоили угаром подозрения, она задохлась. У него есть Ричард и Фальстаф – два портрета из галереи человеческого падения, ужасного и смешного. А его женщины! Я на своем веку знал много девиц и дам, и когда вспоминаю о какой-либо из них, то всегда могу свести каждую к основному шекспировскому типу: вот Джульетта, которая была кротким ребенком и ради своей любви стала могучей, бесстрашной и самоотверженной; вот Миранда, спокойная, тихая, милая, чистая, доверчивая – одна из тех женщин, которые всю жизнь проживут, как на волшебном острове, не заметив житейской нечисти; грязному Калибану не удастся прикоснуться к ним, и они умрут такими же невинными и не ведающими зла мирского, как родились. Вот строптивая Катарина, прототип новейшей *vièrge forte*³ – от названия романа Марселя Прево «Сильные девы» (1900) – или, быть может, скорее внучка древней нимфы, вольной, гордой и пугливой лесной самки, которая бешено отбивалась от объятий самца-сатира, втайне желая его. Вот, на каждом шагу, остроумная Беатриче, которая слово за слово пикируется со своим кавалером, а кончит тем, что влюбится в него. Леди Макбет встречается реже, потому что все вообще сильное редко, но если бы нас с вами, простых

³ *vièrge forte* (франц.) – здесь: эмансипированная девственница.

смертных, допустили за высокопоставленные кулисы истории, сколько женских ручек с несмываемыми кровавыми пятнами увидели бы мы там... Говорю вам: на что ни взгляни, вспомнишь Шекспира. Даже такое новорожденное явление, как еврей-сионист или националист, было бы непонятно мне, если бы я не вспомнил странной психологии венецианского жида, который на последних ступенях отвержения сохранил суровую национальную гордость и говорит: «Мой святой народ»...

– Я тоже за Шекспира, – вмешалась барышня-курсистка, сидя на подоконнике, болтая туфельками и грызя шоколад. – Он за женское равноправие. У него в «Шейлоке» выступают адвокатами две женщины и оказываются умнее всех мужчин.

Адвокат засмеялся и объявил:

– Решено: четыре!.. Итак, остается назвать еще шесть. Прошу вносить предложения.

– «Тысяча и одна ночь», – решительным тоном заявил студент.

– А мотивировка?

– Мотивировка та, что в этой книге человеческая фантазия достигает своего апогея. А так как фантазия есть одна из самых важных сторон человеческого духа, то сохранение такой книги, безусловно, необходимо, особенно теперь, когда мы переживаем полный упадок фантазий и в литературе, и в жизни.

– Ну, тут мы поспорим, – сказал адвокат. – Прежде всего, я не согласен с вами в том, будто мы переживаем теперь упадок фантазии. По-моему, совсем напротив. Ведь фантазия не есть только умение сочинять волшебные сказки. Смелые научные или философские гипотезы, новые теории, великие изобретения в области техники – ведь это все та же работа фантазии. И даже фантазии высшего качества. И всем этим наше время очень богато. А если в беллетристической литературе действительно вымирает погоня за фабулой – или, по-русски, «выдумкой» – роман с приключениями, уступая место правдивому изображению реальной жизни, то, по-моему, тем лучше. Нам и нужна правда, а не выдумка.

– Потому что вы смешиваете понятия! – горячо возразил студент. – Вы полагаете, что правда противоречит фантазии. Это, безусловно, неверно. Писать правду – значит изображать только то, что действительно бывает в жизни. Но жизнь очень разнообразна. В ней возможны самые неожиданные сочетания событий. И для того, чтобы рассказывать об этих многообразных комбинациях, необходимо, чтобы они пришли в голову рассказчику. Но в том-то и дело, что есть писатели, которым из тысячи комбинаций, вполне возможных, по меньшей мере девятьсот девяносто никогда не приходили в голову, а приходили и приходят только десять самых обыденных: родился, поступил на службу, помер... Это и значит не иметь фантазии. Фантазия не в том, чтобы придумывать ложь: фантазия в том, чтобы представлять себе жизнь во всем многообразии. От писателя не то требуется, чтобы он «выдумал» случаи, которых не бывает: требуется, чтобы он умел придумывать в большом и разнообразном количестве те случаи жизни, которые действительно бывают. Обладать фантазией – значит

охватывать своим кругозором широкое поле жизни; не иметь фантазии – значит видеть только одну узенькую полоску этого поля. А тот, чьему зрению доступна только узенькая полоска жизни, тот не может рассказать и всей правды, а только узенькую полоску правды. Писатель без фантазии всегда односторонен и никогда не правдив. Немыслимо изображать правду, не обладая «выдумкой».

– Я не вполне с вами согласен, – ответил адвокат, – но ваша точка зрения теперь мне ясна. Вы считаете, что в художественной словесности элемент фантазии необходим, а ввиду этого, как напоминание и назидание, хотите сохранить сказки Шехерезады.

– Нет, нет, – заторопился студент, – вы суживаете мою мысль. Желая сохранить сказки Шехерезады, я радею вовсе не об интересах словесности. Я имею в виду интересы жизни, общественную пользу. Я ценю и признаю литературу лишь как отражение известных экономических процессов, происходящих в обществе. И если я замечаю в литературе данного периода какой-нибудь характерный феномен, вроде упадка фантазии, это меня занимает лишь постольку, поскольку знаменует, что и в жизни, очевидно, произошли какие-то перемены, соответствующие оскудению фабулы. Сказки «Тысячи и одной ночи» дороги мне совсем не ради того влияния, которое они могут оказывать на господ писателей, а ради их влияния на самую жизнь, для напоминания и назидания общественному настроению – если только (должен оговориться) вообще признавать, что литература, будучи сама продуктом общественного настроения, способна, в свою очередь, на него же влиять...

– А нельзя ли полюбопытствовать, – спросил адвокат, – какие это явления в современной жизни соответствуют, по вашему мнению, упадку фантазии в литературе?

– А я так даже не понимаю, – вставила хозяйка дачи, – в чем это вы заметили оскудение фабулы у наших современных авторов?

– Я отвечу на оба ваши вопроса, только раньше на второй: *place aux dames*⁴. И кроме того, что *place aux dames*, этот вопрос сам по себе важен: у каких именно современных авторов я заметил оскудение фантазии. Было бы несправедливо, пожалуй, сказать, что у всех или даже у большинства: точной статистики нет, да я всех ныне пишущих, им же имя легион, и не знаю. Убыль фантазии я заметил только у нескольких – но в том-то и дело, что как раз эти несколько и состоят теперь в особенной и даже чрезвычайной моде. Наряду с ними есть и другие даровитые писатели: их любят, их ценят, но бурной и шумной моды на них нет. А как только в полном смысле слова модное имя – сейчас вы констатируете самое роковое бессилие фабулы. Это симптоматично. Это показывает, что нищета фабулы соответствует общественному настроению момента!

– Имена?

– Извольте. Начнем хотя бы с Пшибышевского. «*Homo sapiens*» вы, конечно, все читали. В романе три части, и во всех трех на первом плане стоит дерзостный и властный человек – существо, так сказать,

⁴ *place aux dames* (франц.) – сначала дамы.

могучее на подвиг и на грех, — одним словом, извините за избитое выражение, сверхчеловек да и только. Сам он себя уподобляет молнии, которая на своем пути испепеляет все: и дубы, и полевые ландыши. И я против этой характеристики ничего не имею: такие типы, несомненно, в жизни бывают — иначе откуда бы взялись Наполеон или Бисмарк? Но вот, нарисовав такого человека великой дерзости, Пшибышевский начинает его проявлять и, так сказать, продуцировать, и тут-то и начинается любопытное. Скажите, если бы вы, например, хотели показать, что герой вашего романа — искусный фехтовальщик, как бы вы это показали? Ответ ясен: вы заставили бы его биться тоже с сильными и искусными противниками один на один или даже одного против многих, и тогда было бы ясно, что он за молодец. Большая сила проявляется только на больших объектах, на трудных точках приложения. Сообразно этому раз Пшибышевский вывел на сцену человека великого дерзновения, победителя над моралью и совестью, человека-молнию, то в интересах Пшибышевского было бы проявить огромную силу своего героя в огромных же конфликтах, ввести его в столкновения с массами и стихиями, чтобы тут на фоне громадных коллизий ярко выступила вся мощь этого человека. Вместо того, что совершает Фальк на страницах романа? В первой части портит одну барышню, во второй части портит другую барышню и в третьей части портит третью барышню. Больше нечего. Где-то в конце намекается мельком на политическую деятельность Фалька, но так бледно и сухо, в таких общих чертах, что сейчас же видно: автор или не хотел показать своего героя в более крупных ситуациях, чем интрижки с барышнями, или не умел. Но предположить, что не хотел — трудно, потому что эти ситуации были бы в интересах автора, лучше обрисовали бы сильную личность героя. Значит, не умел или, по-моему, органически не мог. Потому что для изображения крупных коллизий нужна фантазия, «выдумка», так как эти коллизии на каждом шагу не валяются. Скучной фантазии модного романиста хватило только на обыденщину — на одну барышню, еще барышню и еще барышню. И на этих сереньких объектах, за неимением лучшего, заставил он Фалька проявить свою адскую дерзновенность. И вышла стрельба из пушки по воробьям...

— Ну, а еще кто?

— Да хоть русские модные писатели: Горький и Андреев.

Хозяйка всплеснула руками.

— Это Горький-то скуден фантазией? Да у кого же еще такая сила воображения?

— И не спорю. Воображение — да. Но прошу не смешивать воображения с фантазией. Большая разница. Воображение — это способность представить себе ярко и живо один отдельный образ или момент. Фантазия — это способность придумать много разных образов и моментов и сочетать их в связную и сложную комбинацию. Воображение и фантазия — это статистика и динамика. Воображение — это фотографическая карточка, фантазия — кинематограф. Воображения у Горького хоть отбавляй. Фантазии — ни тени. Лучшее, что дал Горький — это наброски, статистические снимки одного момента. Попро-

буйте рассказать фабулу любого из его рассказов: не удастся. Фабулы почти нет. Комбинации событий всегда самые серые, самые скучные – и это несмотря на то, что жизнь босяка полна неожиданностей и необычайностей. А вся мощь и красочность таланта Горького уходит на обрисовку типа и отчасти обстановки: море смеялось, Мальва говорила то-то и то-то – а динамики, движения, действия никакого. И эта органическая неспособность связывать отдельные моменты в сложную фабулу окончательно подтвердилась тогда, когда Горький перешел к роману и особенно к драме. Я не намерен теперь обсуждать, удачны или нет обе пьесы Горького⁵. В скобках даже скажу, что я их очень высоко ценю; но в то же время они ясно и неопровержимо доказали одно: что Горький так же беден фантазией, как до роскоши богат воображением, красками, силами чувства и ума. И чуя эту свою органическую неспособность заполнять картину вширь, он в драмах все норовит уйти вглубь: он углубляет пуше художественной меры обрисовку типов, настроений, обстановки, в ущерб движению и действию... А Андреев...

– Ну, уж об Андрееве «не скажите», – усмехнулся адвокат. – Тут фантазии даже как будто слишком. Фабула «Фивейского» – самая пестрая, да и в «Бездне» далеко не обыденный случай рассказан.

– Вот, вот именно! – подхватил студент. – Это-то и особенно важно. Я тоже думаю, что Андреев органически вовсе не лишен фантазии. Но он ее как бы гнушается. Он ее почти не пускает в ход. Он избегает широких, многофигурных, полных движения полотен и концентрирует все внимание на отдельных точках и пятнышках, но за то уж эти точки расковыривает, так сказать, до самого дна и еще глубже. В журнале «Весы» я прочел недавно меткое выражение – не помню чье, Брюсова или Белого: «От любой мелочи можно просверлить отверстие в Вечность», – или в таком роде. Это и есть формула «творчества не вширь, а вглубь»: остановиться на мелочи, всмотреться в нее и пробуровать дырочку в самую Вечность, в самую бездну основных вопросов и противоречий природы человеческой. Может быть, тем и объяснима та любопытная странность, что русская литература забросила роман и почти целиком ушла в коротенькие рассказы: ведь роман без фабулы, как никак, а выйдет скучноват. Литература явно избегает фабулы. Избегает даже там, где автор, как Андреев, сам по себе и не беден фантазией; избегает даже там, где этой фабулы не надо придумывать, где она уже готова – например, в повестях из босяцкого быта, который так хорошо известен Горькому и так полон необычайностей и неожиданностей. И ничем этого не объяснить, как только духом времени, настроением эпохи, которые, по-видимому, не благоприятствуют полету фантазии даже там, где фантазия имеется – противятся постройке сложной фабулы даже тогда, когда эта фабула сама собою напрашивается. И как последнее, самое яркое подтверждение, я сошлюсь на другого модного писателя – модного, положим, больше за границей, чем в России – на Д'Аннунцио. Более яркого представителя «убыли фантазии» нельзя и представить. В этом

⁵ Речь идет о пьесах Максима Горького «Мещане» и «На дне».

отношении даже Пшибышевский сильнее. Бессилие «выдумки» в романах и драмах Д'Аннунцио доходит до поражающих размеров. И вдруг я узнаю, что Д'Аннунцио написал поэму о Гарибальди. Жизнь Гарибальди сама по себе волшебная сказка: тут не надо «выдумки» – фабула готова, и богатейшая. «Интересно, что выйдет у Д'Аннунцио», – подумал я и выписал себе «Ночь на Капрере». Оказывается, Д'Аннунцио отбросил прочь весь фабулярный элемент многобурной жизни своего героя и посвятил поэму тысячи в две стихов изображению совершенно статического момента: сидит Гарибальди ночью на своем острове, переживает какие-то настроения и думает какие-то думы. Это уже совсем похоже на симптом какой-то болезни, на какое-то органическое отвращение к фабуле, т. е. к изображению жизни многообразной и сложной, богатой комбинациями, – даже там, повторяю, где ничего придумывать не надо, где фабула уже готова...

– Хорошо-с, – сказал адвокат. – Но, возвращаясь к нашей теме – какую же роль в исправлении этой беды могут сыграть сказки Шехерезады?

– Никакой. Исправят беду не сказки Шехерезады, а сложные социальные процессы; но сказки Шехерезады будут в этом отношении полезным напоминанием и назиданием. Я говорю: раз у самых модных писателей наблюдается убыль фантазии в изображении жизни – следовательно, жизнь вокруг них действительно перестала давать пищу фантазии, обесцветилась, стала монотонна и однообразна. И она еще долго будет однообразна и монотонна, пока не обновится этот экономический строй, сваливающий на плечи каждой отдельной личности громадную тяжесть вопроса о личном и семейном пропитании и под этой тяжестью нивелирующий всех и вся, дрессируя нашу психику и сосредоточивая насильственно все наши помыслы и настроения вокруг одного всеобщего центра – погони за хлебом. Во времена сословно-цехового строя эта тяжесть еще лежала отчасти на коллективных плечах сословия или цеха, но теперь она обрушилась на каждого человека в отдельности и для всех непреодолимо стала главной и преобладающей заботой жизни, так что природное разнообразие типов и индивидуальностей все стерлось и сравнилось в этом общем основном и всеобъемлющем настроении погони за хлебом. Из однообразия настроений только и могла получиться однообразная и монотонная жизнь – жизнь без фабулы. Я потому и стою за сказки Шехерезады, что вижу в них яркую, прекрасную противоположность этой нашей жизни. Увлечаться ими – значит протестовать против нашего уродливого общественного устройства, потому что в них все – фабула жизни, тысячи неожиданных комбинаций и сцеплений, включения, необычайности, кипучее многообразие жизненных проявлений, даже ложь и суеверие, но я это прощаю, потому что и это ярко, и это непохоже на наше бесцветное существование! Человечеству надо помнить, что жизнь должна быть богата и многообразна и что наступит день, когда тяжесть вопроса о хлебе окончательно переляжет с плеч отдельной личности на плечи всего общества, и освобожденная личность снова заживет полной, всесторонней и разнообразной жизнью – жизнью с богатой фабулой, с беспредельным пространством для фантазии. Я охрип... и кончил.

– Кто за «Тысяча и одну ночь», кто против? – спросил адвокат.

– Советую всем согласиться, – предложила хозяйка, – а то этот марксенок опять заладит новую лекцию на два часа. Вообще, предлагаю после этой речи отдохнуть и подкрепиться.

– Итак, пять, – сказал адвокат, и мы пошли на дачу подкрепляться.

Но оказалось, что и за ужином разговор продолжался на ту же тему – о десяти книгах. Одна из дам, более или менее пожилая, хлопотала за Байрона, против которого горячо восставал еще охрипший студент.

– Нам не нужно разочарованности! – восклицал он с набитым ртом. – И без того нытиков на свете довольно. Ни за что не допущу Байрона.

– У вас ходячее представление о Байроне, – возражала дама, – или скажу резче: ученическое представление. В учебнике сказано, что герои Байрона разочарованы, и вы так и затвердили: раз Байрон, значит разочарованность. Простите, но это мне напоминает представление французов о русском *le bagine*: сидит под сенью развесистой клюквы и закусывает самоварами, густо смазанными зернистой икрой. И так как эта картина русского блаженства могла возникнуть только у такого француза, который знал Россию лишь понаслышке, да и то плохо, то у меня является нескромный вопрос: да вы Байрона читали?

– Мм... – неопределенно выразился студент; впрочем, он в эту минуту жевал.

– Вот то-то и «мм». Да не вы одни, а вообще, я думаю, мало кто теперь читал Байрона. А между тем, ведь именно теперь и читать-то его. Не знаю эпохи, когда бы он больше мог прийтись ко двору, чем нынче. Мы зачитываемся Горьким; можно сказать, что целое поколение уже воспиталось на Горьком и прониклось его основным мотивом. А этот основной мотив – протест сильной личности против склада жизни, удобного и пригодного только для мелких людишек. Но ведь это и есть основной тон Байрона. Разочарованность, которую вы затвердили из учебника, есть только второстепенная подробность, а суть байронизма в этом самом протесте сильной личности, которой тесно в быту, созданном по плечу мещан и ужей. Манфред, Лара, Корсар, Сарданапал, Чайльд-Гарольд, Дон-Жуан, Каин – все его герои, словом, – это те же типы Горького, даже в том же освещении, только из другого общественного слоя. Все они также тяготеют к мещанству жизни, ее мелочностью и лицемерием, также уходят прочь из общества – бродяжить и скитаться. Те же босяки, только поизящнее в одежде и речах. Так сказать, босяки в стихах и под музыку. Понимаете? Вы только что отстаивали «Тысячу и одну ночь», потому что никогда снова, по-вашему, жизнь наша не станет богата фабулой и фантазией и человек не будет развиваться полно, сильно, всесторонне. Я с вами вполне согласна. Но ведь разочарование героев Байрона, их бегство из мещанского быта и есть эта сама жажда фабулы в жизни, прорыв к фантазии в жизни! Наше время, что бы там ни говорили, есть время индивидуализма: все мы влюблены в мечты о сильной и властной личности, ждем не дождемся ее прихода на историческую сцену и даже ради того и мечтаем о более справедливом уст-

ройстве бытовых отношений, чтобы на той новой почве каждая человеческая единица могла развиваться в сильную личность. Но в таком случае Байрон должен быть настольной книгой у каждого из нас. Это корень индивидуализма. Когда мы говорили тут о Гомере, было высказано, что при сохранении «Илиады» и «Одиссеи» нам не нужен ни Руссо, ни Толстой. Я с еще большим правом могу сказать: сохраним Байрона, и мы тогда можем обойтись и без Ницше, и без Максима Горького...

– Позвольте! – воспротивился студент. – Отчего же не наоборот? Я готов признать, что в числе десяти книг было бы важно сохранить и кого-нибудь из апостолов сильной личности, но в таком случае я за Горького. Сами же вы говорите, что тон у обоих один и тот же, одни и те же типы, только у Байрона они носят на себе классовый отпечаток господствующих слоев общества, а у Горького они демократичны. Оттого и надо предпочесть Горького. Его протест против мещанства глубже, потому что он показал семена этого протеста уже не только в среде вырождающихся потомков феодальной аристократии, но и на самом дне огромных народных масс, тех именно масс, которым принадлежит будущее.

– Видите ли, – ответила дама, – это вопрос очень трудный. Прежде надо решить, допустимо ли вообще состязание между Байроном и Горьким, не слишком ли это разные величины. Я лично полагаю, что никакого состязания между ними быть не может. Я нахожу, что в Манфреде и Каине Байрон проник до таких бездонностей человеческого отчаяния, в которые ни Гете, ни Шопенгауэр не заглядывали; поэтому для меня Байрон стоит на недостижимой высоте и не подлежит конкуренции. Но вы мне скажете, что нам тут нужны не бездонности отчаяния, а гимн сильной личности, а в этом отношении действительно нельзя не считаться с большей демократичностью Горького. Однако я вам на это вот что отвечаю: я человек уже старый и очень осторожный. Я вообще предпочитаю подождать, переждать два-три поколения, прежде чем окончательно установить за данным писателем ту или другую художественную оценку. Заметьте: только художественную. Общественное значение писателя выясняется, по-моему, гораздо раньше художественного, потому что общественное влияние писателя есть факт, осязаемый факт. Что касается, в частности, до Горького, например, то его общественное значение выяснилось уже теперь, и это значение, без спора, громадно. Повторяю, что на нем за эти семь-восемь лет успело перевоспитаться целое поколение, и не просто как-нибудь перевоспитаться, а именно к лучшему, к силе, бодрости, смелости и энергии. Это, мне кажется, понимают уже все толковые люди в России. Но относительно чисто художественной оценки Горького, оценки его таланта и его права на вечную память во храме всемирной словесности – в этом вопросе не только не замечается единомыслия, но и отдельные люди, например, я, далеко еще не выработали себе окончательного взгляда. Что талант есть, это мы все знаем, а какого ранга и чина – этого никто не знает. Тем более что тут ослепляет беспримерная, подавляюще огромная общественная роль, сыгранная этим писателем, и не дает трезво и холодно всмотреться в

самое зерно его таланта, очищенное, беспримесное, и определить без ошибки, что за сорт – первый или второй. Кто знает: может быть, пройдет лет двадцать, и яркая красочность, которой мы восторгаемся, потускнеет, и останется просто среднего качества беллетристика? Или, наоборот, только тогда, через двадцать лет, и обнаружится в полной мере вся художественная прочность и ценность этого своеобразного дарования? Во всяком случае, я предлагаю не одного Горького, а всех вообще сегодняшних и (особенно) здравствующих писателей из конкурса устранить, согласно умному правилу: о присутствующих не говорят...

Студент не возражал. Адвокат оглядел собеседников и спросил:

– Итак, Байрон? Итого шесть.

– Я все время молчу, – сказала хозяйка, – так что теперь считаю себя вправе предложить сразу две книги: во-первых, Мюссе, во-вторых, «Путешествие Гулливера».

– Вот тебе и на! – сказала несколько голосов.

– Станный выбор! – кольнул студент, утираясь салфеткой. – Что Мюссе, это я понимаю: дамский вкус сказался. Но Свифт? С какой стати? Мы ведь тут не библиотеку для детей составляем...

Адвокат стукнул ложечкой о стакан:

– Порядок, порядок, господа. Слово принадлежит государыне дома сего для мотивировки.

Хозяйка сказала:

– Мотивировка у меня самая простая. Мы тут, я заметила, выбираем книги так, чтобы в этой библиотеке из десяти названий было представлено отражение всех, по возможности, главных мотивов человеческого творчества, и при этом непременно в самых ярких и типических образцах. Но у нас до сих пор не назван ни один поэт любви; я и предлагаю Мюссе как поэта любви *par excellence*⁶. А Свифта беру как представителя сатиры. Я знаю, что многие считают сатиру не то низшим, не то совсем даже ложным родом искусства. Я в этих тонкостях не судья, знаю одно: сатиры писались и пишутся испокон веков по наши дни, и, следовательно, этот вид художественного творчества тоже соответствует какой-то вечной и важной потребности человеческого духа. А потому я думаю, что обойтись без сатирика значило бы оставить большой и вредный пробел. Что же касается до Свифта лично, то, по-моему, хотя наш студент и читал его еще в детстве (это, впрочем, было не так давно), а «Гулливер» все-таки очень полезная книга для взрослых – хотя бы потому, что там рассказано, на какие чудеса способен народ карликов, если ему даны от небесных властей любовь к родному углу и от земной власти разумное государственное устройство. Очень полезный вообще урок.

Студент не сдавался:

– Мюссе? Отчего же не Анакреон? Отчего не «Дафнис и Хлоя»? «Дафнис и Хлоя» – это совсем уже «современно», потому что Хлоя – самая настоящая *demi-vierge*⁷ четвертого столетия...

⁶ *par excellence* (франц.) – преимущественно, в полном смысле слова.

⁷ *demi-vierge* (франц.) – полудевственница.

– Да и в области сатиры, – сказал тот, который предложил Гомера, – есть Ювенал, Аристофан, наконец, Щедрин...

Хозяйка растерянно развела руками.

– Ах, господа, – сказала она, – я знала, что вы меня забросаете мудреными именами. Я не читала ни Анакреона, ни «Дафниса и Хлои», ни Ювенала; Аристофана пробовала читать и взяла «Облака», но мне на второй странице надоело; Щедрина я очень люблю, но его никто, кроме русских, не может ни ценить, ни даже понимать. А Свифт понятен всем – это ясно уже из того, что его столько лет читают с неослабевающим интересом...

– Виноват, как же это Щедрин никому, кроме русских, непонятен? – спросил защитник Гомера. – А Иудушка Головлев? Самый международный тип!

– Да, еще бы, – отбивалась хозяйка, – потому и международный, что он и списан-то с Тартюфа.

– Кстати! – вскричал еще кто-то. – Уж если искать сатирика, то как же это мы забыли о Мольере?

– А Гоголь? – торжествовал студент, любуясь разгромом своей обидчицы.

Адвокат опять постучал ложечкой и сказал:

– Господа, прошу слова. Я хочу предложить вам одно имя, которое, быть может, примирит всех. Я вполне согласен с нашей милою хозяйкой, что и любовь, и сатира имеют полное право на представительство в нашей библиотеке десяти. Поэтому я напоминаю вам о поэте, который сочетал в своей душе, с одной стороны, всю нежность и тонкость Мюссе и все дерзкое беззаботное эпикурейство Анакреона, а с другой стороны, – соленое остроумие Аристофана, гражданско-критическую вдумчивость Свифта, желчный гнев Щедрина, скорбную улыбку Гоголя и изящно гаменскую⁸ насмешливость Мольера. Одним словом, предлагаю вам избрать седьмым Генриха Гейне.

– Просим, просим, – радостно зашумел студент, – браво, именно Гейне. Это я понимаю! Это уж не то, что дамский вкус...

Гейне был принят. Пришло новое лицо – барышня извилистого вида, с волосами, начесанными на уши. Мы рассказали ей предмет спора. Она подняла руку, полузакрыла глаза и сказала:

– Если есть еще место, впишите Эдгара По. Это родоначальник декадентов.

– Как бы не так, – ответил студент. – Надо еще доказать, что декадентство имеет право на вечное сохранение, что в нем есть положительная идейная ценность, которая пригодилась бы последующим поколениям. Это во-первых, а во-вторых, нужно доказать, что Эдгар По декадент. Я сам поклонник По, и именно потому буду отрицать всякую связь его с декадентами. В нем совершенно нет их туману и шатания мыслей. Он, напротив, удивительно ясный, определительный, отчетливый писатель. Даже в таких произведениях, где неясность, полутонность нужна, эта неясность у него чувствуется только в настроении, в стиле, в фоне, а слова зато всегда совершенно понят-

⁸ От франц. *gamin* – уличный мальчишка; проказник.

ны и не приходится ломать себе голову над каждой строкою, точно она из Апокалипсиса. Да лучший свидетель тому – сам По. Вспомните, что он говорит о своих приемах творчества в статье «Philosophy of Composition». Не знаю, переведена ли она; во всяком случае, подробно ее не помню, но смысл таков: есть, мол, у меня поэма «Ворон», и ее люди хвалят и, вероятно, полагают, что она создана в угаре безотчетного вдохновения. А на самом деле никакого угара не было, и составил я свою поэму по самому строгому плану и расчету. Именно ощутил я в себе расположение написать вещь, посвященную настроению скорби, и рассудил так. Чтобы вещь производила цельное впечатление сразу – она должна быть не особенно велика: строк сто, не больше. Затем, впечатление будет особенно сильно, если эта скорбь будет красива. И я стал придумывать момент, в котором скорбь сочеталась бы с красотой, и нашел, что самый подходящий момент такого рода будет смерть молодого, прекрасного, любимого существа. А еще красивее будет изобразить эту смерть не наяву, а в воспоминании покинутого друга, потому что воспоминание всегда изящнее и прекраснее реального события. А для таких воспоминаний самая подходящая обстановка – ночь, особенно бурная полночь, когда за окном воеет вьюга. Так и сложился у меня остов поэмы: зимняя полночь – покинутый друг вспоминает об умершей подруге... Установив, таким образом, основу содержания, я задумался о форме и пришел к убеждению, что для силы впечатления очень полезно ввести рефрен – какое-нибудь многозначительное выражение, которое повторялось бы в разных местах поэмы и усиливало бы в читателях основное настроение. Но для того чтобы рефрен этот не звучал искусственной выдумкой автора, необходимо повторять его не от себя, а вложить в уста живому существу, одному из действующих лиц поэмы. Что же это будет за живое существо? Человек? Неудобно: разумный человек не станет повторять одного и того же выражения, точно попугай. Тогда, может быть, попугай? Тоже неудобно: птица пестрая и веселая, для скорбной поэмы не годится. Тогда я вспомнил, что многие утверждают, будто можно обучить человеческому языку ворону – птицу черную, зловещую и в данном случае подходящую. Осталось одно: выбрать рефрен. Рефрен должен удовлетворять трем условиям: краткость, многозначительность, звучность. Для краткости я решил взять рефрен из одного слова. Для звучности остановился на гласной *o*, как самой звучной и торжественной из гласных, и на согласной *r*, которая легко поддается удваиванию и издавна считалась одним из самых сильных звуков человеческой речи. Из сочетания обеих получился слог *or*, а тут уже я легко набрел на слово «nevermore» (никогда), краткое, звучное и многозначительное...

– Все врёт ваш Эдгар По, – даже рассердилась хозяйка, махнув рукою, – он, поверьте, раньше написал «Ворона», а потом все это придумал.

– Возможно, – сказал студент. – Но и тогда ясно, что По не был ни мало склонен к туманным экстазам, путаности и непроходимости декадентов, а наоборот – любил даже рисоваться обдуманностью и ясностью своих концепций и форм...

Извилистая барышня сказала презрительно:

– Я философствовать не умею, а просто чувствую, что По родной декадентам, и с меня довольно...

– Видите ли, – мягко вмешался старый господин, – я позволю себе взять слово для выяснения этих разногласий. Я тоже нахожу, что По – родоначальник декадентов, и при этом вовсе не отрицаю всяческой ясности и отчетливости его манеры творчества. Но я полагаю, что сбивчивость и путаность тона совсем не так характерна для декадентства. Это – внешнее, почти случайное. Что типично для декадентства – это самый декаданс, психология «упадка», т. е. особенная аномальная утонченность, переходящая в извращенность. Она возникает в культурном человеке, когда он, залпом наглотавшись разнообразнейших впечатлений, но ни одному не отдавшись всецело, ни одного, так сказать, не переварив, оказывается в очень странном и совершенно нелогическом положении: уже пресыщен, но все еще не удовлетворен. Состояние курьезное, потому что обыкновенно ведь пресыщение может наступить только после удовлетворения – но, как бы то ни было, это состояние переживается многими культурными единицами нашего жадного и неуравновешенного времени и еще долго и долго будет переживаться. Отличительная черта этого состояния – тяготение к ненормальностям, уродливостям, абберациям человеческой психики. Это тяготение, действительно, явно проступает у Эдгара По. У него есть целый ряд рассказов, посвященных таким ненормальностям психики – почти мономаниям. Герои новелл «Береника», «Сердце-обличитель», «Черная кошка», «Человек толпы», «Гибель Эшера дома» и многих других в одном всегда похожи друг на друга: их впечатлительность уродливо односторонняя, до чрезмерной всепоглощающей тонкости развита в одном каком-нибудь направлении. У одного – гиперболизм «внимания», у другого – зрительный или слуховой восприимчивости, у третьего – ощущение страха и так далее. Одним словом, та самая неуравновешенность современного человека, о которой мы здесь все время говорили, против которой мы выставили Гомера как певца здоровой личности – она в Эдгаре По нашла одного из первых своих портретистов. Конечно, быть портретистом извращенной личности декаданта еще не значит быть декадентом. Декадентом в истинном смысле я назову только того писателя, который сам обслуживает извращенные вкусы личности декаданта. Этого у По нет – но к этому пришли его последователи. Это, конечно, тоже специальная функция, в данный момент неизбежная и потому даже полезная, но все-таки я думаю, что в наш сборник десяти, составляемый в целях наилучшего воспитания человечества к здоровой и разумной жизни, вряд ли уместно включать произведения, рассчитанные на нездоровый и неразумный вкус извращенного поколения. Совершенно другое дело – портретная галерея этого поколения. Она, по-моему, прямо необходима. Если мы включили Гомера как полюс нормальности, то надо включить и другой полюс, отрицательный, антинормальный, чтобы иметь перед глазами в картинном изображении весь путь человеческой души. Но не Эдгара По я считаю типическим отразителем этого другого полюса. У По даны только намеки, наброски. Я

предлагаю другого писателя, который действительно дал полную обширную галерею болезней извращенного духа, и из этой галереи людские поколения вечно будут черпать материалы для психологии неуравновешенной личности, для диагноза и этиологии ее недугов и для лечения. Это – Достоевский. Для меня лично в его произведениях таится глубокий социальный смысл, большая правда о русских общественных отношениях и большая любовь к России; но я считаю с тем, что эта сторона имеет интерес вечности, может быть, только для русских, и не вношу ее в мотивировку. Устраняю, чтобы не вызывать споров, даже такой законный довод, как ссылка на философскую глубину Достоевского – хотя лично я присоветовал бы всякому в качестве лучшего пособия к изучению всемирной истории главу о великом инквизиторе. Массовых движений она не уяснит, но всюду, где на арену истории выступает активная личность – будь это великий завоеватель Тамерлан или крупный временщик начала XX столетия, – там перед вами иллюстрация к этому изумительному отрывку из галлюцинаций Ивана Карамазова. За последним примером недалеко ходить: только недавно в одной из стран Европы сошел со сцены крупный и интересный деятель, ярко индивидуальная система которого колебалась на неуловимой границе между политической романтикой и политическим авантюризмом и из уст которого достоверные люди слышали фразу: «Я сначала укрощу свою страну, подавлю в ней всякое дыхание строптивой жизни, а потом дам ей счастье, о котором она и не мечтала». Да ведь это он, герой Карамазовской «поэмки»! Но, повторяю, чтобы не вызывать споров, я и философию Достоевского оставлю в стороне и мотивирую свое предложение одним только доводом: Достоевский оставил огромную портретную галерею нервного поколения, исковерканного неизбежной односторонностью капиталистического общественного строя. Эта односторонность сохранится до дней полной гармонии, т. е. очень и очень долго; следовательно, то, что дал Достоевский, отражает основные черты далеко не одного XIX века, и еще поздние наши потомки будут узнавать себя в его героях...

Извилистая барышня нашла, что Достоевский скучноват; впрочем, она спорить не стала, и Достоевский был избран восьмым.

Девятого предложила молодая дама – та самая, которая провела «Декамерон».

– В выборе книг, – сказала она, – мы руководимся одной (как выражаются господа адвокаты) презумпцией: что идеи, заключенные в книгах, способны влиять на волю человечества и направлять ее на добро. И это действительно так: у человека – у животного *homo sapiens* – есть потребность служить отечественной идее, создать себе живого бога и во имя его подвижничать. На эту потребность и опирается всякая проповедь; и когда мы составляем свой каталог десяти книг, мы, собственно, составляем воспитательную библиотеку для этой потребности, потому что на ней одной зиждется все идейное значение литературы. Но в таком случае необходимо дать место и такому произведению, которое представляло бы саму (терпеть не могу говорить «самое») – саму эту потребность, воспевало бы способность человека быть рыцарем и подвижником во имя идеи. Остальные девять книг

научат его избрать для своего подвижничества разумную и полезную идею; но именно потому хоть одна книга пусть напоминает ему, что человеку необходима такая идея. В мировой литературе есть произведение, где рассказана жизнь одного настоящего рыцаря идеи, рассказано о его героизме, о его самопожертвованиях, о его ошибках и том хохоте, которым отвечал весь мир на его подвиг, а он все-таки не сдался и был рыцарем до смертного часа. Вы понимаете, конечно, я говорю о Сервантесе.

– Уд-дивительно! – сказал студент, – дамы все детские книги выбирают. Хозяйка – «Гулливера», вы – «Дон Кихота»... Делать нечего, пусть...

Остальные кивнули головами. Адвокат сказал не без торжественности:

– Девять! Господа, осталось одно свободное место. Прошу теперь об особенной вдумчивости и осторожности.

– Н-да, – вставил студент. – Дело щекотливое: тьма кандидатов и одна вакансия... Придется резать без пощады.

– Господа, – сказал адвокат, – я сижу, слушаю и удивляюсь, что у нас до сих пор не названо одно имя, с которого, собственно, и следовало начать – Гете.

– Режу и проваливаю, – решительно заявил студент. – Я утверждаю самым положительным образом, при полном уважении к гениальным способностям экзаменуемого литератора, что ни моему сердцу, ни уму никогда от него не было ни шерсти, ни молока, – и смею думать, что многие здесь ко мне присоединятся.

– Ну, уж это, ах, оставьте, – возразил адвокат. – Когда тут говорили о Достоевском, мне хотелось вмешаться и сказать, что нужен не Достоевский, а Гете. Если Гомера признать за один полюс первобытной, цельной, здоровой личности, то другим полюсом будет непременно Фауст. За огромный промежуток времени, отделяющий Гомера от Гете, человеческая личность совершила громадный путь, дошла до громадных высот, и вот она в Фаусте как раз и стоит на недостижимых вершинах культурного развития, где уже все изведено, испытано, пережито. У Гомера вещая мудрость дикаря, у Гете мудрость жреца, прочитавшего все тайны, какие только написаны в звездах. У Гомера детство человечества, у Гете его полная зрелость. Если мы включим в наш список для вечного сохранения один этап, мы должны включить и другой...

– Режу и проваливаю, – повторил студент. – Прежде всего, в таком случае надо поднять вопрос об исключении Достоевского и замене его Гете. А против этого я буду восставать зубами и когтями. Размеров таланта я, конечно, не сравниваю: это было бы смешно. Но ведь мы выбираем не по таланту, а по полезности. Как же не признать, что в качестве антипода Гомеру Достоевский гораздо полезнее Гете? Фауст, прежде всего, не реальная фигура, а символ, некое отвлеченное «томление духа» в воплощении и на двух ногах: ни нервов, ни социальной обстановки, один томящийся дух. Да и вся поэма чисто отвлеченная, больше для комментариев и догадок, чем для настоящего впечатлительного чтения. Достоевский – совсем другое: у

него настоящие живые люди, плоть и кровь, и эти люди в самом деле представляют нервное поколение, исковерканное капиталистической культурой и вообще условиями капиталистического быта. Какое же тут сравнение с Фаустом? Я безусловно против Гете. А лучше – в угоду нашим дамам, поклонницам детской литературы, – предложу вам со своей стороны хорошую книгу, которая, право, достойна числиться в списке десяти – «Робинзона». В ней рассказано, как возрождается человек от трудового соприкосновения с природой. Великолепный pendant⁹ к Гомеру, имя которого так нещадно склонялось в наших спорах.

Начался беспорядок. Назвали Данте, Шелли, Вольтера, Толстого, Шиллера, русские былины; между барышней с волосами на ушах и студентом поднялся такой горячий спор, что хозяйка дачи предложила им в качестве десятой книги «Хороший тон» Гоппе.

Адвокат попросил внимания и сказал:

– Я сохраняю целиком свое мнение о Гете, но хочу тем не менее внести новое предложение. А именно: оставить вопрос о десятой книге открытым. Пусть его за нас решат другие. Среди нас есть один журналист. Попросим его рассказать о нашей беседе в печати, а вопрос о десятой книге предложить самим читателям. Пусть они выберут и сообщат ему в письмах свой выбор с мотивировкой, и тогда мы увидим, за кого большинство и кому, следовательно, принадлежит по праву десятое место в нашей библиотеке рядом с Библией, Гомером, Шекспиром, «Декамероном», сказками Шехерезады, Байроном, Гейне, Сервантесом и Достоевским.

– А не боитесь ли вы, – спросил журналист, – что читатели начнут недоумевать: для чего нам преподносят все эти разговоры о старых книгах? Кому это интересно? То, что очень занимательно в милой компании на даче, может показаться скучно в газете.

– Не думаю, – ответил адвокат. – Я хорошо знаю среднего читателя и ручаюсь вам за то, что много ли, мало ли он читает, равнодушно ли или с увлечением – он никогда не задается вопросом, что именно хорошо в книгах, обязательно украшающих любой книжный шкаф, что именно внесли они в сокровищницу духа и за что им такая честь всеобщего признания. А мы здесь об этом как раз и говорили. Авторы, которых мы разбирали – все старые знакомые и «вечные спутники», по выражению Мережковского: род за родом будут их читать, будут с детства роднить свое сознание с их именами. Это вечный багаж культурного человечества, и от времени до времени каждому из нас не мешает распаковать чемодан, разобрать, разложить, перевернуть и проветрить его, чтобы складки не слежались и моль не проела. А теперь объявляю заседание закрытым.

Я исполнил поручение. Думаю даже, что так лучше: пусть десятую книгу каждый выберет сам для себя – если, конечно, согласен с адвокатом во взгляде на тему этой длинной беседы. Если же не согласен, бью ему челом, извиняюсь, что, быть может, наскучил, и прошу не поминать лихом.

⁹ pendant (франц.) – соответствие, пара.

[illegible]

ПОЭМА СУББОТЫ

ИСХОД 30:11 – 34:35

«Две каменные плиты, покрытые письменами,
давно разбиты, осколки теперь в земле
на территории египетского военного лагеря.
На них – прикосновение его длани.
Никто никогда не видел облика среди пепла и гари».

Однако за границей жизни
начертано: есть видение без возврата.
Врата приоткрыты, запах мяты, обрывки песен,
облако пыли, горящие реки, куда-то идут солдаты.

Крыло дуновения того ветра. Знание недоступно
ни ночами агонии, ни душным больничным утром.
Только в конце на зеркале дыхание вскользь наметит
тающий легкий образ в потустороннем свете.

Это лишь тень Моисея в пути, на лице завеса.
Горизонтальный месяц веками застыл на месте.

Он на пути остался, где-то его могила.
 Образ его прозрачный плывёт над долиной.
 Его собеседник рядом, с нами в пути по пустыне.
 В колкой заре на рассвете, в тлеющем дыме,
 в тающей ночью тени на площади в Ханаане.

ЛЕВИТ 16:1 – 18:30

После того как они ушли, подойдя слишком близко,
небо заволокло, и брату заказан был вход под страхом смерти,
и резко

облако взмыло за полотном пустыни. На расстоянии
виден был знак, и ушёл человек в поисках зверя в унынье.
Но не одинок ты в скалистой пустыне, Азазель.
Аарон перед Ним в ожиданье всю жизнь – не разрублен тот узел.
Вот и запомни, что меченый ты: избран,
 послан в предел недоступный,
там, где свобода струится и рвётся ручей по уступам,
то омоет, то снова разыграет ключом – и растает.
Отдохни в день десятый, и вспомнишь всю жизнь, и предстанешь

перед Ним ты один, у светло-отвесного входа.
Запах крови, и дыма, и кож – всё проходит.
Там демоны-звери померкнут в ночи, и ты, утомлённый,
обнажённый, застынешь под кровом безмолвно.
В том месте, где слышен язык, словно рядом
наречье пропитано чудным и медленным ядом.
Язык, который мы слышим, не помним, но знаем,
по краю пройдя неумолчно трепещущим садом.
И звуки слышны, голоса, голоса, но буквы,
обломки согласных как будто разбросаны чадом.

ЛЕВИТ 19:1 – 20:27

Третий день – день запрета. Разложен костёр.
Незнакомец стоит на пороге твоём.
Выбрось хрупких божков и вымети сор.
Ты в конце остаёшься со мною вдвоём.

Собери виноград, и последний кувшин –
для случайного гостя из дальней страны.
И отец твой, и ты, и твой внук, и твой сын –
все вернулись с чужой и постылой войны.

Посмотри на свой дом: опустели поля.
Где-то мать и сестра черепки собирают.
Но написано: есть за пустыней земля.
Если это не рай, то предвестие рая.

Там прозрачен рассвет, ароматен закат,
бесконечен родник у забытой гробницы.
И невидимый свет, струясь, словно весть,
озаряет родные и дальние лица.

ЛЕВИТ 21:1 – 24:23

На день седьмой ты станешь тих и нем.
Ты отдохнёшь от пристальных работ.
Проходят дни, недели, будет семь
недель, и выйдет в поле тот,

чей облик далеко. Свежи его следы,
и сладок дым от жертвоприношенья.
Сын египтянина придёт как весть беды,
и будет тщетной жертва всесожженья.

Но есть хлеба для скорбных и чужих,
дошедших из долин до тех предгорий,
где человек и зверь пьют сальный, терпкий дым
тех наслаждений, что приносят горе.

Но мы в том месте, где дарован нам
в кувшине глиняном необозримый свет.
Дождёт покоем тихий ветер сна,
прошелестит по глянцевой листве,
по ивам вдоль ручья, по нам, по всей родне
по листьям пальм и принесёт к апрелю
весть о земле, о молоке, о дальнем дне,
когда мы выйдем наконец на волю.

ЛЕВИТ 25:1 – 26:2

Земля ждет сорок девять лет.
Сорок девять раз я ждал тебя в своём сердце.
Сколько лет над землёй длится полёт
взлетевшей с надеждой трепетной птицы.
По реке времени, в лесах пространства,
сквозь опустевший, оглохший, остывший город
несёт она весть о временном постоянстве,
о том, что народ мой древен, но вечно молод.
А душа, где она находит верное место?
В чужих пределах, но отзвуки помнит слова.
Хранится оно всю жизнь, всё детство.
Взлетевшая птица вернётся домой снова.

5 АДАР II 5771 (11 МАРТА 2011)

Когда нас не будет, не станет, настанет
Ваш мир в пустоте бессловесного гуда.
Мы дымом взлетим, звездой негасимой
В заброшенном городе старшего сына.
Задавленных судеб овраг оседает.
Никто не выходит на улицу в мае.
А вы припадёте к подножиям жирным,
Покрытым кровью и салом могильным.
И там, в перепончатом мраке забвенья,
Всё медленно вдаль поплывёт – к разрешенью
Всех ваших задач относительных чисел,
К забытому складу непонятых писем.
Но выживет память кровавого сгустка,
Там книга закрыта, там гулко и пусто.
Но и без нас будет боль абсолютна,
Когда ваши дети больные под утро
Всё будут шептать с осязаемым страхом.
И дети, и вы – до последнего часа:
Йоав, и Элад, и грудная Адасса...

ДОЛИНА МЁРТВЫХ КОСТЕЙ (ИЕЗЕКИИЛЬ, 37:1-14)

В Долине Мёртвых костей стою и внемлю.
Правой прошу о помощи, глаза прикрываю левой.
Ручьи пересохли, кость превратилась в камень.
Скажи, зачем ты меня в этом месте гиблом оставил?

Долина Мёртвых костей, смерть, но и в ней – обещанье.
Восстанет народ, ибо вечно твое прощенье.
От тех, кто убиты, лишь кости и пыль остались.
Кости не могут жить и дышать, их тени не встанут.

Сын человеческий – здесь весь твой народ погибший.
Но помни, могилы откроет и благословит Всевышний
народ свой грешный, вдохнёт движение ветра.
Ветер четвёртый, вслед за первым, вторым и за третьим.

Бог мой войдёт в вас, и снова к истокам вернётесь
В землю свою – в свою землю последнюю, в Эрец.
Память костей в той долине всю жизнь и всю смерть остаётся.
Смертный дымок над долиной и городом медленно вьётся.

САМУИЛ 11:14 – 12:22

Я стар и сед, я вёл вас через жизнь всю жизнь.
Свидетель мой – Всевышний. Из Египта
вас вывели Моисей и верный Аарон,
не дав допить смертельного напитка.

Теперь, когда не видно ваших лиц,
повёрнутых к Ваалу и к Астарте,
ждёт царь Моава, сонмы филистимских хищных птиц
летят на вас, и в ожиданье смерти

недвижны вы. Но старец Самуил
промолвил медленно: «Оставьте страх и бсלי.
Вы совершали то, что требовал Ваал.
Всевышний выведет вас снова из неволи».

Забудьте страх. Он не оставит вас,
пока Его в себе несёте через годы.
Скреплённые единою судьбой
опять вкусят и молока, и мёда.

И снова поплывёт маяк судьбы
сквозь заросли неведомой природы
вслед за кивком незримой головы
в далёкие безвременные годы.

Леонид Кацис

БОРИС СЛУЦКИЙ – РУССКИЙ ПОЭТ И ЕВРЕЙ

Вначале – о названии этих заметок. Оно восходит к статье в Encyclopaedia Judaica о Самуиле Маршаке, где тот обозначен как «Russian Zionist and Poet» [«русский сионист и поэт»]. О Слуцком этого не скажешь, я бы его определил именно так, как озаглавил свои размышления о книге молодого американского исследователя Марата Гринберга, которая, к сожалению, существует пока только на английском.¹

Кажется, автор книги о советском поэте (советском – не только по хронологическому или географическому признаку) решил поразить читателя уже самым названием своей работы, представляющем почти дословный перевод цитаты из малоизвестной строфы Слуцкого.

С одной стороны, англоязычного читателя вряд ли привлечет объемный труд о не самом знаменитом российском поэте. А с другой – название книги, возможно, «рифмуется» с названием серии, в которой она вышла: Borderlines: Russian and East European-Jewish Studies.

Место Слуцкого в современном литературном мире, казалось бы, подтверждает неуместность «национального» подхода: несмотря на то, что за последнее время издано немало книг самого поэта и мемуаров о нем, Борис Абрамович почему-то нечасто попадает в сферу интересов специалистов по русско-еврейской литературе.

По мнению Марата Гринберга, все дело в том, в каком виде приходит к читателю поэт. С одной стороны, Слуцкий публиковался в СССР во вполне определенных политических условиях, не предусматривавших для коммуниста-фронтовика чрезмерного интереса к «скользкой» теме. С другой – его публикаторы (из добрых, как им казалось, побуждений) не слишком углублялись в национальную составляющую его творчества.

С первых страниц книги Гринберг вступает в спор с образом Слуцкого, который создал его верный хранитель и издатель, покойный Юрий Болдырев. Тот предпринял два больших издания: построенный в традиционных хронологическо-тематических рамках объемный трехтомник и сборник в издании журнала «Знамя», где стихи Слуцкого разных лет были выстроены как огромная фреска русской истории XX века и советской цивилизации. Одного этого было бы достаточно, чтобы Слуцкий навсегда вошел в историю русской поэзии.

Однако Гринберг отмечает, что Юрий Болдырев «общечеловеческие» стихи Слуцкого активнейшим образом печатал в престижных

¹ Marat Grinberg. "I am to be read not from left to right, but in Jewish: from right to left" («Я читаюсь не слева направо, [но] по-еврейски: справа налево»). The Poetics of Boris Slutsky. Boston. 2011. Academic Studies Press. 482 p.

литературных журналах, а вот его «еврейские» стихи – так это получилось – в малодоступной для широкого читателя еврейской периодике, которую не так просто было собрать.

Сам Гринберг пошел по пути не разделения, но объединения: он включил еврейские стихи Слуцкого в общий поток творчества поэта и показал еврейский контекст даже в таких хрестоматийных его стихах, как «Лошади в океане»².

Стоит вспомнить противоположный пример: когда и Н. Я. Мандельштам, и ранние исследователи творчества Осипа Мандельштама даже очевидно еврейские его тексты либо исключали из рассмотрения, либо толковали так, чтобы у читателя создалось впечатление, будто «еврейское» – это клоака, куда О. М. сливал миазмы того, что мешало ему быть русским поэтом. Собственно говоря, «недостаточная русскость» поэта препятствовала, по их мнению, появлению «Пушкина XX века».

Понятно, что Марат Гринберг не мог обойти поэтические размышления Слуцкого о своем происхождении, не мог не сравнить их с «Происхождением» Багрицкого. Однако если Багрицкий по крайней мере в стихах от этого предреволюционного одесского бэкграунда (кстати, напрямую с реальностью не связанного) уходил, то генезис харьковчанина Слуцкого включал в себя и изучение иврита, и, по-видимому, основ иудаизма, что отразилось и в стихах.

Анализируя отрывок из «Незаконченных размышлений» о собравшихся в подвал «старцах», Гринберг отмечает, что здесь явно имеется в виду ритуал обрезания младенца и наречения его русским (или русско-татарским?) именем Борис вместо табуированного в советские времена Борух.

И это нежелание быть тезкой русского царя-неудачника исключительно значимо для поэта.

В традиционной истории русско-еврейской литературы считается, что она закончилась в 1940 году со смертью Бабеля и Жаботинского. Однако Слуцкий начал писать свою эпическую лирику, когда два этих классика были еще живы.

В этом смысле место Слуцкого совершенно особое – здесь прямое продолжение и «библейских» поэм Бялика в переводе Жаботинского, и отголосков их у Багрицкого, и просто библейской традиции, которая пришла к Слуцкому через Н. Минского и С. Фруга с его переработкой библеизмов Хомякова, через обновление этой традиции у Мандельштама³, а далее, уже после Слуцкого, традиция эта перешла и к раннему Бродскому. Причем промежуточным звеном здесь был драматургический эпос в стихах Сельвинского (кстати, учителя Слуцкого).

Марат Гринберг говорит о произведениях Слуцкого как о мидрашах и уделяет специальное внимание размышлениям поэта о Боге,

² Марат Гринберг. Лошади Слуцкого: метапоэтическое прочтение библейского поэта. Слово / Word 2009, № 61. (Примечание редакции).

³ Это показала давным-давно Майя Каганская в статье «Мандельштам и Хомяков». (Здесь и далее, где это не оговорено особо, примечания мои – Л. К.)

способам прочтения и цитирования Танаха, а наряду с этим многочисленным стихам об идише и судьбе его носителей.⁴

Борис Слуцкий пророчески формулировал в мае 1941-го:

*Я и сам пишу стихи по-русски –
По-московски, а не по-бобруйски.
Хоть иначе выдумал я их,
В этот раз мы вряд ли уцелем –
Техника не та! И люди злее.
Пусть! От нас останется в веках
Кровушка последних евреев –
В жилах! Или просто на руках.*

Главу об этом стихотворении поэта Гринберг обязывающе назвал «Происхождение» (“Origin”), демонстрируя откровенный контрапункт с Багрицким.

В стихах этих отчетливы отголоски известной фразы о том, что есть кровь, текущая в жилах, а есть – вытекающая из жил. Именно братством по этому признаку определял свое еврейство уже после Второй мировой польский поэт Юлиан Тувим, до Холокоста достаточно далекий от иудейской традиции. Фраза эта стала знаменитой в СССР после использования ее Ильей Эренбургом. Но здесь перед нами стихи, написанные по крайней мере за месяц до нападения Гитлера на Советский Союз... Есть сильный соблазн вспомнить, что именно эту формулировку использовал В. Жаботинский в статье 1906 года о Белостокском погроме. Разумеется, прежде чем утверждать, что ее знал от Жаботинского и Тувим, придется найти ранние польские публикации Жаботинского. Однако для Слуцкого, в харьковской семье которого мальчика учили ивриту, знакомство с сионистской публицистикой не выглядит странным. Кстати, и сам поэт вспоминал:

*Помню, как-то я встретился
С составителем словарей того древнего,
Мною выученного и позабытого
Языка.
Оказалось, я помню два слова: «небеса» и «яблоко».
Я бы вспомнил всё остальное –
Все, что под небесами с яблоками, –
Нужды не было.*

Автор книги о Слуцком сосредоточился на главном мотиве стихотворения – одиночестве поэта в контексте русской поэзии. Мы же обращаем внимание на то, что и «небеса», и «яблоки» – слова из начала книги «Берешит»⁵, или, как сказали бы читатели «Бориса Годунова» – Книги Бытия.

Более того, если будущий военный юрист Слуцкий в 1941 году мог написать в самом начале цитированного уже стихотворения:

⁴ Спустя много лет к этой теме, обозначенной еще в военных стихах Слуцкого, обратился и Александр Городницкий в своей поэме «В поисках идиша».

⁵ В ее «адаптированном» варианте – с яблоком (а не с «плодом») в руках Евы.

*Добрая, святая, белорукая,
О любой безделице скорбя,
Богородица, ходившая по мукам,
Всех простив, ударила тебя.
И Христос послал тебя скитаться,
Спотыкаться меж и град и сёл,
Чтоб еврей мог снова посмеяться,
Если б снова мимо Бог прошёл! –*

то проблема иудео-христианских отношений в аутентичном, а не в вырожденном варианте общекультурно-интеллигентских стихов выступает в данном случае на первый план.⁶

А между двумя уже приведенными отрывками из стихотворения о вывернутом Хождении Богородицы, когда на ее месте ходившим по евангельским мукам оказался реальный народ, находятся строки, вновь возвращающие нас к Жаботинскому: *Смешанные браки и погромы, / Что имеем в перспективах, кроме – / Нация ученых и портных.*

В сущности, здесь помимо пророческих мыслей, заставляющих вспомнить страстный призыв Жаботинского середины 1930-х к «эвакуации» (так!) польских евреев для спасения от неизбежного уничтожения,⁷ который был похож на Иеремиаду, мы видим два главных пункта размышлений сионистского лидера: ассимиляция и погромы.

Столь резких выводов автор книги не делает, пытаясь остаться как в рамках славистики, так и в рамках *Judaica Rossica*.⁸ При этом Марат Гринберг однозначно называет Слуцкого еврейским мыслителем. И, выходя за пределы чисто русского контекста, смело сравнивает эти стихи Слуцкого со стихами великого израильского поэта Ури Цви Гринберга, который размышлял о судьбах своего уничтожаемого народа, тоже создавая образные картины иудейско-христианского убийственного и самоубийственного контакта.

Имя Жаботинского по большей части возникает в книге Марата Гринберга в связи со сравнением образов и поэтических тропов Слуцкого с переводами Жаботинского из Бялика, хотя трудно сказать, сколько читателей Слуцкого 1960–1980-х годов могли уловить это сходство.

На этом фоне наше внимание привлекает и разобранное в книге Марата Гринберга стихотворение Слуцкого «Слепцы»:

⁶ Эти строки явно включают Слуцкого в ту линию развития русско-еврейской предвоенной поэзии, к которой относятся достаточно известные стихи Елизаветы Полонской «Нет, я не с ним, не с этим желтоусым, Подкидышем, распятым на кресте...» и напечатанные в самое последнее время стихи погибшего в блокаду Алика Ривина «Ав».

⁷ За этот призыв немало поиздевались над Жаботинским те, кто довел его до могилы в 1940-м.

⁸ Не так давно нам пришлось специально описывать эти взаимно перекрывающиеся области исследования в специальной работе (Кацис Л., Толстая. Е. *Rossica-Judaica – Judaica Rossica*. Белград, 2011) по итогам международной конференции в Иерусалиме.

*А я сбивался, ушибался
И так порою ошибался,
Что до сих пор звенит в ушах.
Слепорождённным и ослепшим,
Невидящим, конечно, легче,
Конечно, проще им, чем нам,
Отягощенным с детства зреньем,
Презреньем, иногда прозреньем.
Да мы глядим по сторонам.*

Гринберг отмечает, что «Слепцы» никогда не становились предметом критической рефлексии. Автор монографии, ссылаясь на Михаила Вайскопфа, писавшего на ту же тему по другому поводу, отмечает, что образ «слепой синагоги» противопоставляется в европейской христианской традиции «зрячей церкви». Таким образом, данное стихотворение включается в стратегическую задачу Гринберга: увидеть даже в «общечеловеческих» стихах национальную основу. И ощущение здесь автора не подвело. Однако ответ надо искать не в иллюстрации к этому стихотворению, приведенному в книге, – в картине Абеля Гриммера «Аллегория слепых, предводительствуемых слепыми» – и не в общих рассуждениях.

Если уж мы коснулись творчества Владимира Жаботинского, то стоит вспомнить и его концептуальный текст «Вместо апологии» (1911), где он, «классифицируя» евреев, выделяет и «слепорожденных».

Отметим и еще одну деталь: Гринберг при анализе данного стихотворения ссылается на Н. Я. Мандельштам. Однако и она в своей «Второй книге», называя себя сознательно слепой, четко противопоставляла свою позицию политическому реализму Жаботинского.⁹

Эти стихи ведут нас к самому глубинному «несоветскому» Слуцкому, чьи стихи печатались в антологии «На одной волне», вышедшей в теперь уже почившем израильском издательстве «Библиотека-Алия».

Но еще до начала войны поэт написал «Эмигрантский рассказ» – о стерилизации девочек «низшей расы» в гитлеровской Германии:

*По вечерам (хоть их никто не просит!)
В берлинских подворотнях – там и тут
Они бросают глупые вопросы –
Зачем бьют?*

*Как быть с евреем – это не вопрос.
Как бить еврея – это да, вопрос.
Есть мнения, что метод избиения,
Хоть прогрессивен, но излишне прост.*

⁹ Позволю себе ссылку на свою работу, где это рассматривается специально: Л. Кацис. Еврейские литературные источники «Второй книги» Н. Я. Мандельштам. От библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры. М., 2009. С. 298–318.

*Они травой подножною растут!
Не укрощать, а прекращать сей люд!*

*Четырёхлетним молодым еврейкам
Ланцетом выковыривают блуд.*

*У девочек обыкновенный взгляд.
(Котята под трамваем так глядят.)
Но девочки не нянчат больше кукол,
А это липко видеть, говорят.*

*Я думаю, не выйдет ничего.
Пусть весь народ, хоть в прорубь головой –
Из синтеза простейших элементов
Воспрянет вновь Еврей как таковой.*

*Вам, сумеркам, не затемнить зари!
ЗДЕСЬ НАЧАЛОСЬ! В усталости и злобе
Еврейский Бог Адама сотворил
По своему картавому подобию!*

*Он был устал, и человек стал чахл,
И хилость плеч пошла по поколениям,
Но звёзды заплутались в очах,
Сырые звёзды первых дней творенья!*

*А вы широкоплечи и крепки,
Мозгам противящиеся кулаки –
ВЫ просто отклоненье от Еврея.
Вот кто вы такие.*

*Я никого обидеть не хочу.
Я просто так, по глупости кричу.
Конечно, криком не поможешь делу.
Но очень душно, если промолчу.*

Невозможно не привести стихотворение Слуцкого «Родственники Христа», которое подытоживает, на мой взгляд, ту линию т. н. «еврейского Христа», которая известна хотя бы из картин Шагала о трагедии гражданской войны.

Недаром предшественники гитлеровцев так мечтали об «арийском Христе»...

*Что же они сделали
С родственниками Христа?
Что же они сделали?
В письменных источниках не найдешь ни черта,
Прочерки, пустота.
Что же они сделали...*

*Что же они сделали
с жителями простыми,
Мелкими ремесленниками и тружениками земли?*

*Может быть, всех собрали в близлежащей пустыне,
Поставили пулеметы и сразу всех посекали?*

*Так или иначе, век или два спустя
Никто не взимал убытки, никто не взывал о мести.
Полная реабилитация Иисуса Христа
Не вызвала реабилитации его семейства.*

*И вот цветы прорастают из родственников Христа.
И вот глубина под ними, над ними – высота.
А в мировой истории не занимают места
Родственники Христа.*

А вот эти стихи Бориса Слуцкого перепечатывались за последние годы неоднократно:

*Еврейским хилым детям,
Учёным и очкастым,
Отличным шахматистам,
Посредственным гимнастам,
Советую заняться
Коньками, греблей, боксом,
На ледники подняться,
По травам бегать босым.
Почаще лезьте в драки,
Читайте книг немного,
Зимуйте, словно раки,
Идите с веком в ногу,
Не лезьте из шеренги
и не сбивайте вех.*

*Ведь он ещё не кончился,
Двадцатый страшный век.*

Пожалуй, самые жесткие еврейские стихи Слуцкого были напечатаны в недолговечном израильском журнале «Акцент» (1993) подружкой юности Слуцкого, театроведом Викторией Левитиной. Она же в 2010 году в «Дружбе народов» опубликовала очередную порцию раннего Слуцкого. Гринберг напрямую сопрягает «советский новояз» с сионистской концепцией «маскулинного, сильного еврея», связанной с именем Макса Нордау, и одновременно включает поэзию Слуцкого в идишский контекст, сравнивая ее с поэзией Якоба Глатштейна, с его стихотворением «Без евреев нет еврейского Бога».

Марат Гринберг даже считает, что эти два поэта – эхо друг друга. Наконец, соотнося поэтику Слуцкого с мидрашем, исследователь обнаруживает близость поэтики Слуцкого и Мандельштама.¹⁰

¹⁰ Поэтику эту соотносят именно с традицией прочтения сакральных текстов и не чуждый еврейской тематики теоретик Гарольд Блум, и специалист по иудаике философ-древник Даниэль Боярин, и исследовательница Мандельштама, славистка Нэнси Поллок.

Гринберг сравнил эти стихи не только со стихами Ильи Сельвинского, но и с т. н. литературой Холокоста, со стихами одного из ярчайших ее представителей, идишского поэта Аврома Суцкевера, а самый широкий контекст задан в книге о Слуцком работой Дэвида Роскиса «Против апокалипсиса», которая посвящена проблеме сохранения национального слова в период Катастрофы.¹¹ Странно, но факт: в англоязычной литературе переводы стихов Слуцкого наряду с переводами американских поэтов, пишущих на идише, и переводами с немецкого Пауля Целана, почитателя Мандельштама, действительно находят свое место в «еврейском тексте русской поэзии»¹². А текст этот включает в себя Сельвинского¹³, Мандельштама, Слуцкого, Бродского...

Характерно, что поэта, жалевшего, что его называли именем Борис, Иосиф Бродский называл именно «настоящим» именем – Борух. Поэтому неудивительно, что и стихи Бродского о еврейском кладбище под Ленинградом восходят напрямую к стихам Слуцкого о еврейских кладбищах на Украине.¹⁴ Заметим, что Шимон Маркиш в статье о раннем Бродском говорил, что «это еще не Бродский, а просто Слуцкий».

Ещё о кладбищах. В книгу о поэте, которого надлежит читать «справа налево», включено фото его могильного камня с указанием, что буквы, которыми написано имя, стилизованы под еврейские. Однако нет упоминания о том, что похоронен поэт на московском Пятницком кладбище у Рижского вокзала, рядом с кладбищенской церковью, в одной могиле со своей русской женой. В другом случае об этом можно было бы не говорить, но о поэте, который написал:

*Я не могу доверять переводу
Своих стихов жестокою свободой
И потому пойду в огонь и воду,
Но стану ведом русскому народу.
Я инородец; я не иноверец,
Не старожил? Ну что же – новосёл.
Я, как из веры переходят в ересь,
Отчаянно в Россию перешёл.
Я правду вместе с кривдою приемлю –
Да как их разделить и расщепить.
Солёной струйкой зарываюсь в землю,
Чтоб стать землёй
И всё же – солью быть, –*

сказать это было действительно необходимо.

¹¹ Конспективный вариант этой концепции есть и в заключительной части книги Д. Роскиса «Мост желаний», вышедшей в 2010 году в Москве.

¹² Этот термин М. Гринберг употребляет в своей диссертации, предшествовавшей рецензируемой книге.

¹³ В книге М. Гринберга не упомянута, к сожалению, пьеса в стихах Сельвинского «Версия о втором Лжедмитрии», еврее и каббалисте («Зеркало», № 15/16, 2000); именно она напрямую восходит к драме в стихах «Осада Тульчина» русско-еврейского поэта конца XIX века Николая Минского.

¹⁴ В книге есть целая глава о кладбищах в поэзии Слуцкого, в частности, в стихотворении «Шестиконечная звезда с пятиконечной поспорили на кладбище еврейском...». (Примечание редакции).

«О каком переводе идёт речь? – спрашивал шесть лет назад Марат Гринберг в своей статье “Сорвавшийся в ересь: о трагедии Бориса Слуцкого”¹⁵, многие идеи которой, естественно, вошли и в английскую книгу. – Слуцкий – еврей, ... не просто не отрехавшийся от своего народа, но глядящий на мир сквозь призму своего еврейства. С другой стороны, Слуцкий – поэт, не только творящий в рамках русской традиции, но и подчиняющий себя русскому языку, а вместе с ним и русскому быту и бытию. Таков путь становления русского Поэта с большой буквы. Перевод же подразумевает не служение русскому языку, не слияние с ним, а перенесение своего внутреннего еврейского мира на русскую почву, используемую лишь как материал, оказавшийся под рукой, а не как органическое тело или даже божество. (Вспомним Осипа Мандельштама; в стихотворении «Я по лесенке приставной...» он прямо сказал, что стихи необходимо оборачивать в «эолийских созвучий звон». Далее в этой статье Марат Гринберг цитирует высказывание американского поэта Чарльза Резникова: «Мои стихи на английском – лишь жалкое подражание тому, что я мог бы написать на иврите, который знал бы, если бы родился на несколько поколений раньше». Интересно, что в русской поэзии такого рода проблемы были у дальнего родственника О. Мандельштама – Лейбы Йегуды Мандельштама, который говорил, что пишет на иврите, переводит на немецкий, а печатает стихи по-русски. Он же, кстати, выпустил и том стихов на немецком. – Л. К.) ...Кем поэт стал в результате крещения? Подданным русской поэзии советского вероисповедания. Гражданином русского культурного и народного пространства советского вероисповедания. Но здесь нельзя поставить точку. Ибо переход Слуцкого, искренний, рьяный и дерзкий, был переходом, имевшим прецедент в истории. Речь идёт о марранах, тех евреях, которые, перейдя в католичество в средневековой Испании – кто насильно, а кто добровольно, – продолжали втайне исповедовать авраамову веру и следовать моисееву закону. Таков был путь Слуцкого, перенесённый в рамки стихотворчества. Перейдя в Россию, он продолжал создавать еврейскую поэзию: не для печати, конечно, но и не для самиздата, а для себя, удовлетворяя свою творческую жажду и спрягая свой еврейский голос по-русски. ... Советскость сошла в его мировоззрении в конце концов на нет. Но в результате её крушения стихотворный ряд Слуцкого не рухнул. В силу вошёл кризис, но стихи продолжались, ибо оставалась основа: подданство поэзии и гражданственность в русском пространстве. Всё рухнуло, когда и подданство, и гражданственность¹⁶ оказались химерой, а еврейство, исповедуемое втайне, стало явью:

¹⁵ Слово /Word. 2006, № 50. Просим прощения за столь длинную цитату из статьи. (Примечание редакции).

¹⁶ Ни автор рецензируемой книги, ни автор статьи не решились нарушить рамки литкорректности и вспомнить, что родной брат отца поэта – Хаим Наумович Слуцкий в 1920 году репатриировался в Израиль. Двоюродный брат поэта – Меир Амит (1921–2009) стал видным израильским военным и государственным деятелем – комбриг, начальник военной разведки, директор «Моссада», министр... Возможно, к поэзии Бориса Слуцкого это не имело никакого отношения. А может быть, все-таки тоже повлияло?.. (Примечание редакции).

УРИЭЛЬ АКОСТА

Созреваю или старею –
 Прозреваю в себе еврея.
 Я-то думал, что я пробился.
 Я-то думал, что я прорвался.
 Не пробился я, а разбился,
 Не прорвался я, а сорвался.
 Я читаюсь не слева направо,
 По-еврейски: справа налево.
 Я мечтал про большую славу,
 А дождался большого гнева.
 Я, шагнувший ногою одною
 То ли в подданство,
 То ли в гражданство,
 Возвращаюсь в безродье родное,
 Возвращаюсь из точки в пространство.

Позже Слуцкий писал: *Музыка далёких сфер, / Противоречивые профессии... / Членом партии, гражданином СССР, / Подданным поэзии / был я...* Именно в это подданство Слуцкий и шагнул одной ногой, оставив другую в еврействе. Так он стал марраном. (Позиция т. н. неомарранизма, которая прослеживается у европейских евреев со времен Генриха Гейне. Поэты, которых без формального акта никто не хотел обеспечить «входным билетом в европейскую культуру», крестились именно в протестантизм, чтобы в «последние времена» встретить Машиаха не идолопоклонниками, почитающими иконы и статуи. Отсюда их постоянное ощущение себя евреями. Ересь же Слуцкого – культурная, а никакая другая, традиционный мессианизм для его поколения заменялся не христианским, а коммунистическим лжемессианством. Да и читатель в своей основе был того же типа. – Л. К.) Вернувшись в еврейство, одинокое в историческом времени и Бытии, он предпринял исследование пространства, в котором ему предстояло найти не только точку опоры, но и корни, и тексты, и отзвуки иврита и идиша. Этому посвящены многие стихи Слуцкого, особенно 70-х годов. В них он заводит полемику с христианством и перечёркивает всю правоту ассимиляции. Трагедия состояла в том, что Слуцкий не мыслил себя вне русского языка:

В моей профессии – поэзии –
 Измена родине немыслима.
 Язык не поезд. Как ни пробуй,
 С него не прыгнешь на ходу.
 Родившийся под знаком Пушкина
 В иную не поверит истину,
 Со всеми дохлебает хлёбово,
 Разделит радость и беду.
 И я не только достижениями
 И восхищен, и поражён,
 Склонениями и спряжениями
 Склонен, а также сопряжён.

*И я не только рубежами,
Их расширением прельщён,
Но суффиксами, падежами
И префиксами восхищён.
Отечественная история
и широка, и глубока
Как приращением территории,
Так и прельщением языка.*

Именно из-за этого благоговейного отношения к русскому языку он, осознав себя еврейским художником, кончился как поэт вообще. Да, два потока – русский и еврейский – вливались в одну реку его поэтики, но питались они из разных источников (текстуальных, исторических, культурных и религиозных), полностью разветвляясь с годами».

Марат Гринберг представляет стихи *Я не могу доверит перево-ду* в свете поэтического мышления Мандельштама. Мне кажется, что в этом стихотворении есть и продолжение нелегкого диалога с Ахматовой, чью королевскую позу Слуцкий отвергал: *Республиканец с молодых зубов, / Не принимал я это королевствование / ...В её каморке оседала лесть, / Как пепел после долго пожара. / С каким значеньем руку мне пожала. / И я уразумел: тесть любит лесть.* А вот стихи Ахматовой о родной земле: *Но уходим в неё и становимся ею, / Потому и зовём так свободно своею,* – он трансформировал едва ли не в цитату из «Бурной жизни Лазики Ройтшванеца» Эренбурга. (Этот герой говорил, что соль не должна собираться в солонке, а должна растворяться в бульоне.¹⁷)

В стихах Слуцкого можно разглядеть и полемику с провозглашавшим себя христианином Пастернаком, впадшим «к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

А теперь обратимся к одной из самых болезненных тем в жизни Слуцкого, к его выступлению против Б. Пастернака на собрании Московской писательской организации. Слуцкий, выступивший мягче всех, был впоследствии подвергнут воинствующими шестидесятниками остракизму больше, чем кто-либо другой. Слуцкий, по мнению многих писавших о нём, опасался, что Пастернак своим поступком ставит под удар «оттепель». До недавнего времени было принято считать это выступление главной ошибкой Слуцкого, которая привела его и к психической болезни после кончины жены и к смерти.

Насколько специфически еврейский аспект¹⁸ «Доктора Живаго» мог повлиять на решение Слуцкого выступить с критикой «поиска Пастернаком популярности за рубежом», нам уже не узнать. Хотя представление о взрывной реакции национально мыслящих соплеменников на размышления Пастернака о необходимости ассимиляции еврейского народа (уже после Холокоста!) позволяет предположить, что у поступка Слуцкого, такого, каким мы его знаем после книги Гринберга, реак-

¹⁷ Эту реминисценцию в несурзной выходке Дмитрия Быкова на Иерусалимской книжной ярмарке возмущенные израильтяне, скорее всего, не увидели.

¹⁸ Письма Пастернака к брату Александру, в которых Борис Леонидович открыто называл себя антисемитом, Слуцкий, естественно, читать не мог.

ция могла быть тоже не академической. Это лишний раз подтверждает невероятная типологическая близость Слуцкого к еврейским поэтам его поколения, которых он, скорее всего, не знал. Или если знал, то как редактор сборника переводов израильской поэзии на русский язык.

Еще одна важная заслуга Гринберга – восстановление в исторических правах русского литературного конструктивизма в контексте развития поэзии «оттепели». Ведь против Пастернака выступил и Сельвинский. Тектонический взрыв 1958 года привел к тому, что последний оказался вычеркнут из истории новой русской поэзии, а это уже и вовсе несправедливо. Обращение автора монографии о Слуцком не только к стихам Бродского или Сельвинского, но и к стихам поэта-лианозовца, харьковчанина Яна Сатуновского – «птенца гнезда Сельвинского», тоже замолчанного, но не молчавшего, занимающего, наконец, свое законное место в русской поэзии, позволило включить многочисленные грустные стихи Слуцкого о своем мэтре в целый «Сельвинский пласт» русской поэзии XX века.

Говоря о книге Гринберга, нельзя обойти многолетнюю дискуссию Слуцкого с его другом-соперником и во многом антиподом Давидом Самойловым, который называл себя «поэтом поздней пушкинской плеяды» и не только был в своих стихах далек от «национального вопроса», но к концу жизни, в год столетия Пастернака, даже согласился (в письме к Л. Чуковской) в этом вопросе с Солженицыным. Однако и Самойлов сразу после войны написал вполне «еврейскую» поэму, правда, хватило этого порыва ненадолго, да и напечатана она была лишь после его смерти. Еще один случай «молчания».

Стихи Слуцкого о пушкинской плеяде выглядят очевидным контрапунктом позиции Самойлова: *Я развешиваю портреты / Пушкина и его плеяды. / О, какими огнями согреты / Их усмешек тонкие яды, / До чего их очки блистают, / Как сверкают их манишки / В те часы, когда листают / Эти классики наши книжки.*

Здесь не такая простая игра в инверсии. Ведь это Слуцкий писал:

*Интеллигентнее всех в стране
девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
и не забыты ещё вполне.
Все измерения для них ясны:
знают, какой глубины и длины
горы страны, озёра страны,
реки страны, города страны.
В справочники не приучились лезть,
любят новинки стиха и прозы
и обсуждают Любовь, Честь,
Совесть, Долг и другие вопросы.*

Именно в этом – отличном от самойловского – контексте гордого и трагичного «пушкинизма» Слуцкого и следует читать отрывок из стихотворения «Незаконченные размышления», где возникает связь имени поэта с пушкинским Борисом.

Горестное ощущение любимой родины не только матерью, но и мачехой принципиально не самойловское:

*...Еврейские старцы в подвал собрались,
Чтоб там над лежанкой глиняной
Случайно*

меня

наректы

«Борис»

*Татарского мстителя именем.
И так я родился. Я рос и подрос,
А завтра из смрада вагона
Я выйду на волю и стану в рост:
Приму по реке оборону.
Тоскуют солдаты о смерти своей,
А лошади требуют корму.
Убьют меня – скажут –*

чудак

был еврей!

*А струшу – скажут – норма!
Я снова услышу погромный вой
О том, кем Россия продана.
О мать моя мачеха! Я сын твой родной!
Мне негде без Родины, Родина!*

Дата же написания стихов очень значима: октябрь – ноябрь 1941, когда результат битвы под Москвой еще не был очевиден.

Пожалуй, тут и комментария не надо. А вот к последним стихам Слуцкого, которые мы приведем – *Я землю на оси не повернул, / Но кое-что я всё-таки вернул, / Когда ссужал, не требуя возврата, / И воевал, не требуя награды, / И тихо деньги бедному совал, / И против иногда голосовал...* – комментарий потребует.

Это едва ли не квинтэссенция всей жизни Слуцкого. Здесь и Сталин Осипа Мандельштама, который *сдвинул мира ось*; и отзвук мандельштамовской мысли «я кое-что изменил в строе и составе русской поэтической речи» (заставив казавшуюся современникам еврейской речь звучать по-русски так, что сегодня эта речь и есть русская); и отголоски «сталинских» стихов Пастернака, обращенных к Мандельштаму: *твое творение не орден / награды назначает власть*; и даже рефлексия на ставшее судьбоносным и трагическим выступление на пастернаковском судилище (*И против иногда голосовал*).

Пришлось Слуцкому оказаться среди тех, о ком пел Галич: *Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку...*

Но помнят-то не всех, а Слуцкого. «Все» – это уже просто социология, а не поэзия и не судьба.

Слуцкий же, как мы знаем, и выступал открыто против, и глаза никуда не прятал, и заплатил за это жизнью, и на Пушкина смотрел своими семитскими глазами, что не мешало ему, харьковскому Уриэлю Акосте – отступнику, никуда в конце концов не отступившему, заслужить сегодня работу о себе, которая вызывает столько размышлений, что они составят еще не одну книгу о тех русских евреях XX века, которые не были «евреями молчания».

Роза Ауслендер
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЖЕЛАНИЕ

Когда подумаю,
как много слов
теряем мы,

когда замечу:
их остаётся
уже так мало,
тех слов, что дышат
со мною вместе,

когда я вспомню,
что есть слова –
«мы»,
«уже»,
«вместе»,

я разделить их
хочу с тобою.

ОТЕЦ НАШ

Отец наш, отец Всевышний
забери своё имя,
мы не решаемся
быть детьми.

Как голосом этим удушья
отцом тебя называть?

Сегодня звезда из лимона
гвоздями ко лбу прибита.
Безумно смеётся луна,
спутница наших мечтаний.
И клоун мёртвый смеётся,
что сальто нам обещал.

Мы возвращаем, Всевышний,
сегодня тебе
твое имя.

Играй и дальше отца,
играй отца без детей
в небе, где воздуха нет.

МОЙ СОЛОВЕЙ

Моя мама
была когда-то косулей.
Золотисто-карие её глаза
и грация –
они из времён косули.

Потом моя мама была
человеком, но ангелом – тоже.

Когда я спрашивала,
кем хотела бы она стать,
отвечала мне: соловьём.

Теперь она соловей.
каждую ночь
я слышу её
в саду моих грёз бессонных.

Поёт она Сион предков,
старую Австро-Венгрию,
холмы и леса Буковины.
И колыбельные песни
поёт мне каждую ночь
мой соловей
в саду моих грёз бессонных.

СУББОТА

В зеркало глядя пруда,
расчёсывается солнце.

Я с удочкой. Свой улов
бросаю обратно в воду.

Только зеркального карпа
в садок положу:
для субботы.

И ждать стану:
может, неделю, год
или же много лет.

Мой карп лежит.
И молитвы,
качаясь, читает рабби.

– Рабби, когда суббота?
– Всегда суббота на небе, –
рабби мне отвечает.

– Рабби, а здесь когда?
– Шалом, – бормочет мой рабби,
при этом ещё добавляя
пару слов на иврите.
Жаль, что не понимаю.

ЧЕРНОВИЦЫ¹

Город холмов, хранимый
буковыми лесами.
Луга протянулись вдоль Прута.
Купальщики и плоты.
Буйство майской сирени.
Майских жуков паденье.
И языки – все четыре –
что этот обжили воздух,
так мирно вместе живут.
Пока не упали бомбы,
счастьем дышит мой город.

ИЕРУСАЛИМ

Когда я вывешиваю на Восток
бело-голубую шаль,
плывёт ко мне
Иерусалим
с Храмом
и с Песней песен.
Мне сегодня
пять тысяч лет.
Моя шаль – качели.
Когда, повернувшись к Востоку,
закрываю глаза,
в них качается
Иерусалим
на своих холмах.
Пять тысяч лет ему,
ко мне он плывёт
в апельсиновом аромате.
Ровесники,
мы играем
в воздухе вместе.

¹ Название *Черновицы* город носил во времена Австро-Венгрии; румыны называли его *Черноуты*; в советское время был «переименован» в *Черновцы*.

В ВОЙНУ

Ослепший город с дебрями улиц.
Сумерки ткут свои сети.

Дети.
Страх в их глазах беззвёздных.
Калеки. Еще калеки...
Как после дождя грибы.
В гетто, во мху кровавом,
сквозь окон кресты – скелеты.
Солдатские шапки
на головах умерших.

Ужас бродит, как нищий,
от двери к двери,
наши сердца собирает
в свою бездонную кружку.

ВСПОМИНАЯ Д. ГОЛЬДФЕЛЬДА

С кашляющим поэтом
делим мы горе в гетто.
Мать моя чахнет.
Близкие стали чужими.
Мы в нищете прозябаем.
По дороге к больному
снежный ангел
проплыл надо мною.
И я улыбаюсь собрату:
«Скоро вам станет лучше,
верьте, пожалуйста, мне».
Он верит мне.
И умирает.

ГРОМКОЕ МОЛЧАНИЕ

Некоторые спаслись.
Из ночи выползли руки,
кирпично-красные от крови
замученных.
Шумною была пьеса
с пёстрой картиной пожара,
с музыкаю огня.

Потом смерть молчала.
Молчала.

Кричащим было молчанье.
Лишь улыбались звёзды
сквозь ветви.

Спасённые ждали в гавани.
Там на воде качались
умные корабли,
похожие на колыбели
без матерей и детей.

ПОТОМ

Потом,
когда новый пошёл
счёт времён,
растаяли льдинки-слова,
легче стало дышать,

старый этот язык
юным вернулся к нам,

израненный наш,
пришедший в себя
немецкий.

ПРОШЛО?

Прошло?
Никогда не пройдёт!
Бессмертные мы могикане,
древний новый народ.

Земля, и песок, и небо.
Небо и солнца пламя.

На свете есть абрикосы,
играют на флейтах флейтисты.

Приди же, давай обнимем
землю эту и небо.

Перевела с немецкого Нинель Левандовская

Роза Ауслендер

*ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДНОМ ГОРОДЕ **

Восточно-европейский город, не очень большой, но и не маленький: Черновицы, столица Буковины, принадлежавшей Австро-Венгерской империи. От северо-восточных Карпат Буковина протянулась через лесистые горы и холмы к подольским степям на севере и бессарабским на востоке. С 1514 года на четверть тысячелетия Буковина попадает под владычество турок, а с 1775-го входит в состав Габсбургской монархии, в которой получила статус отдельной королевской провинции. Накануне Второй мировой войны 160–170 тысяч населения Черновиц составляли немцы, украинцы, евреи, румыны, а также «нацменьшинства» — поляки и венгры. Пёстрый и многослойный город, в котором германская, романская, славянская и еврейская культуры проникают друг в друга. Город, отошедший после Первой мировой войны к Румынии — вплоть до советской аннексии, по сути, оставался австро-венгерским.

Буковинский немецкий обогащался новыми словами и выражениями, имел собственный колорит. Разветвлённые корни культур переплетались и придавали словам силу и сочность. Более трети жителей составляли евреи, библейские и хасидские легенды носились в воздухе, ими можно было дышать. Из этой причудливой языковой среды, в этой мифически-мистической атмосфере вырастали поэты и писатели: Пауль Целан, Альфред Маргуль-Шпербер, Иммануил Вайсглас, Альфред Китнер, Георг Дроздовский, Давид Гольдфельд, Альфред Гонг, Моисей Розенкранц, Грегор фон Реццори, выдающийся лирик Ицик Мангер...

Черновицы поднимаются метров на 150–200 от долины реки Прут до большого, как лес, Народного сада. Парки на холмах и бесчисленные сады возле частных домов. А вокруг — буковые леса с их дроздами и соловьями... С 1875 года университетский город, но также индустриальный и торговый центр, Черновицы были центром притяжения не только Буковины, но и Бессарабии и северной части Молдовы. Здесь читали не только газеты и развлекательные журналы, но и настоящую литературу. С воодушевлением дискутировали, музицировали, пели. Часто ходили в театр, а билеты на спектакли гастролёров раскупались полностью. Главным для многих интеллектуалов были не честолюбивые мечты о карьере или высоком уровне жизни, их интересовали наука, философия, мистика, искусство, поэзия, музыка. Часть интеллектуальной молодёжи была политически ангажирована. Эти молодые люди приносили себя в жертву, их бросали в тюрьмы, над ними издевалась полиция, они переносили пытки, не желая выдавать своих товарищей. Другая часть молодёжи в основном обсуждала и спорила. Стоило встретиться друзьям, начинались пылкие дискуссии о философии, искусстве и литературе, разговоры эти могли длиться до утра. Времени на это всегда хватало, учёба или работа рассматривались как нечто необходимое, но побочное.

* Печатается в сокращении.

В предвоенное время у интеллектуалов возник особый стиль жизни: отчуждённость от мира, пренебрежение к неприятной реальности в пользу идей и идеалов. Скульпторы, художники, музыканты, поэты, если у них не было никакой другой специальности, жили за счет восхищенных друзей и сограждан, которые покупали их произведения, ходили на их концерты и выступления. Поддержка художников и поэтов воспринималась как долг. Ценилось не только то, что делалось известным, пройдя через большие тиражи; дань уважения отдавалась творцам и их произведениям ещё до публикаций. Когда умер замечательный еврейский баснописец Элизер Штейнбарг, чьи басни были напечатаны только после его смерти и далеко не все переведены на немецкий (Пауль Целан говорил мне, что не посмел взяться за Штейнбарга как переводчик), печаль была безграничной. Тысячи людей сомкнутыми рядами шли на далеко отстоящее кладбище. Не вдова убивалась на могиле, а друзья Штейнбарга, известные еврейские писатели, пожилые люди не могли остановить рыдания, произнося траурные слова прощания.

Черновицы были городом почитателей и приверженцев. Речь, как писал Шопенгауэр, «не о размышлении об интересах, а об интересе к размышлениям». Религиозные евреи были хасидами, приверженцами того или иного «святого» ребе. Для них не были важны заботы практической жизни. У многих не было никакой специальности, они жили на содержании у своих жён, которые гордились «учёными» мужьями, всю жизнь читавшими «святые книги» и с воодушевлением внимавшими мудрым словам своего ребе. Образованные ассимилированные евреи, немцы, украинцы, румыны тоже были приверженцами – философов, учёных, политиков, поэтов, композиторов, мистиков... Большая община почитателей была в Черновицах у Карла Крауса. Его можно было встретить с «Факелом» в руках на улице, в парке, в лесу, на берегу Прута. Один горячий «краусовец», ставший после войны профессором университета в Нью-Йорке, показал мне однажды тетрадь «Факела» со словами: «Посмотрите-ка, разве буква «К» не самая красивая в алфавите?» И это он говорил не в шутку. Многие горожане считали себя сторонниками берлинского философа Константина Бруннера, который только сейчас стал широко известен благодаря переводам на английский и французский. Ни в каком другом городе, включая Берлин, Бруннер не имел стольких верных последователей, сколько в Черновицах. Здесь жили шопенгауэрцы, ницшеанцы, спинозисты, кантианцы, марксисты, фрейдисты. Объединялись вокруг Гёльдерлина, Рильке, Стефана Георге, Тракля, Эльзы Ласкер-Шюлер, Томаса Манна, Гессе, Готфрида Бенна, Бертольда Брехта. Относили себя к течениям классической и современной литературы, особенно иностранной: французской, русской, английской, американской. Каждый был адептом своего кумира. Преклонялись самоотверженно и с огромным воодушевлением. (Воодушевление – слово, которое современная критика отвергает как пафос или сентиментальность...) В этой атмосфере каждый мыслящий человек чувствовал себя вынужденным примкнуть к какому-либо философскому, политическому, литературному или другому кругу.

Канувший в небытие город. Исчезнувший мир.

Перевела с немецкого Нинель Левандовская

Нинель Левандовская

СУДЬБА

«Почему я пишу?» – этот вопрос звучит рефреном в эссе Розы Ауслендер «Мотивом может стать всё» и во многих ее стихах. Перечислим ответы.

Остро ощущавшаяся потребность во всеобъемлющем осмыслении мира и в самоидентификации – потребность эта привела будущую поэтессу, как и Пастернака, к философии: ее Роза выбрала наряду с литературой для изучения в университете.

Атмосфера родного города. Каждый пишущий о Розе Ауслендер неизбежно сбивается на подробное описание города, в котором она родилась – Черновицы. «Бастион Запада на окраине Европы», «маленькая Вена» – вот лишь две из многочисленных подобных характеристик города, жившего напряженной интеллектуальной жизнью.

Далее: одобрение и помощь друзей. Поэтесса выделяет Альфреда Маргуль-Шпербера, старшего друга, стараниями которого в 1939 году вышел первый сборник её стихов, и Пауля Целана – самого младшего, но и самого значительного поэта в её окружении.

Ещё один парадоксальный ответ: пребывание в гетто. «Писание было жизнью. Способом выжить».

И, наконец – просто потребность писать. Чувствуя неубедительность всего этого и в последний раз вопрошая: «Почему я пишу?», поэт признается, что перечисленные ответы – лишь часть правды, правильнее было бы сказать: «не знаю».

Осмелимся предположить, что ответ достаточно прост: потому что родилась поэтом. Как иные рождаются с другими талантами.

Ещё один важный вопрос, поставленный в том же эссе: «Что может стать мотивом?» В этом случае ответ и вовсе тривиален: всё. Стихи Ауслендер автобиографичны и отражают её совсем не ординарный жизненный путь.

В годы Первой мировой войны семья её жила последовательно в Будапеште и в Вене. Роза учится, совершенствуется, вероятно, её венгерский язык. Немецкий был для неё родным: он сохранялся в еврейских семьях, имевших глубокие корни в Австро-Венгрии. Черновицы – в силу своей истории и географического положения – были в годы детства и юности поэта городом четырёх языков. Это немецкий, идиш, румынский и украинский. «Четыре языка, и на всех песни» – это цитата из Ауслендер.

После окончания войны и возвращения семьи в Черновицы довольно скоро умирает отец. Роза вынуждена, едва начав, оставить учёбу в университете. По решению семьи она едет в США. С ней Игнац Ауслендер, вскоре ставший её мужем. (Этот брак продолжался всего несколько лет, как потом и второй. Детей в обоих браках не было.) В Штатах она прожила в общей сложности около тридцати лет, но с большими перерывами. В промежутках – Черновицы, Бухарест.

В Америке жила по преимуществу в Нью-Йорке, но знала не только этот город.

География же её путешествий – это в основном Европа. Два раза, в 1957 и в 1971 годах, поэтесса предприняла длительные поездки по многим европейским странам, в 1964-м провела месяц в Израиле.

Впечатляет и перечень специальностей, освоенных ею в разное время: бухгалтер, служащая банка и адвокатской конторы, преподаватель языков, медсестра, библиотекарь, журналистка. Самый продолжительный отрезок времени она занималась обработкой корреспонденции на иностранных языках для различных фирм в Нью-Йорке и в Бухаресте.

Когда Буковину в 1940 году, в соответствии с планом раздела Европы, подписанным Молотовым и Риббентропом, заняли советские войска, Роза Ауслендер находилась в Черновицах – ухаживала за больной матерью и работала библиотекарем. Вскоре следует её арест: жила в Америке – значит, американская шпионка. Зная, что происходило при советской власти, мы не удивляемся. Скорее удивительно, что через четыре месяца её отпускают. Но этот печальный опыт делает в будущем невозможной её жизнь на родине. Скитания, однако, впереди. А пока – немецко-румынская оккупация и гетто: проживание в чужом подвале, голод, холод, принудительные работы.

С конца 1946 года Ауслендер снова живёт и работает в Нью-Йорке. С 1949 по 1956 год пишет стихи на английском. Проще всего предположить: сознательно отказалась от немецкого языка после гетто. Однако есть собственное свидетельство поэтессы, что и переход к неродному английскому, как и обратный, произошли «сами собой». Поверим, хотя, вероятно, сработала и причина, названная выше.

Стихи пишутся, ну а книги? Они отсутствуют. Немногочисленные публикации появлялись до войны в американской немецкоязычной периодике. После войны нет и того, а стихи рвутся на волю. В 1963 году следует переезд в Вену, а в 1965 году в Вене издан первый после 1939 года сборник стихов Розы Ауслендер. (Отметим, что почти весь тираж сборника 1939 года пропал во время войны, как и дневники, которые Роза вела с семнадцати лет.) С Веной, однако, что-то не сложилось. В том же 1965-м Роза переезжает в Дюссельдорф (кстати, родина Гейне), а с 1972 года еврейский дом престарелых этого города – её последнее прибежище.

Радость по поводу прорыва к читателю омрачалась, правда, состоянием здоровья: многие годы она болела тяжёлой формой артрита. Зато после появления венского сборника издатели находились уже сами.

Время широкой известности, новые сборники стихов, переводы на иностранные языки, членство в ПЕН-клубе, литературные премии... И всё это на фоне пребывания в доме престарелых.

Жизнь Розы Ауслендер в литературе продолжается. Выходят посмертные сборники ее стихов, биографические и литературоведческие работы о поэтессе, новые переводы.

Владимир Франер

ЧЕРНОВИЦКАЯ ВЕСНА

*О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной.*

К. Н. Батюшков

Лев Толстой помнил, как его пеленали. Он так и не смог забыть ощущение беспомощности, которое при этом испытывал. Вообще-то, дети обычно начинают закреплять в памяти окружающий мир годам к четырем. Я же помню себя с трех лет.

Хорошо помню, как мы с бабушкой ехали поездом по бесконечным степным просторам. Тяжелое солнце медленно уходило к горизонту. Крепчал терпкий ветер, пропитанный запахом полыни. Исчезавший уже привычным монотонный ландшафт, и степь стала выглядеть так, словно огненный смерч пронесся здесь, уничтожая все на своем пути. Всюду виднелись разбитые, завалившиеся на бок машины, остовы сожженных танков, развороченные пушки. Меня особенно поразило застрявшее в земле крыло самолета с большой красной звездой.

— Дуга Курская... Ох, народу побило... Мертвый на мертвом, — вздохнула бабушка. — Кто же такое выдержит? Какой народ?

Бабушка просто размышляла вслух. Я ведь не мог понять тогда, что она имеет в виду. Но я уже знал, что такое война. Знал, что на войне убили моего папу.

В переполненной теплушке смрад и полумрак. Мы сидим у раскрытых дверей. Здесь легче дышится.

Вдруг рядом возникает рыхлый человек с неопрятными, тронутыми сединой волосами. Выцветший френч сидит на нем плотно, как кожа на банане. Но больше всего меня поражает его лицо. Один глаз косит и смотрит в сторону. Второй неподвижно глядит прямо перед собой, не мигая. Он стоит так близко от меня, что я чувствую запах перегара.

— Сучара жидовская, — кричит он кому-то в углу, захлебываясь словами. — Отсиделся, гад, в Ташкенте... Братан Васька... Мы с ним в окопе одном... Котелок с кашей на двоих... Тут как рванет... Башку Васеньке напрочь снесло... Лежит головка брательника с ложкой в зубах. А ети жидяры...

Мужчина, сидевший в углу, встал, оказавшись неожиданно высокого роста, шагнул вперед — и я услышал короткий сухой звук. Человек во френче упал.

— Бей жида! — раздался чей-то вопль, и началась свалка.

Я испугался и заплакал. Бабушка взяла меня на руки. Что было дальше — стерлось из моей памяти. Осталось только ощущение, что произошло что-то нехорошее и злое.

* Первая часть триптиха «Калейдоскоп памяти». Журнальный вариант.

Моя бабушка умерла в Израиле в 1968 году и похоронена на холонском кладбище. Тогда я и узнал финал этой истории. После похорон ко мне подошел седой человек с печальными глазами.

– Вы, конечно, Володя? – спросил он. И, не дожидаясь ответа, представился: – Семен Аронович Вайнер. Это ведь вы ехали с бабушкой в поезде из Актюбинска на Украину в 1945 году?

– Ну да. Только я был еще совсем маленьким.

– Вы, конечно, не можете этого помнить, – продолжал он, – но ваша бабушка Мария Иосифовна спасла мне жизнь.

– Кое-что помню, – сказал я. – Помню, как вы ударили кого-то. А вот что было дальше – начисто забыл.

– Они кинулись меня избивать, хотели вышвырнуть из вагона. И тогда ваша бабушка покрыла их таким матом, что они обалдели.

– Она долго жила в Одессе, – сказал я.

– Тогда понятно, – усмехнулся Семен Аронович. – Но спасло меня не ее знание ненормативной лексики. И даже не то, что она держала вас на руках. Их поразило несоответствие. Круглое лицо пожилой русской женщины. Голубые глаза. Светлые волосы. И вдруг – такой лексикон. Они бы никогда не поверили, что она – еврейка. «Ну, бабка, ты даешь», – сказал кто-то, и все облегченно засмеялись. Им расхотелось убивать. Смех и убийство – вещи несовместимые.

Семен Аронович попрощался и ушел прямой и спокойный.

* * *

Из эвакуации мы с бабушкой возвращались не в Самару, где жили до войны, а в Черновцы – исторический центр Буковины. Там мать и отчим получили работу. Мой отец – военный врач – был убит в конце сорок первого. Фугасная бомба угодила в полевой госпиталь. Погибли все – и раненные, и медицинский персонал.

Бабушка рассказывала, что у отца была горячая кровь и доброе сердце. Он обожал женщин, что приводило мою мать в отчаяние. Отец ее любил и искренне раскаивался в прегрешениях, но при каждом удобном случае повторял их снова без малейшего зазрения совести. Вместе с тем был он великодушен, правдив и предан своим друзьям. Эмоциональная горячность сочеталась в нем с полным равнодушием к материальным благам.

Моя мать – тоже врач – была эвакуирована в казахский город Актюбинск вместе с больницей, в которой работала. Там она в самом конце войны познакомилась с польским евреем и вышла за него замуж.

Мой отчим – выпускник Варшавского университета, магистр философии и права – отлично разбирался не только в философии, но и в политике. Гитлера считал исчадием ада, а Сталина – величайшим злодеем в истории. Убегая от нацистов, он оказался в сталинской империи. Поскольку хрен редьки не слаще, то по его разумению, чтобы уцелеть, нужно было превратиться в хамелеона, что он и сделал. Женившись в Актюбинске на моей матери, он сразу после войны потихоньку перебрался в Черновцы, где устроился на керамический завод начальником планового отдела – типично еврейская должность в те времена.

В 1946 году, когда бывшие польские граждане косяком репатриировались в Польшу, отчим не осмелился подать документы в ОВИР, опасаясь, что это будет расценено как нелояльность в отношении режима. Лишь в 1962 году наша семья получила разрешение на выезд в Варшаву по личной просьбе президента польской академии наук Тадеуша Катарбинского, не забывшего моего отчима – одного из лучших своих студентов.

Отчим – человек холодный и замкнутый – отличался безупречной вежливостью и галантностью – качествами, которые обеспечили поработенной Польше сочувствие всего мира. Мы не были близки, но я всегда помнил, что когда однажды попал в беду, то он протянул мне руку помощи легко и естественно.

В детстве он иногда рассказывал мне похожие на притчи короткие истории. Вот одна из них: «В зеркальный зал забежала злая собака и увидела сотни ощерившихся злых собак. Потом забежала добрая собака и поняла, что мир населяют добрые собаки. Отсюда мораль: ты такой, каким ты видишь мир».

Никаких разговоров о политике он не вел, но его замечания поражали остротой ума и свидетельствовали о привычке к логическому мышлению.

От него, например, я узнал, что оружие, карающее зло, не всегда является благом.

Как-то раз, увидев, что я читаю книгу по астрономии, он сказал:

– Не забивай свои мозги ерундой. Вселенная бесконечна, а что не имеет конца, не имеет и смысла. Так зачем тратить время на бессмысленные вещи?

А однажды я услышал от него, что развитие цивилизации опережает развитие культуры и ведет народы к одичанию и гибели. Эта фраза поразила меня, и я тут же спросил:

– А что такое цивилизация?

Он коротко ответил:

– Технический прогресс.

И тогда я задал вопрос, который интересует каждого:

– Существует ли Бог?

Он пожал плечами и серьезно сказал:

– Если и существует, то Он вне времени и пространства, а значит, для нас непостижим.

Я тогда не понял его. Не уверен, что понимаю и сейчас.

* * *

Черновцы называли еврейским городом.

Даже теперь, много лет спустя, мне требуется всего лишь незначительное усилие памяти, чтобы вновь увидеть перед собой его дома и улицы, ощутить их странное обаяние и теплоту нагретшегося за день асфальта.

С тех пор где я только не побывал, но всюду меня, как фата-моргана, сопровождал зыбкий и, несомненно, давно изменившейся облик этого города.

Когда же развалилась империя и появилась, наконец, возможность съездить в Черновцы, то я ею не воспользовался. Бродский был прав: на место первой любви не возвращаются. А моя первая любовь все еще ходит по черновицким улицам. При мысли, что я могу встретить ту, которая когда-то была для меня самым прекрасным существом на свете, в облике ковыляющей куда-то старушки, мной овладевала черная меланхолия.

Я ведь с особой отчетливостью, так, словно это было вчера, помню зимний вечер, бесшумно падающий снег и ее приблизившееся странно побледневшее лицо...

К тому же евреев в Черновцах почти не осталось, а вместе с ними исчез и неповторимый, присущий только этому городу колорит – тот самый «особенный еврейско-русский воздух», о котором с такой щемящей ностальгией писал когда-то Довид Кнут.

Евреи, – говорил Заратустра, – маленький народ, но в каждом конкретном месте их много. По отношению к Черновцам это верно. Евреи не только жили в этом городе, начиная с XIV века, но иногда даже составляли в нем большинство.

Во времена помрачения духа – а их было великое множество – убийственные бури обрушивались и на общину черновицких евреев. Их лишали гражданских прав, изгоняли, грабили, насильственно крестили, обвиняли в отравлении колодцев, в ритуальных убийствах.

Но чем сильнее теснила евреев ненависть, тем сплоченнее и сердечнее становилась их семейная и духовная жизнь. Как дерево за землю, держались они за свой город.

Они основывали здесь промышленные предприятия и банки, открывали артели и мастерские, преподавали в школах и в университете, спонсировали культурные мероприятия. И прекрасно уживались с другими этническими группами, отношения с которыми строились на основе взаимного уважения.

К началу самой невероятной и истребительной из всех войн, преобразившей мир и уничтожившей треть еврейского народа, в Черновцах проживало около пятидесяти тысяч евреев.

В июне 1940 года Советский Союз аннексировал Бессарабию и Буковину. Начались аресты. Большинство еврейских культурных и общественных учреждений были закрыты. Но все это оказались лишь цветики. Трагические события развивались стремительно в то ужасное время. Уже через год – 30 июня 1941 года – Красная армия оставила город, и его заняли румынские и немецкие войска. Вся Бессарабия и Буковина с Черновцами были переданы Гитлером Румынии – верной союзнице Третьего рейха.

Конечно, Гитлер был главным игроком в кровавой мировой драме, но не следует недооценивать и роль его верного вассала, маршала и кондуктора (румынский аналог фюрера) Румынии Иона Антонеску.

Каждая диктатура выражает какую-либо идею. Но любая идея по форме и содержанию уподобляется тому человеку, который ее осуществляет. И если фанатичный и импульсивный Гитлер был Савонаролой расовой теории, то сухой и сдержанный румынский диктатор являлся ее расчетливым прорабом.

Антонеску гордился своей арийской внешностью. Высокий рост, суровый лоб, классической чеканки профиль, властный изгиб тонких, словно резцом вырезанных губ. Похожий на местечкового еврея Гитлер почувствовал нечто вроде зависти, когда встретился с ним впервые, что, впрочем, не помешало глубокой симпатии, которую фюрер до конца испытывал к своему румынскому союзнику.

Румыны, как известно, считают себя потомками римлян на том основании, что в первом веке нашей эры Дакия – так тогда называлась территория нынешней Румынии – была завоевана легионами Марка Ульпия Траяна, ставшего впоследствии императором. Его легионеры получили в награду завоеванные земли и постепенно смешались с местными жителями. Поэтому Траян и сегодня одно из самых популярных в Румынии имен. Римская историография считала Траяна образцом полководца и государственного деятеля. Всех последующих императоров римский сенат напутствовал словами: «*Felicio Augusti, melior Traiani*» (будь счастливее Августа и лучше Траяна).

Антонеску видел себя в мечтах румынским Траяном и стремился к созданию великой Румынии, безупречной в расовом отношении.

«Я вернул нам Бессарабию и Трансильванию, но я ничего не достигну, если не очищу румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу народу – такова моя высшая цель». Это свое заявление диктатор превратил в руководство к действию.

Кондуктор даже не обсуждал с Гитлером еврейский вопрос. В этом не было необходимости. Он лишь переслал фюреру утвержденный им план поэтапной ликвидации евреев по всей Румынии.

Первыми «пошли под топор» евреи Бессарабии. В июле – августе 1941 года румынский «специальный эшелон» уничтожил, правда, с помощью подразделений вермахта, свыше 150 тысяч евреев.

Это тогда Геббельс записал в дневнике: «Сегодня фюрер сказал: "Что касается еврейской проблемы, то такой человек, как Антонеску, поступает гораздо решительнее, чем это делали мы до сих пор"».

Неофиты, как известно, часто превосходят в рвении своих учителей.

Впрочем, ненависть Антонеску к евреям труднообъяснима. В 1925 году, будучи военным атташе Румынии в Париже, он женился на французской еврейке и прожил с ней в любви и согласии восемь лет. В то время он вряд ли был юдофобом.

6 августа 1941 года кондуктор был награжден Рыцарским железным крестом, который Гитлер лично прикрепил к его мундиру. После этого Антонеску и взялся за евреев.

10 октября 1941 года он отдал устный приказ о депортации еврейского населения Черновиц в концентрационные лагеря, поспешно созданные в Транснистрии. Уже 12 октября, в праздник Суккот, туда была отправлена первая партия из шести тысяч евреев, среди которых выделялась большая группа садогорских хасидов во главе с цадиком Аароном бен Менахемом Нахумом. Они прошли по городу в скорбном молчании, неся перед собой свитки Торы.

Почти никто из них не остался в живых. Румынские власти приказали в течение целого месяца перебрасывать этих обреченных людей с места на место, чтобы большинство из них остались на дороге

смерти. Тех, кто не могли идти, охранники тут же пристреливали. Немногие добрались до Транснистрии, но и те вскоре умерли, не выдержав нечеловеческих условий.

С октября по ноябрь 1941 года из Черновиц были депортированы 28.390 евреев. Почти все они погибли.

Около двадцати тысяч евреев все еще оставались в городе и уже ни на что не надеялись, как вдруг произошло чудо. Депортации прекратились. Все они получили право на жизнь благодаря усилиям черновицкого мэра Траяна Поповича.

Он жил в доме номер 6 на улице Заньковецкой, по которой я проходил десятки раз. Но я ничего не знал тогда об этом человеке. В те времена на этом доме не было, да и не могло быть мемориальной доски. Она появилась лишь в 2008 году...

По-видимому, ничего не знал о деяниях Траяна Поповича и Стивен Спилберг. Если бы знал, то не исключено, что снял бы фильм именно о нем, а не о Шиндлере. Оскар Шиндлер, снискавший всемирную славу благодаря фильму Спилберга, спас 1400 евреев, за что ему и честь, и хвала.

Но ведь Траяну Поповичу обязаны жизнью двадцать тысяч человек, а о нем мало кто знает. У истории просто не хватает времени, чтобы воздать каждому по справедливости.

Нельзя сказать, чтобы совсем уж был забыт «румынский Шиндлер». Он включен в список праведников мира сего. Его деяния увековечены в иерусалимском музее Яд ва-Шем. Памятник ему возвышается в Тель-Авиве.

Тем не менее его имя почти не известно на Западе. Да и в самой Румынии о нем предпочитают не вспоминать.

Траян Попович родился в 1892 году в небольшом румынском селе на Буковине, в семье мелкого ремесленника. Дела шли неплохо, и семья переселилась в Черновцы, где жила в достатке. Попович закончил сначала гимназию, а затем факультет права Черновицкого университета. С началом Первой мировой войны он добровольцем вступил в румынскую армию, где одно время служил под командованием капитана Иона Антонеску. Будущий диктатор по достоинству оценил и ровный спокойный характер Поповича, и его моральную силу, которая выше политической, ибо обращена к душе человека.

Он не забыл о нем, и когда Румыния вновь обрела Буковину, предложил Поповичу должность мэра Черновиц. После некоторого колебания – Попович отнюдь не рвался служить фашистскому режиму – он согласился.

«Когда зло сгущается до предела, должен ведь кто-то творить добро, иначе жизнь станет совсем невыносимой», – сказал он одному из друзей.

Во все времена будут существовать люди с неукротимой душой, которые не позволят запугать себя руганью и угрозами и останутся непоколебимыми в своих убеждениях. Услышав призыв своей совести, они, подобно рыцарю из Ламанчи, выступают против зла с открытым забралом, с копьем наперевес, невзирая на то, что в безумные

времена это смертельно опасно. Они будут до конца защищать обреченное дело, доказывая рьяным фанатикам, что нельзя уничтожать людей за их происхождение, ибо все люди равны перед Господом. Жаль только, что таких праведников – считанные единицы во все времена.

Траян Попович понимал, что у него почти нет шансов на успех, но он не уклонился от борьбы и, что самое удивительное, одержал победу, не имея ни общественной поддержки, ни рычагов влияния. Правда, он обладал особым даром убеждения, и те, кто имели с ним дело, неизбежно попадали под его обаяние.

Вскоре после назначения Поповича мэром губернатор региона генерал Калотеску приказал ему создать в Черновцах гетто. Попович отказался, заявив, что не допустит, чтобы часть вверенного ему населения была помещена за колючую проволоку.

Но вот пришел приказ Антонеску о депортации черновицких евреев в лагеря Транснистрии. На этот раз мнения мэра никто не спрашивал. Депортация набирала темпы. Необходимо было спешить, чтобы остановить уже запущенную машину смерти. Попович сумел этого добиться, но высокой ценой. Здоровье его было подорвано, и он умер вскоре после окончания войны, успев написать записки о пережитом – «Исповедь»¹.

* * *

Как в старинных храмах, где двери всегда были открыты для всех страждущих и обездоленных, где они черпали надежду, дающую мужество жить, где еще признавали их право на хлеб, черновицкая мэрия по моему приказу принимала все просьбы и обращения евреев.

В правительственной прессе, контролируемой министерством пропаганды, меня называли «жидовствующим мэром», а черновицких евреев именовали «народом Траяна».

Я же руководствовался не только этическими соображениями, но и надеждой на то, что среди этого урагана страстей мне удастся создать нечто вроде морального оплота для порядочных людей, который в будущем станет доказательством того, что далеко не все румыны были проводниками зла.

Понятно, что моя моральная позиция не способствовала налаживанию гармоничных отношений с губернатором края генералом Колотеску. Характер его обязанностей был таков, что он далеко не всегда мог руководствоваться этическими соображениями. Однажды, когда я в очередной раз просил его приструнить хотя бы немного энтузиазм военных властей, он резко оборвал меня. Я вспыхнул и заявил, что готов подать в отставку немедленно. Наступило тяжелое молчание. Я был напряжен, как струна, и ко всему готов. Наконец губернатор, не глядя на меня, произнес:

¹ Насколько мне известно, полностью записки Траяна Поповича на русский язык не переводились. Воссоздавая события, я пользовался фрагментами его «Исповеди» в переводе Сергея Воронцова. (В. Ф.)

– *Повремените с отставкой, господин Попович. Я ценю вашу работу. Если вы покинете меня, то я останусь совсем один среди фанатично настроенных людей. Думаю, что никто не сможет заменить вас.*

– *Я остаюсь, господин губернатор, – сказал я. – Но лишь потому, что не могу бросить тех, для кого являюсь единственной надеждой.*

Губернатор молча наклонил голову.

Мне показалось, что он отныне с большим пониманием станет относиться к моей позиции, и я ушел спокойный.

Но вот 10 октября меня вызвали на чрезвычайное совещание к губернатору. В кабинете находились также генерал Топор и полковник генерального штаба Петреску. Нас было четверо. Я помню каждую деталь той невероятно драматической сцены, словно все это было вчера. Губернатор заявил, что решение о депортации всех черновицких евреев уже принято самим маршалом, и возражать бесполезно.

Мне показалось, что мое сердце превратилось в камень.

– *Господин губернатор, – с трудом произнес я. – До чего мы дошли!*

– *Что я могу сделать? – ответил Колотеску. – Это приказ маршала, и вы видите здесь представителей генерального штаба, которым поручено проследить за его выполнением.*

Я взял слово и стал говорить. Я обратил внимание губернатора на то, что он персонально будет нести ответственность перед историей за все, что произойдет. Я говорил об ущербе для нашей репутации на международной арене, о проблемах, с которыми столкнется Румыния на мирных конференциях. Я не жалел красок, чтобы охарактеризовать преступную аморальность готовящихся мер. Говорил о культуре и человечности, о варварстве и жестокости, о преступлениях и позоре. Повернувшись к губернатору, я сказал, глядя ему в глаза:

– *Господин губернатор, французская революция, которая дала человечеству права и свободы, забрала 11800 жертв, а вы находитесь в шаге от того, чтобы отправить на смерть 50 тысяч людей.*

Указав на генерала Топора и полковника Петреску, я произнес:

– *Эти господа выйдут сухими из воды после того, что совершат. А вы как губернатор ответите за все лично. Ведь у вас не будет даже письменного распоряжения маршала, чтобы на него сослаться. Но у вас есть еще время. Поговорите с маршалом и попросите его отложить эти драконовские меры хотя бы до весны.*

Меня слушали в тяжелом молчании. Все сидели неподвижно, как статуи. Наконец губернатор заговорил, но я не почувствовал уверенности в его голосе:

– *Господин Попович, признаюсь, что испытываю те же опасения, что и вы. Тем не менее эти господа прибыли сюда для надзора за выполнением приказа. Я должен думать также и об этом.*

Тут встал полковник Петреску и обратился ко мне:

– *Господин мэр, – произнес он с иронической усмешкой, – кто будет писать историю – еврейские негодяи? Я приехал, чтобы выловить из огорода сорняки, а вы хотите мне воспрепятствовать?*

– Господин полковник, – резко ответил я, – уж позвольте мне самому полоть свой огород. А историю будут писать не евреи. Она не принадлежит им. Ее будут писать историки всего мира.

– Я обдумую ситуацию, – устало сказал губернатор и отпустил нас жестом руки.

Я вернулся в ратушу, где в моем кабинете уже находились руководители еврейской общины. Никогда не забуду, как они на меня смотрели. Они ждали чуда, благой вести. А что я мог сказать им? Уже полным ходом шла подготовка к загрузке евреев в специальные вагоны...

Медлить было нельзя, и я отправился в Бухарест.

В приемной маршала меня встретил молодой секретарь с жуликоватыми глазами.

– Садитесь, господин мэр, – указал он на кресло. – Кондуктор примет вас через десять минут.

Когда я вошел в кабинет Антонеску, он что-то писал.

– Подожди, Траян, я сейчас кончу, – произнес маршал, не поднимая головы.

Против этого нечего было возразить, и я молча ждал. Наконец он отложил ручку и сурово посмотрел на меня.

– Давно не виделся, – сказал он, – но ты совсем не изменился. Все воюешь с ветряными мельницами? Я ведь помню, что томик Сервантеса всегда был с тобой. И не надоело тебе?

– Не надоело, господин маршал.

– Я читал твою докладную. Ты просишь прекратить депортацию евреев из Черновиц по экономическим соображениям. Не слишком ли многого ты хочешь?

– Весь неконструктивный еврейский элемент уже выдворен из Черновиц, – сказал я. – Евреи, которые еще остались, обладают профессиями, жизненно необходимыми для благополучия города. Ассенизаторы, например. Без них город потонет в дерьме.

– Да уж, без ассенизаторов все мы потонем в дерьме, – усмехнулся маршал.

Он встал и прошелся по кабинету. Я тоже встал.

– Ну что ж, Траян, – сказал он после затянувшейся паузы, – поскольку возможность получения тобой взятки от евреев приходится исключить, я выполняю твою просьбу. И знаешь почему?

– Потому что это справедливо.

– Потому что Румынии нужны не только такие ассенизаторы, как я, но и такие чертовы идеалисты, как ты.

Маршал Антонеску разрешил оставить в Черновцах двадцать тысяч евреев, которые благополучно дожили до конца войны. Те из них, которые еще живы, хранят благодарную память о своем спасителе.

Осталось сказать несколько слов о судьбе Антонеску.

24 марта 1944 года советские войска вступили на территорию Румынии. Германо-румынские дивизии, сконцентрированные на ясси-кишиневском направлении, были разгромлены. В Румынии началось антифашистское восстание. 23 августа 1944 года кондуктор был вы-

зван во дворец и арестован по приказу короля Михая, а уже на следующий день Румыния подписала перемирие с Советским Союзом и объявила войну нацистской Германии. Антонеску был выдан советскому командованию и отправлен в СССР, а после войны передан румынскому коммунистическому правительству.

Бывший диктатор был приговорен румынским судом к смертной казни и расстрелян 1 июня 1946 года. На суде он заявил, что ни о чем не жалеет, и попросил только, чтобы его расстреливали солдаты, а не жандармы. В этой милости ему было отказано.

Он сам командовал своим расстрелом. Его последние слова были: «Канальи, пли!»

* * *

Почти все спасенные Траяном Поповичем евреи эмигрировали после войны в подмандатную Палестину, где вскоре должно было возникнуть еврейское государство. Но «свято место пусто не бывает», и еврейское население города не только не исчезло, но и значительно увеличилось уже к 1948 году.

В Черновцах евреи чувствовали себя почему-то более защищенными, чем в любом другом уголке сталинской державы, что, конечно, было иллюзией, но они устремились в этот маленький Эдем со всех концов разоренной страны.

Здесь функционировали шесть синагог и с аншлагами шли спектакли еврейского театра имени Шолом-Алейхема. Здесь исправно работала пекарня, снабжавшая евреев мацой к празднику Песах. Здесь находилось еврейское кладбище изумительной красоты, которое не тронули ни немцы, ни румыны, потому что мэр Попович объявил его историческим памятником.

Такая идиллия не могла продолжаться долго, ибо образ жизни, который вели в Черновцах евреи, власти постепенно стали расценивать как идеологическую диверсию.

Когда в последние годы жизни Сталина развернулась бешеная антисемитская кампания, неподготовленные к ней черновицкие евреи вдруг с ужасом увидели себя на краю пропасти. Позакрывали синагоги, разогнали еврейский театр, запретили выпечку мацы и обрезание. Даже еврейское кладбище и то отобрали.

А потом грянуло дело врачей – «убийц в белых халатах». Тут уж стало ясно, к чему все идет. Евреям оставалось надеяться лишь на чудо, что и произошло, когда до апокалипсиса оставался всего один шаг...

В первые послевоенные годы лишь немногие осмеливались держать дома радиоприемники. Это считалось опасным. Владельца могли заподозрить в том, что он слушает по ночам «враждебные голоса». В каждой квартире была, однако, радиоточка, очень похожая на «телескрин», описанный Оруэллом в романе «1984». Ее, правда, можно было выключать.

13 января 1953 года, рано утром, диктор зачитал железным голосом сообщение ТАСС, обнародованное в тот же день в газетах. Ко

всему привыкшие советские люди не особенно впечатлились, узнав, что органы госбезопасности разоблачили группу врачей-убийц, агентов иностранных разведок и американской еврейской организации «Джойнт», «скрывавшей свою преступную деятельность под маской благотворительности». Ведь славные органы постоянно кого-то разоблачали.

Как былинные богатыри, рубили они головы антисоветской гидре, но те почему-то вновь отрастали со сказочной быстротой.

В сообщении ТАСС назывались всего десять имен. Зато каких! Почти все обвиняемые являлись светилами медицинской науки, пользовались международной известностью, возглавляли кафедры, были консультантами лечебного управления Кремля. Сообщалось, что «эти изверги» получали от «Джойнта», а также от ЦРУ и других иностранных разведок «директивы об истреблении руководящих кадров СССР». Убийцы в белых халатах неправильным лечением уже отправили на тот свет товарищей Жданова и Щербакова.

Подавляющее большинство арестованных принадлежали к «вредной национальности». Было ясно, что примкнувшие к ним профессора Егоров и Виноградов продались «Джойнту» за иудины деньги.

Делу врачей предшествовало убийство в Минске великого еврейского актера Михозлса и арест членов Еврейского антифашистского комитета, впоследствии расстрелянных.

Помню, мама спросила отчима:

– А как Михозлс попал ночью во время снегопада на глухую минскую улицу, где его задавил грузовик?

– Лучше нам с тобой этого не знать, – ответил отчим.

Дело ЕАК не вызвало, как рассчитывал Сталин, всенародного возмущения против «малого злокозненного народа». Он понял, что нужна широкомасштабная и более тщательно подготовленная антиеврейская кампания.

По сигналу сверху развернулась травля «космополитов». Предполагалось, что когда общественная атмосфера будет в достаточной степени накалена, евреев, спасая от «народного гнева», депортируют в места отдаленные.

А потом... Что должно было произойти потом?

* * *

Что я мог понимать тогда, в мои неполные двенадцать лет? В нашей семье не говорили на острые темы. И мать, и отчим знали, как это опасно. Поэтому я долго верил, что мы живем в лучшей стране на земле. Иногда я с умилением думал о том, какое это счастье, что родился в СССР, а не в Америке, где изнуренный капиталистической эксплуатацией народ мучается, как в аду.

Мне пришлось самому выбираться из паутины лжи и лицемерия.

Тяжкий жребий достался людям моего поколения, пережившим сразу несколько эпох: смерть тирана, превратившего в апофеоз зла целое государство, крушение мерзейшей из идеологий, возвращение к человеческому образу жизни из сатанинского царства.

На смену одному злу пришло другое, правда, в неизмеримо меньших масштабах. Жрецов кровавой идеологии сменили воры в законе. Но, как писал Бродский, «ворюга мне милей, чем кровопийца».

Лишь много лет спустя я понял, что мать с отчимом не пытались раскрыть мне глаза на сущность режима не из трусости. Они не хотели омрачать моего детства душевным разладом, надеясь, что я когда-нибудь сам разберусь в реалиях жизни, что и произошло, хоть и не сразу.

Прозрение же мое началось с дела врачей.

13 января мама вернулась из поликлиники раньше обычного. Она была очень печальной и выглядела так, словно ее кто-то обидел.

Вечером я услышал обрывки ее разговора с отчимом.

– Что теперь будет? – спросила мама.

– Не знаю, – ответил отчим, – нам остается только ждать и надеяться.

– На что надеяться?

– Не знаю, – опять произнес отчим и после короткого молчания добавил неожиданно сильным голосом: – Боже мой, как это ужасно – жить в стране, из которой невозможно уехать.

Моя мама, человек спокойный и уравновешенный, отличалась врожденной живостью ума и скрытностью характера. У нее была восхитительная улыбка, впрочем, редко освещавшая ее лицо. Я хорошо помню ее тихий выразительный голос и медленные, но точные движения. Казалось, ничто не может вывести ее из состояния душевного равновесия. Но я чувствовал, что есть в ее жизни какая-то тайна, которую мне не дано разгадать. Не исключено, что с гибелью моего отца умерла также какая-то часть ее души. Она, несомненно, любила меня, и все-таки чем-то я ее раздражал. Возможно, напоминал то, о чем она хотела бы забыть.

Моим воспитанием она не занималась и ни разу не позволила проникнуть в свой внутренний мир. Впрочем, она никому этого не позволяла. Даже отчиму, которого по-своему ценила.

Мама была человеком одаренным. В школе – круглая отличница. Московский медицинский институт закончила блестяще. Стала прекрасным врачом. Пациенты ее обожали. Но в те зловещие дни она буквально заставляла себя ходить в поликлинику. Многие врачи известной национальности опасались тогда появляться на работе, а пациенты боялись у них лечиться.

В нашем дворе в небольшом полуподвальном помещении жила прачка Нюрка с сыном Зюнькой, который был старше меня на три года. Он считался хулиганом, потому что любил драться. Родители поколоченных им детей жаловались на него матери. Нюрка порола его нещадно. Но он никогда не обижал слабых, а мне так даже покровительствовал в дворовых разборках за то, что я, читавший запоем, рассказывал ему о похождениях великого сыщика Шерлока Холмса. Зюнька читать не любил.

Был он отчаянный враль. Причем врал он не ради какой-либо мелкой выгоды, а для форсу. Однажды похвастался дворовым ребятам, что спал с женщиной. Он якобы помог ей донести до дома тяжелую кошелку, та пригласила его в квартиру – ну и всякое такое. Это в четырнадцать-то лет!

– Кончай заливать, – смеялись ребята.

Он выходил из себя, кричал иступленно:

– Не верите? Не верите, да? Гадом буду! Век свободы не видать! – Успокоившись, махал рукой: – Ну и черт с вами!

И тут же сочинял новую небылицу.

Нюрка и Зюнька были мамиными пациентами.

Нюрка с отежшими, похожими на бревна ногами передвигалась с трудом. Лицо у нее было кирпичного цвета от чрезмерных возлияний. И зимой, и летом она ходила в чулках и в калошах. Казалось, что эта женщина не способна на какие-либо положительные эмоции.

В один из тех дней, когда радиоточка верещала особенно злобно о врачах-убийцах, она вдруг пришла к нам и принесла капустный пирог.

– Вот, Римма Григорьевна, – сказала она, смущаясь, – для вас испекла.

Они сели пить чай, и я, торопившийся во двор по своим делам, услышал, как Нюрка говорит маме:

– Басурманин, он и есть басурманин.

Прошло немало времени, прежде чем я догадался, кого она имела в виду.

Ну а Зюнька где-то через полгода, когда худшее было уже позади, принес нам тетрадный листок со словами песни, которую услышал на рынке. Он записал для нас ее куплеты. Песня была длинная. Из нее следовало, что люди, еще недавно готовые растерзать «убийц в белых халатах», охотно поверили в их невиновность. Время всеобщего ликования и повального безумия подходило к концу.

Вот что сохранилось в моей сдавшей с годами памяти:

*Дорогой товарищ Коган,
Знаменитый врач,
Ты взволнован и растроган,
Но теперь не плачь.
Зря трепал свои ты нервы,
Кандидат наук.
Из-за суки, из-за стервы,
Лидки Тимашук!
Слух прошел во всем народе –
Все это мур!
Пребывайте на свободе,
Наши доктора!*

Но это было потом. А тогда атмосфера в городе становилась все тревожнее, и наступил день, когда мою маму чуть было не убил в поликлинике контуженный фронтовик.

Началось с того, что к маме на прием явилась женщина с круглым, как блин, лицом, с худой золотушной девочкой лет пяти. Выяснив, что ребенок болен ангиной, мама стала выписывать рецепт.

– Нам ваш рецепт не нужен, – заявила пациентка, уколов маму враждебным взглядом, – знаем, какие лекарства вы выписываете. Я хочу, чтобы мою дочку положили в больницу. Пусть там ее лечат.

– С этим заболеванием в больницу не кладут, – с трудом сдерживаясь, сказала мама. – Если же я как врач вас не устраиваю, то обратитесь к другому врачу.

– Все вы одним миром мазаны, – пробормотала женщина и, схватив ребенка, выбежала из кабинета.

Через час в него ворвался ее муж, тщедушный человек со впалой грудью и безумными глазами.

– Я тебе карачун сделаю, жидовская зараза, – выкрикнул он и поднял над головой стул.

К счастью, в кабинете в это время была медсестра, каким-то чудом успевшая его оттолкнуть. Сразу вбежали люди.

Его скрутили, он бился, как в припадке падучей, хрипел:

– Гады! Гады!..

Мама слегла после этого случая и три дня не ходила на работу.

А через неделю этот человек пришел к нам домой. Был он в старой шинели, в галифе и в начищенных до блеска сапогах. Глаза у него были спокойными и печальными.

Увидев его, мама побледнела, а он торопливо сказал:

– Повиниться пришел. Ради Бога простите меня, доктор.

Мама его не выгнала.

Когда он снял шинель, на его груди сверкнули ордена и медали. Этот человек прошел всю войну. Был дважды ранен и тяжело контужен.

Сидя в гостиной на самом краешке стула, он говорил медленно, как бы с усилием:

– Понимаете, доктор, моя дура явилась домой и рассказала, что жидовка отказалась положить нашу дочь в больницу без взятки. Я же после контузии стал очень нервным. Тут еще дело врачей плешь проело. Ну, я и вспылил. Какое счастье, что беды не случилось. Бог миловал... А потом навел справки и узнал, что вы и врач хороший, и человек хороший. Никто о вас слова дурного не сказал. Узнал и про то, что ваш первый муж погиб на фронте. Ну вот... Простите, доктор. По дурусти это все... Снимите камень с души...

– Вам необходимо нервы лечить, – сказала мама.

Расстались они чуть ли не друзьями.

* * *

Гете говорил, что с высоты разума мир представляется сумасшедшим домом. А мы жили в стране, где сумасшествие считалось нормой, а нормальность воспринималась как безумие.

Сталин умер вечером пятого марта. Многие ликовали, а многие с ужасом спрашивали: «Что теперь будет?»

6 марта утром мы с мамой пошли на базар.

– Что теперь будет? – спросил я.

– Весна, – сказала мама, – смотри, деревья уже в цвету.

– Я не об этом.

– А я об этом, – улыбнулась мама.

НОВЫЕ ВОРОТА

Стив ЛЕВИН. С еврейской точки зрения... Иерусалим: «Филобиблон», 2010.

Сборник статей и очерков Стива Левина – итог его многолетних исследований – включает три раздела. Первый посвящен Бабелю.

Мои отрочество и юность прошли под знаком этого выдающегося писателя: отец, литературовед Лев Яковлевич Лившиц в 1958–1964 гг. собирал по крупицам все связанное с Бабелем. Он публиковал неизданные произведения и письма писателя, а также материалы к его творческой биографии. Однако скоропостижная кончина (отец умер, не дожив до сорока пяти) помешала ему осуществить главный замысел – издать монографию о любимом писателе. После папиной смерти моя связь с бабелевским миром ослабла. Но разве возможно вырваться из плена этого гения? Я постоянно перечитывала прозу Бабеля и старалась не упустить новые публикации, посвященные его творчеству. Поэтому с огромной радостью окунулась в очерки Левина.

Стив Левин вошел в мир Бабеля более сорока лет назад, в своей кандидатской он анализировал соотношение факта и вымысла в советской прозе первой половины 20-х годов, в основном на примере бабелевской «Конармии». Размышления о еврейской составляющей в личности героя этой книги Лютова и самого писателя (по материалам его автобиографической прозы), «саратовская» глава в биографии юного Бабеля, воспоминания о многолетней дружбе со вдовой писателя А. Н. Пирожковой и исследователями творчества Бабеля И. Смирным, У. Спектором, Е. Краснощековой, бабелевские издания в конце XX и начале XXI века – вот темы этого цикла очерков.

Задача, поставленная автором, – «исследование писательской индивидуальности Бабеля, парадоксально соединившего в себе пристрастие к российскому жизненному материалу с еврейской идентичностью». Левин мастерски владеет инструментарием филолога-исследователя: разрабатывая тему, он не пытается подчинить свои выводы заранее выстроенным схемам; увлекательно излагает ход своих мыслей, подкрепляя его анализом как известных, так и обнаруженных им самим источников, скорее ставя вопросы, чем навязывая ответы.

Левин впервые вводит в литературный оборот материалы о предтече Лютова – герое очерка замечательного историка и публициста Семена Дубнова «История еврейского солдата 1915 года. (Исповедь одного из многих)» Это сопоставление кажется мне очень обоснованным и важным. Обоснованным – потому что налицо и типологическое, и жанровое сходство: приключения еврея-интеллигента, попадающего в гущу русской народной среды в экстремальной ситуации на фронтах Первой мировой («История еврейского солдата») и Гражданской («Конармия») войн. Важным – так как позволяет понять связь бабелевского творчества с литературной почвой, до сих пор мало попадавшей в поле зрения исследователей, – русско-еврейской литературой начала XX века.

Правда, между героями этих произведений есть и важное отличие. Лютов выбрал свой путь по внутреннему убеждению, а не в силу

внешних обстоятельств – призыва на войну. Лютовская коллизия – коллизия интеллигента, замороженного грандиозной народной схваткой. Он стремится понять ее движущие силы и пытается принять в ней прямое участие, но народная масса инстинктивно отвергает его как чужеродное тело. Лютова выталкивает не только русская национальная среда. Он связан пуповиной с миром еврейских чувств и ценностей, в то же время воспринимая этот мир как ограниченный и обреченный на изменение. А для его соплеменников из маленьких местечек Волыни и Галиции, готовых пожертвовать жизнью, но не расстаться с национальными традициями, лютовская устремленность к нарождающейся новой общности глубоко чужда и неприемлема.

В очерке «Бабель на Волге» исследователь впервые раскрывает жизненные обстоятельства, важные для творчества писателя. В 1915–16 гг. Бабель прожил несколько месяцев в Саратове. А затем, в 1918 году, принял участие в экспедиции по Волге с «красным купцом» Малышевым. Эту экспедицию можно назвать «увертюрой» к участию писателя в конармейском походе. Ее события положены в основу рассказа «Иван-да-Марья» (1932). Центральный эпизод рассказа – безжалостный расстрел человека, душа которого была по-детски распахнута миру. Авторское отношение, интонация, сюжетная коллизия объединяют этот рассказ с конармейским циклом.

Если в советское время принято было называть бабелевский гуманизм «абстрактным», то позже, в работах Шимона Маркиша, главный акцент делался на еврейской системе ценностей, в которой был воспитан Бабель. Значимость подхода к этой проблеме Левина – в способности различать светотени. Этот стереоскопический взгляд выявляет динамику отношений Бабеля с еврейским миром: с одной стороны – глубокой душевной привязанности, а с другой – амбивалентности в отношении к еврейскому миру. Уже в раннем рассказе-воспоминании «Детство. У бабушки» (1915), читаем: *«Все было необыкновенно в тот миг, и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться»*. Левин отмечает: *«...это двойственное ощущение еврейской жизни... будет присутствовать в произведениях Бабеля и в дальнейшем»*.

Некоторые положения исследователя хотелось бы «договорить». Например, Левин пишет: «Для Бабеля “свое” (еврейское – Т. Л.), противопоставлено “чужому” – конармейскому, советскому, в которое, тем не менее, он силился войти на правах равного, но которое *отвращало* (курсив мой – Т. Л.) его своей антиэстетичностью». Здесь мне представляется *необходимым* продолжить: *отвращало*, но и *притягивало, манило*. И это роковое притяжение определило и литературное бессмертие Лютова, и жестоко и насильственно оборванную жизнь его создателя. Так же и с утверждением Левина о том, что «свой путь в литературе он (Бабель – Т. Л.) начинал с еврейской темы, которая и станет для него главной на всю жизнь». Хочется заметить: не единственно главной.

В 20-е годы еврейский мир, каким его видит и изображает Бабель, – это мир шаржированных типажей, «лукавый и сказочный мир Молдаванки», мир мессианских ожиданий, непосильной ношей ло-

жающийся на плечи ребенка... Оставляя в стороне вопрос о «зазоре» между личностью писателя и его героя Лютова (многократно обсуждавшийся, начиная с работы Л. Лившица «К творческой биографии Исаака Бабеля», 1964), отметим: не вызывает сомнения, что и сам Бабель, и его *alter ego* смотрят на еврейский мир с любовью, но как бы со стороны. В те годы для Бабеля еврейство – сентиментальный талисман, привычный камертон, главной же темой становится энергия вихря нового мира, утверждающегося через кровь и насилие (пусть и не одобряемые писателем). Но веру-то в Россию он разделяет, и долгие годы она питает его творческое воображение. Достаточно вспомнить его известнейшую цитату из письма к друзьям: «Я отравлен Россией, скучаю по ней, о ней только и думаю...» (Париж, 28.10.1927). Конечно, распространено мнение, что Бабель «вставлял» такие фразы в свои письма, зная о том, что они подвергнутся перлюстрации. Но есть ведь факты его биографии: он выбрал вернуться в Россию, а не остаться с семьей во Франции.

Продолжал ли Бабель и в последнее десятилетие своей жизни искать рецепт все той же таинственной амальгамы: российской словесности, еврейских ценностей и советской мечты, «подчиняясь как раб, как выучный мул» лишь «демону или ангелу искусства»?¹ Чтобы судить определенно об эволюции бабелевского мироощущения в 30-е годы, исследователям предстоит еще немало потрудиться над анализом его писем к семье в эти годы: шансы найти его поздние тексты в архивах Лубянки, к сожалению, ничтожны. Однако, анализируя незавершенную повесть «Еврейка» (конец 20-х гг.), Левин показывает, как в годы кризиса и молчания, когда рассеивались пыль и туман многих иллюзий, взгляд художника на действительность становится более суровым и трезвым, как возвращается к нему приоритет «вечных» ценностей. Повидимому, в этот период взгляд «извне» сменяется выстраданным осознанием того, что для самого Бабеля еврейство есть и основная система ценностей, и основной критерий для оценки окружающего мира.

Однако с утверждением Стива Левина о том, что «еврейский взгляд на мир спасал Бабеля от потери своего писательского и человеческого “я”, от погружения в кровавую мешанину советской действительности 30-х годов», могу согласиться лишь отчасти. Думаю, что этот «спасательный круг» был у Бабеля не единственным. Спасательные круги – у каждого свои – оказались у Пастернака и Платонова, Ахматовой и Булгакова... И вообще, средств, спасающих от «погружения в кровавую мешанину», помимо «еврейского», человечество придумало ещё немало – от Будды до Толстого...

Второй раздел книги Стива Левина включает очерки, посвященные диалогу между русскими писателями и евреями. Очерки расположены в соответствии с хронологическими датами творчества их авторов. Таким образом возникает дополнительный аспект – историческое развитие еврейской темы в русской литературе. Вопрос об отношениях к евреям великих русских писателей для филолога ев-

¹ Так воспроизводит И. Бабеля К. Г. Паустовский в своих «Рассказах о Бабеле».

рейского происхождения не только литературный. Он задевает чувства, говорить о которых еще нет достаточного навыка и умения. Левин ведет беседу на эту тему с доверительным уважением, с чувством собственного достоинства и меры. И его уравновешенная, выдержанная интонация придает словам особый вес.

Автор занимает позицию, с которой трудно не согласиться: отношение русских писателей к евреям – это в основном «русский» вопрос, он лишь косвенно отражает изменение социально-этнического положения евреев в России, зато самым непосредственным образом связан с изменениями, происходившими в российском духовном и общественном сознании. (От антисемитизма Достоевского – к меняющемуся на протяжении жизни от отрицательного к сочувственному взгляду на евреев Лескова и Чехова, а затем к открыто провозглашаемому филосемитизму Короленко, Горького и Цветаевой – эта схема, как любая *схема*, отнюдь не исчерпывает богатый нюансами и подробностями, живыми и часто противоречивыми деталями реальный исторический диалог русских писателей с еврейством.)

Обратимся к примеру Н. Лескова. Итогом размышлений писателя над «еврейским вопросом» стал его очерк «Еврей в России...», вышедший в 1884 году в пятидесяти экземплярах, а затем забытый. Левин приводит отрицательное мнение об этом очерке Семена Дубнова, вместе с тем убеждая читателя в его неверности: очерк написан с явным сочувствием к евреям, обнаруживает глубокое знакомство и обширные знания о быте и нравах евреев Российской империи, цепкую живую наблюдательность и преодоление распространенных предрассудков того времени, а также незаурядные способности проникновения в еврейскую душу. Положение евреев волнует Лескова потому, что с ним связана судьба Российской империи. Вообще, в отношении русских писателей к «еврейскому вопросу» у Левина не упрощенный подход – был ли «за» или «против», а попытка понять позицию того или иного писателя в контексте его творческой логики и развития.

Объективность исследователя, которая так дорога Левину, иногда заслоняет выражение его личного отношения. По поводу популярности в *современной* России очерка Лескова «Еврей в России» Левин замечает: «Автор оказался прав: его труд оказался “неизлишним” для суждения не только о еврейском “деле”, но и о судьбе России».

Но в чем конкретно видит сам исследователь актуальность лесковского произведения *в наше время*? Достаточно ли здесь ограничиться только констатацией этого явления и общими замечаниями о достоинствах текста? Почему очерк, написанный более 150 лет назад, оказался востребован в *сегодняшней* России? Ведь современное социальное положение евреев, их вписанность в доминирующую культуру абсолютно очевидны и несравнимы с ситуацией лесковского времени...

И наконец, третий раздел посвящен истории еврейской общины Саратова, «осознанию той почвы, на которой складывались мои жизненные и культурно-этнические предпочтения», как пишет Стив Левин. Саратов – исконно русский город – не входил в черту оседлости, еврейская община, сложившаяся здесь с XIX века из отслуживших солдат и ремесленников, была немногочисленна.

Кропотливая работа с архивами, устные рассказы и личные встречи легли в основу этого цикла.

Самый большой очерк посвящен обстоятельному рассказу о трагически закончившемся «саратовском деле» 1853 года по ритуальному навету – предтече «дела Бейлиса». Материалы этого дела, тянувшегося семь лет и закончившегося осуждением нескольких евреев на каторгу по недоказанному обвинению, до сих пор мало известны. Основываясь на архивных материалах, Левин сумел построить захватывающий, почти детективный рассказ. Еще один очерк повествует о жизни общины в годы Первой мировой, когда она резко выросла после выселения евреев из прифронтовых западных районов Российской империи. В эти годы еврейская жизнь в Саратове расцветает: действуют две синагоги, детсад, школа. Тогда же здесь довелось провести несколько месяцев и Бабелю. (Обе темы, исследованию которых Левин посвятил так много времени, пересекаются!) Несмотря на гонения, еврейская жизнь сохраняется в городе на протяжении всех лет Советской власти. Закрыты синагоги, но открывается новый модельный дом, налаживается выпечка мацы, строится миквэ, вырастает новое поколение мозлей. Затаившаяся, но живая, а не убитая еврейская реальность встает перед читателем со страниц очерков о саратовских праведниках и раввинах Рефозле Бруке и Шломо Бокове, с риском для собственной жизни помогавших немногочисленным смельчакам соблюдать обряды и традиции.

...Интернетовский каталог изданий на русском языке, вышедших в Израиле за два последних десятилетия, насчитывает более семи тысяч книг. Исследователи (Майя Каганская, Леонид Кацис, Зоя Копельман, Елена Толстая и др.) уже поставили вопрос: что это? Явление русской литературы, русско-еврейской или еще один, новый «мутант» – русско-израильская литература? Мне ближе последняя точка зрения.

Конечно же, рассмотрение этой большой и серьезной проблемы – кто составляет круг авторов русско-израильской литературы, каковы ее основные мотивы, есть ли у нее собственная поэтика и многие другие вопросы, неизбежно возникающие по ходу анализа, – не входит в задачи данного отклика. Упоминаю же об этом вот почему. На мой взгляд, сборник статей Стива Левина соотносится именно с русско-израильским литературным контекстом, хотя *все* поднятые в нем темы связаны с материалом русским и русско-еврейским.

Израильский «акцент» слышится в авторском подходе к исследованию литературных и жизненных явлений. Последовательность в выявлении «еврейской составляющей» в творческой личности Бабеля. Достоинство, терпимость и спокойное восприятие позиции великих русских писателей, писавших о евреях. И, наконец, то, с каким подкупающим отсутствием суетности, бережно и уважительно, Стив Левин воссоздает подробности скудной еврейской жизни в родном Саратове. Эти обертона и эта интонация были бы невозможны, на мой взгляд, без душевного опыта, в центре которого – тут я использую формулировку Юлии Винер – Израиль как место для жизни.

Татьяна Азас-Лившиц

ОГНИ СТОЛИЦЫ. [Альманах, выпуск 5]. Иерусалим: «Скопус», 2012.

Начну, пожалуй, цитатой: *нас было много на челне*. Нас, то есть авторов пятого выпуска «Огней столицы», в общей сложности тридцать семь в четырёх разделах альманаха: «Поэзия», «Проза», «Эссе, статьи, воспоминания, интервью» и «Пьесы». Пытаться сказать обо всех – всё равно что объять необъятное. Выберу один ракурс, который хотелось бы обозначить – *в сторону любви*. Многие тексты альманаха к этому располагают.

Первый раздел – «Поэзия», а лучшее, на мой взгляд, стихотворение в нём принадлежит Борису Камянову:

* * *

*Я чадолюбивый, потому что я чудолюбивый –
Нет большего чуда, чем новорождённый малыш.
Багровый, как пьяница, лысый, сопливый, крикливый –
Ты сладок, мой маленький, даже когда ты блажишь.*

*Глазёнки подёрнуты лёгким молочным туманом.
Воспитанник ангелов, горних посланец глубин,
Явился сюда ты беспамятным и безымянным –
И сразу же всеми вокруг безоглядно любим.*

*Откуда спустилась душа в этом нежном обличье?
Куда воспарит она, сбросив отмершую плоть?
Склонясь над тобой, эту тайну пытаюсь постичь я –
Да вот затуманил глаза твои скрытный Господь.*

.....

*Жестоко проказишь, но всё же боишься огласки.
Завистлив, как все мы, при этом не чужд куражу.
Гляжу я, как в зеркало, в чистые, ясные глазки.
Себя нахожу в них, а тайну – не нахожу.*

*И всё же однажды её непременно раскрою.
Душа воспарит в поднебесье – а ты, мой малыш,
Склонившись над телом, навеки оставленным мною,
Прочтёшь, как положено, первый свой в жизни кадиш.*

Для автора нет сомнений в том, «откуда спустилась душа» недавно явившегося на свет внука: к его рождению не может не иметь отношения Тот, кто затуманил его «чистые, ясные глазки». Выше всяких похвал разработка мотива и, главное, закономерное (для этого поэта), но и неожиданное – после признания в неспособности найти божественную тайну в глазах внука – его, мотива, завершение и разрешение.

У Камянова впечатляют и другие стихотворения, но я прокомментирую только одно из них – «Чудо-юдо». В нём также воплощены две любви: к Богу, который послал нам *вымоленный ливень*, и к стране,

которую щедро напоил этот дождь. Отмечу только, что последние две строки: *Бог послал нам чудо-юдо. / Чудо – Он, а юдо – мы,* – своей шутовой афористичностью снижают пафос предыдущих четырнадцати строк.

И у Зинаиды Палвановой есть стихи, посвящённые внучке, тоже напряжённо любовные:

*Какое счастье – под одну гребёнку
не стричь безостановочные дни!
Замедлить время удалось ребёнку.
Разнежить воздух удалось любви.*

А ещё в подборке Палвановой – стихотворение смущающее, можно даже сказать, обескураживающее: «9 мая в Германии». Она называет свою героиню бывшей фашисткой. Поэтесса видит какое-то поле (не поле брани!), которое ранит её войной, безотцовщиной, детством. И всё же она желает бывшей фашистке процветания (буквально, а не только метафорически; употреблён глагол «цвести» в повелительном наклонении). Очень сильно сказано об этой – какую она успела полюбить – Германии: *страна, себя победившая, / беду свою превозмогающая.*

У открывающей раздел «Поэзия» Аси Векслер запомнилось прекрасное стихотворение «Астрея». И хотя Астрея – греческая богиня справедливости, но не только о справедливости хлопочет поэт. *Идеального времени нет на земле,* – вздыхает Векслер, переключаясь со своим учителем Александром Кушнером (помните: *Что ни век, то век железный?*). А дальше следует неотклонимое лирическое утверждение: *Есть привязанность к жизни – и место, / где настольная лампа горит на столе / и душе в оболочке не тесно.* Это ведь тоже о любви, не правда ли? И другое стихотворение – оно называется «Почти монолог» – тоже о любви: *увидеть Иерусалим – и жить.*

Михаил Кравцов выступает с любовно-эротическим стихотворением «Ни сойтись, ни расстаться с тобой не могу...». Концовка этого текста совершенна: *И сольются дыханья, и мы полетим, / Словно белым кольцом завернувшийся дым...* Этот прекрасный – потому что совместный – полёт читается как апофеоз подлинной любви мужчины к женщине.

Ну а Нина Локшина в который раз (но всякий раз по-новому!) объясняется в любви к своей Праге, которую регулярно навещает и от которой не в силах оторваться душой: *Благодарю Тебя* (вот так, с прописной буквы! – М. К.), *что делишься со мной / Хотя бы частью моего наследства.*

Или вот это:

*Нам всегда выходит боком
Недоверие к пророкам
И привязанность к далёким,
Но уже чужим местам...*

Один из трёх рассказов Михаила Гончарка – «Девятнадцатое декабря» – тоже о любви. История эта поведана с меланхолическим юмором, присущим писателю. Однако «эпилог» написан в совсем иной, лирико-ностальгической тональности. А последний абзац напоминает лирическое стихотворение в прозе.

Однако подлинной жемчужиной прозаического раздела является новелла Леона Кержнера (имя для меня новое!) «Внутренний мир». Эта вещь заслуживает особого разговора. Автору удалось и внятный, но ненавязчивый психологизм произведения, и динамика изменения внутреннего мира героев, и великолепно прописанный антураж, и крупные планы, которые по плечу только настоящему художнику. Я мог бы привести кучу цитат, обнаруживающих у Кержнера и пристальное зрение, и безошибочное чувство меры, и блестящее владение русским литературным языком.

Но ведь это всё не по заявленной теме. А что по ней? Самое главное в психологической прозе – *любовь автора к созданиям своего творческого воображения*. И мне, читателю, совершенно не важно, есть ли у персонажей реальные прототипы. Важно то, что у них есть этот самый внутренний мир, и он такого свойства, что позволяет глубоко сопереживать главной героине. Не стану раскрывать сюжет «Внутреннего мира» – скажу лишь, что, как в любой подлинно художественной прозе, он не просто совпадает с фабулой (она здесь в хорошем смысле проста и бесхитростна), но связывает в единое художественное целое все нити замысла и все его открытия как на микро- (детальном), так и на макроуровне (*судьбы скреплення*, как писал классик). И ещё: концовка «Внутреннего мира» поражает своей отстранённостью от основного сюжета, но при этом воспринимается как вполне органичная для данной вещи.

Мотив любви по-своему проявляет себя и в ряде материалов публицистического раздела альманаха. Так, Татьяна Азаз-Лифшиц не скрывает восторженной любви к поэтическому творчеству Михаила Генделева («Миша Генделев из породы Пушкина и Моцарта»; лично мне эта аттестация представляется завышенной, но это ведь мнение автора эссе), а Валентин Кобяков в своих «Заметках верхогляда» – трепетной любви к жизни во всех её проявлениях. По этому тексту, вследствие его поистине юношеской восторженности, автору никак не дашь его семидесяти пяти. С каковым юбилеем – вместе со всеми участниками объединения «Столица» и остальными авторами альманаха – и поздравляю Валентина.

Не пишу о вошедших в альманах пьесах: трагедии на историческую тему Александра Свищёва «Расплата» и трагикомедии Владимира Ханана «Вздорный характер бытия», поскольку речь в них о другом.

Пятый выпуск «Огней столицы» больше предыдущих сместился в сторону любви. На мой взгляд, это бесспорное достижение как непосредственных его участников, так и редколлегий альманаха.

Михаил Копелиович

ИМЕНА

Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ родилась в Харькове. Закончила биофак Ленинградского университета. Репатриировалась в 1977 году. Автор книги «Лекарственные препараты в Израиле» (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Мильавским) сборника избранных работ литературоведа Льва Лившица и воспоминаний о нем «Вопреки времени» (1998). Живет в Мевасерет-Ционе. Работает в больнице «Адасса».

В «ИЖ» опубликованы рассказ Т. А.-Л. «Неожиданный визит» (№ 24–25); рецензии на книги Натальи Дорошко-Берман, Марины Меламед, Шуламит Шалит, Юлии Винер и на альманах «Римон» (№№ 11, 13, 20–21, 22, 41); эссе об Александре Воловике (№ 26).

Роза АУСЛЕНДЕР (Розалия Шерцер; 1901, Черновицы, Австро-Венгрия – 1988, Дюссельдорф, ФРГ). Автор более двадцати поэтических сборников. Училась в Черновицах и Вене, в 1921 году переехала в США. В 1931 вернулась в Черновицы. В 1939 выпустила первую книгу стихов «Радуга». В 1941–1944 гг. находилась в Черновицком гетто. После войны жила в США, затем (с 1967 года) в ФРГ. Стихи Р. А. переведены на большинство европейских языков.

Илья БЕРКОВИЧ родился в 1960 году в Ленинграде. Репатриировался в 1990 году. Автор трех сборников стихов (1990, 2006, 2008) и книги прозы «Отец» (2011). Живет в Кирьят-Арбе.

В «ИЖ» опубликованы его рассказы (№№ 5, 19) и повести «Свобода» (№ 14–15), «Отец» (№ 26). В 2006 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга И. Б. «Стихи, написанные в Израиле».

Полина БЕСПРОЗВАННАЯ родилась в Ленинграде, окончила физфак ЛГУ (1975). Работала за Полярным кругом. После возвращения в Санкт-Петербург около десяти лет редактировала журнал «Пчела [Издание для гражданина с человеческим лицом]». Автор сборников стихов «Тени на снегу» (1980), «Смальта» (1984), «Суглинок» (1990), «Будвейзер Господа моего» (1998). Репатриировалась в 2009 году. Живет в Иерусалиме.

Иосиф БУКЕНГОЛЬЦ родился в 1955 году в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт. Репатриировался в 1990 году. Работает реставратором археологических находок в Департаменте древностей. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы повести И. Б. «Поэма о доме и големе» (№ 32) и «Акеда» (№ 38).

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окончила Институт им. Репина по специальности «Книжная графика». Ее работы вошли в антологию «Гравёры земного шара. Всемирная гравюра на дереве в XXI веке» (Лондон, 2002). Автор книг стихов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1997), «Ближний Свет» (2005). Репатриировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» стихи А. В. опубликованы в №№ 3, 14–15, 31; ее переводы из Ури Цви Гринберга – в № 36.

Андрей ГРИЦМАН родился в 1947 году в Москве. Окончил Первый мединститут им. Сеченова. В 1981 году эмигрировал в США. Автор нескольких сборников стихов и эссе (на русском и английском языках). Стихи включены в антологию русской зарубежной поэзии «Освобождённый Улисс», в англоязычные антологии «Crossing Centuries (New Russian Poetry)», «Voices from the Frost Place», «Modern Poetry in

Translation» (UK). Основатель и главный редактор журнала «Интерпоэзия» (www.interpoezia.net). Живет в Нью-Йорке, работает врачом. В «ИЖ» стихи А. Г. публиковались в №№ 4, 17, 33.

Лорина ДЫМОВА родилась в Свердловске, жила в Москве. Репатрировалась в 1992 году. Автор нескольких книг стихов и прозы. За переводы с болгарского награждена орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат премии «Золотой теленок» (2000), премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2006), поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы стихи Л. Д. (№№ 12, 20–21, 27, 30, 38); рассказы (№№ 2, 34); переводы из А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7); заметки о Л. Черкасском (№ 18) и П. Хмаре (№ 37).

Владимир (Зезв) ЖАБОТИНСКИЙ (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме. Перевёл на русский «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал издательство «Тургеман», выпускавшее на иврите произведения мировой литературы. В 1917–1918 гг. служил в созданном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов русскоязычного журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «*Давар а-йом*». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По. В 1964 году, согласно завещанию В. Ж., его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Именем Жаботинского названа одна из центральных улиц столицы. В «ИЖ» (№№ 34, 36, 37, 39) впервые после газетных публикаций 1902–1904 гг. напечатаны его избранные сочинения тех лет.

Марк ЗАЙЧИК родился в 1947 году. Жил в Ленинграде. Репатрировался в 1973 году. Автор нескольких книг прозы. Живет в Раанане. В «ИЖ» опубликованы рассказы М. З. (№№ 2, 40); заметки «Министр Перес и писатель Солженицын» и интервью с Иосифом Бродским (№ 9), повести «В нашем регионе» (№ 10) и «Жизнь прекрасна» (№ 34).

Леонид КАЦИС родился (1958) и живет в Москве. Профессор Центра библеистики и иудаики РГГУ. Автор книг «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи» (2000, 2004), «Русская эсхатология и русская литература» (2000), «Осип Мандельштам: мускус иудейства» (2002), «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса» (2006). Научный редактор Полного собрания сочинений Владимира Жаботинского.

В «ИЖ» (№№ 34, 36, 39) опубликованы статьи Л. К. о Жаботинском.

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время – и в Москве.

В «ИЖ» опубликованы заметки Ю. К. о Веничке Ерофееве (№ 7), подборки стихов и песен (№№ 1, 6, 11, 14–15, 31); эссе о Михаиле Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), зонги из рок-оперы «Время складывать камни» (№ 24–25) и спектакля «Голый король» (№ 37); «Рассказы из Иерусалимской тетради» (№ 28), поздравления Ю. Ряшенцеву и И. Губерману (№ 38); главы из книги «Моя жизнь в искусстве кино» и фрагмент либретто мюзикла «12 стульев», выпавший по ходу постановки, – «Пища духовная» (№ 40); повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга (стихи, проза и пьесы) с одноименным названием вышла в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и кино» (2006), «Рецензия – любовь моя» (2006), «Мое самое заветное» (2012). Живет в Маале-Адумим. В «ИЖ» опубликованы рецензии М. К. на книги Б. Голлера, С. Шенбрунн, Э. Шехтмана, Г. Беззубова, Ф. Лясса, Е. Аксельрод, И. Рувиной, П. Полонского, М. Хейфеца (№№ 6, 7, 13, 23, 26, 30, 32, 39, 41); эссе «Три оды Богу» (№ 29), «Смерть Майи Каганской» (№ 37).

Семён КРАЙТМАН родился в Одессе в 1965 году. Учился в Одесском, Ташкентском и Уральском политехнических институтах. Репатриировался в 1990 году. Стихи публиковались в литературной периодике России и США. Живет в Герцлии.

Нинель ЛЕВАНДОВСКАЯ родилась в 1929 году в Николаеве, до войны жила в Одессе. В 1953 году закончила химфак Харьковского Госуниверситета. Работала металловедом на ХТЗ. С 1992 года живёт в Марбурге (ФРГ). Автор книги «Расскажу-ка я басню» (1999).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынский. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград – Иерусалим» (1997). Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса». Лауреат «Русской премии» (2011). В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Л. (№№ 1, 14–15, 24–25, 29), эссе «И вот я увидел» (№ 11); повесть «Проект» (№ 6), заметки о Г. Кановиче (№ 30) и В. Александрове (№ 31), главы из романа «Сказочник» (№ 37).

Александр ЛЮБИНСКИЙ родился в 1949 году в Москве. Окончил МИНХ им. Г. В. Плеханова. Репатриировался в 1989 году. Автор книг прозы «Фабула» (1997), «Заповедная зона» (2005), «На перекрестье» (2007), «Виноградники ночи» (2010; за этот роман А. Л. удостоен звания лауреат «Русской премии»). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 6 опубликована его рецензия на книгу Хаима Венгера.

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького на Высших сценарных курсах. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг, лауреат нескольких литературных премий. Живет в Ор-Иегуде. В «ИЖ» (№№ 6, 8, 11, 12, 17, 24–25, 27, 34, 36, 41) опубликованы его рассказы; эссе «Русская рулетка Олеши» (№ 14–15), интервью В. Полухиной с Д. М. «Все зависит от Мастера» (№ 31), «Другой» (№ 34), главы из романа «Тубплиер» (№ 32).

Сергей НИКОЛЬСКИЙ родился в 1961 году в Москве. Окончил Строгановское художественное училище (1983). Репатриировался в 1990 году. Стихи печатались в литературной периодике и коллективных сборниках. В настоящее время живет в Нидерландах. В «ИЖ» подборки стихов С. Н. опубликованы в №№ 7, 24–25, 30, 34, 38. В «Библиотеке ИЖ» вышла книга его стихов «Каталог женщин» (2010).

Виктория РАЙХЕР родилась в 1974 году в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (т. 1, 2, 3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Автор книги прозы «Йошкин дом» (2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Текоа. В «ИЖ» опубликованы рассказы В. Р. (№№ 19, 22, 41), подборка психосказок «Прекрасный результат» (№ 31) и стихи «Про кота» (№ 32).

Илан РИСС родился в 1950 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Репатрировался в 1978 году. Автор книги прозы «Муди и Иисус» (1996). Рассказы, написанные на иврите, публиковались в журнале «77». Живет в Иерусалиме. Работает программистом.

В «ИЖ» рассказы **И. Р.** опубликованы в №№ 4, 12, 24–25; в «Библиотеке ИЖ» вышла его книга «У разбитого горячего камня» (2008).

Эля (Элина) СУХОВА родилась в Москве. Окончила РГГУ (1990), Литинститут им. Горького (2002) и аспирантуру МГУ. Кандидат исторических наук (2002). Работала журналистом, редактором и составителем. Автор книг стихов и прозы «Вниз по реке, вверх по реке» (2000) и «Вишнёвый остров» (2009). Стихи публиковались в журналах «День и ночь», «Студенческий меридиан», «Литературная учёба», «Кольцо А», «Пролог» и в коллективных сборниках. Живёт в Подмоскowie (Гжель).

Мария ФАЛИКМАН родилась в 1976 году в Новомосковске (Тульская обл.). Окончила факультет психологии МГУ и преподаёт в этом университете. Автор книги стихов «*Mezzo Forte*» (2001). Лауреат конкурсов Британского Совета в РФ на лучшие переводы английской поэзии (2005, 2010), финалист премии за лучшие переводы британской и ирландской литературы «Единорог и Лев» в номинации «Нон-фикшн» (2007) и «Драматургия» (2009). Живет Москве.

В «ИЖ» опубликованы стихи **М. Ф.** (№№ 13, 19, 22, 23, 33) и эссе «Не выше пояса забвения трава...» памяти В. Ланцберга (№ 23).

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. Репатрировался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского университета. Участник войны Судного дня. В 1972–73 гг. – соредaktor (вместе с М. Левиным) «АМИ» – первого израильского литературного журнала на русском языке. Автор ставшего бестселлером двухтомника «Хроники Израиля. Кому нужны герои». Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим – Москва – Петушки» (№ 1), «Солдат в Мосаде» (№ 3), «Поэзия как форма жизни» (№№ 7, 11), «Он между нами жил» (№ 8), «Сатанинские игры» (№ 27); заметки о книге А. Красильщикова (№ 6); главы из романа «Чаша полыни» (№№ 30, 35, 39; вышел книгой в 2012-м). Публикации **В. Ф.** в «ИЖ» вошли также в его книгу «Реальность мифов» (2003).

Феликс ХАРМАЦ родился в Ташкенте в 1962 году. В 1986 году окончил Ташкентский политехнический институт. Репатрировался в 1992 году. Публиковался в литературной периодике. Работает инженером по компьютерным сетям. Живет в Холоне.

В «ИЖ» № 29 опубликована подборка его стихов «По полной норме».

Михаил ЯСНОВ (Гурвич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил филфак ЛГУ (1970). Автор семи поэтических сборников и около шестидесяти книг стихотворений (в т. ч. переводов) и прозы для детей. Перевел на русский язык произведения Жака Превра, Поля Верлена, Поля Валери, Жана Кокто, Мориса Карема, Эжена Ионеско, Мишеля Деги, Клода Руа, Пьера Гривари и др. Лауреат многих литературных премий, в т. ч. премии им. Мориса Ваксмахера (2003) за книгу переводов прозы Гийома Аполлинера, премии им. С. Маршака за лучшие детские стихи (2005), премии «Мастер» за книги переводов Гийома Аполлинера, Пабло Пикассо и двухтомник избранных переводов французской лирики (2008), премии им. Корнея Чуковского за выдающиеся творческие достижения в отечественной детской поэзии (2009), премии им. А. П. Чехова «За вклад в русскую литературу» (2011). Живет в Санкт-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

АСЯ ВЕКСЛЕР. Время и окрестность. <i>Стихи</i>	3
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Кран. <i>Рассказ</i>	10
ЮЛИЙ КИМ. Кто этой идиомы лёг в основу. <i>Наблюдения и побасенки</i>	12
ИЛАН РИСС. Хаос. <i>Рассказ</i>	16
ПОЛИНА БЕСПРОЗВАННАЯ. Теудат-оле. <i>Стихи</i>	19
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ. На исходе субботы. <i>Повесть</i>	23
ЛОРИНА ДЫМОВА. Куда течёт река. <i>Стихи</i>	74
АЛЕКСАНДР ЛЮБИНСКИЙ. Над черепицей крыш. <i>Стихи</i>	79
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Два рассказа	85

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

СЕМЁН КРАЙТМАН. Кунжут, откройся. <i>Стихи</i>	94
ДАВИД МАРКИШ. Белая жара. <i>Рассказ</i>	103
ФЕЛИКС ХАРМАЦ. Два стихотворения	113
МАРК ЗАЙЧИК. Что слышно в Воложине? <i>Рассказ</i>	115

ПЛОЩАДЬ ГОЛЛАНДИИ

НИКОЛЬСКИЙ. Натюрморт, пейзаж... <i>Стихи</i>	119
---	-----

ДОРОГА НА ХЕВРОН

ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. Радуга. <i>Повесть</i>	124
---	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

МИХАИЛ ЯСНОВ. Отчасти. <i>Стихи</i>	184
ЭЛЯ СУХОВА. Улица линейная. <i>Короткие рассказы</i>	191
МАРИЯ ФАЛИКМАН. Длинною в одно сомнение. <i>Стихи</i>	204

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. Десять книг. <i>Разговор. Из литературной публицистики 1904 года</i>	210
--	-----

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

АНДРЕЙ ГРИЦМАН. Поэма Субботы	231
-------------------------------------	-----

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

ЛЕОНИД КАЦИС. Борис Слуцкий – русский поэт и еврей	235
РОЗА АУСЛЕНДЕР. Стихи разных лет. <i>Перевела с немецкого Нинель Левандовская</i>	248
РОЗА АУСЛЕНДЕР. Воспоминание об одном городе. <i>Перевела с немецкого Нинель Левандовская</i>	253
НИНЕЛЬ ЛЕВАНДОВСКАЯ. Судьба. <i>Послесловие переводчицы</i>	255
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Черновицкая весна. <i>Эссе</i>	257

НОВЫЕ ВОРОТА

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ и МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ о новой книге Стива Левина и альманахе «Огни столицы» № 5	271
--	-----

ИМЕНА

Авторы и персонажи	280
--------------------------	-----

העמותה לקליטת עליה בחיפה
רח' ל. פרץ 20 חיפה 33041
ספריה
9880

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (*не заказным*) письмом свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,

P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-9960302; E-mail: olvic1@012.net.il)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва), Ольгу Аксютину (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Зезва Гейзеля (Алон-Швут), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петях-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петях-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петях-Тиква), Иосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петях-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим), за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим

Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2012 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»; Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»; Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спусти три года»;

Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»

CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». *Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Игоря ГУБЕРМАНА, Владимира ДРУКА, Феликса КРИВИНА,
Ицхокаса МЕРАСА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Моше Гимейна, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкина, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

ASYA VEKSLER. Time and vicinity. *Poems*

VICTORIA RAYCHER. A tap. *Short story*

YULI KIM. Who is the basis of this idiom? *Observations and tales*

ILAN RISS. Chaos. *Short story*

POLINA BESPROZVANNAYA. Teudat-oleh. *Poems*

YOSIF BUKENGOLTZ. The end of Saturday. *Novelette*

LORINA DYMOVA. Which way does the river flow? *Poems*

ALEXANDER LYUBINSKY. Above tiled roofs. *Poems*

LEONID LEVINSON. Two short stories

JAFFA GATE

SEMEN KRAYTMAN. Open sesame. *Poems*

DAVID MARKISH. White heat. *Short story*

FELIX KHARMATZ. Two poems

MARK ZAYCHIK. Any news from Volozhin? *Short story*

HOLLAND SQUARE

NIKOLSKY. Still life, landscape... *Poems*

ROAD TO HEBRON

ILIYA BERKOVICH. Rainbow. *Novelette*

RUSSIAN COMPOUND

MICHAEL YASNOV. In a way. *Poems*

ELYA SUKHOVA. A linear street. *Short stories*

MARIYA FALIKMAN. One doubt long. *Poems*

ZHABOTINSKY STREET

VLADIMIR ZHABOTINSKY. Ten books. *A talk.*

From literary journalism, 1904

AMERICAN COLONY

ANDREY GRITSMAN. The poem of Sabbath

MOUNT SCOPUS

LEONID KATSIS. Boris Slutsky – Russian poet and a Jew

ROZA AUSLENDER. Poems of various years.

Translated from German by Ninel Levandovskaya

ROZA AUSLENDER. Memories of one city.

Translated from German by Ninel Levandovskaya

NINEL LEVANDOVSKAYA. Destiny. *Translator's afterword*

VLADIMIR FROMER. Chernovtzy spring. *Essay*

NEW GATE

TATIANA AZAZ-LIVSHITS and MICHAEL KOPELIOVICH on the new book
by Stive Levin and *The Lights of the Capital Almanac*, No. 5

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 42, 2012

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet versions: antho.net/jr/ & magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-5361947

© 2012 Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

תוכן העניינים:

שער האריות

אסיה וקסלר. הזמן וסביבתו – שירים
ויקטוריה רייכר. הברז – סיפור
יולי קים. מי הוא זה שהאידיום הזה עליו – ההערות
אילן ריס. הכאוס – סיפור
פולינה בספרוזבני. תעודת עולה – שירים
יוסף בוקנהולץ. במוצאי שבת – נובלה
לורינה דימובה. לאן זורם הנהר – שירים
אלכסנדר לובינסקי. מעל הרעפים – שירים
לאוניד לוינזון. שני סיפורים – סיפור

שער יפו

שמעון קריימן. שומשום, תפתח! – שירים
דוד מרקיש. הלהט הלבן – סיפור
פליקס חרמץ. שני שירים
מרק זייצ'יק. מה נשמע בוולוז'ין? – סיפור

כיכר הולנד

ניקולסקי. הטבע הדומם ותמונת הנוף – שירים

דרך חברון

איליה ברקוביץ הקשת – נובלה

מגרש הרוסים

מיכאיל יסנוב. במידת-מה – שירים
אליה סוחובה. הרחוב הסרגלי – סיפורים קצרים
מריה פליקמן. באורך של ספק אחד – שירים

רחוב ז'בוטינסקי

ולדימיר ז'בוטינסקי. עשרת הספרים – שיחה
מהפובליסטיקה הספרותית של 1904

המושבה האמריקאית

אנדרי גריצמן. שירת השבת

הר הצופים

לאוניד קציס. בוריס סלוצקי – היהודי והמשורר הרוסי
רוזה אַאוסלנדר. שירים מתקופות שונות
מגרנית – ניגל לבנדובסקי
רוזה אַאוסלנדר. זכרונות העיר אחד
מגרנית – ניגל לבנדובסקי
ניגל לבנדובסקי. הגורל – אחרית הדבר של המתרגמת
ולדימיר פורמר. האביב בצ'רוביץ – מאמר

השער החדש

טטיאנה עז-ליפשיץ ומיכאיל קופליוביץ'
על ספרו החדש מאת סטיב לוין והאלמנך "אוארת הבירה" מס' 5

שמות

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית
רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת : איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קיס, זינאידה פלבנובה,
וולוול טשרנין, דינה רובינה, ויקטוריה רייכר, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באיטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: מיכאל בסין, דניאל בורשטיין,
בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,
וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי מיר



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2012 כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-5361947, 0544-745322, 02-9960302
E-mail: jerusalemreview@gmail.com

